САЙКАКУ

ИХАРА

ПОД СЕНЬЮ САКУРЫ

Книги, изменившие мир.
Писатели, объединившие поколения.

эксклюзивная классика

Annotation

Художественная манера Сайкаку замечательна своей неоднозначностью. На глазах у читателя постоянно происходят метаморфозы и чудеса: автор без устали меняет маски, превращаясь из моралиста и бытописателя в лукавого, неистощимого на выдумки и шутки рассказчика.

«Смех, – писал Сайкаку, – бывает двух видов: пустой и тот, что идет из глубины сердца. Человек же подобен сосуду, вмещающему в себя ложь или правду».

Ирония, сарказм, пародийный гротеск – излюбленные приемы автора, но в смехе его слышна печаль о превратности жизни и человеческой судьбы.

Жанровый диапазон творчества Сайкаку необычайно широк.

В этой книге читатель найдет разные по характеру произведения – любовные, бытовые, волшебно-фантастические, судебные и пр.

Некоторые из рассказов публикуются на русском языке впервые.

- Ихара Сайкаку
  -
  - Ихара Сайкаку и его «Рассказы об изменчивом мире»
    - Журавль, летящий к западу
    - «Скромный ренессанс»
    - «Это по-голландски!»
    - Рассказы об изменчивом мире
    - «Дар передразнивания»
  - Из сборника «Двадцать непочтительных детей страны нашей»
    - Добро и зло в одной упряжке недолго ходят
    - Приписка, оставленная на изголовье
    - Горе, вылетевшее из рукава
    - Общество восьмерых пьяниц
    - Кичливый силач
  - Из сборника «Дорожная тушечница»

        - Чертова лапа, или Человек, наделавший много шума из ничего
        - Долгий путь к знакомому изголовью
        - Чудесные звуки барабанчика, завлекшие странника
        - Кому веселая свадьба, а кому – река слез
        - Драконов огонь, что засиял во сне
        - Опрокинутое надгробье
        - О монахе, который побывал в аду и в раю
        - Новая Тюдзё-химэ[109]
        - Беда, проросшая из бамбука
        - Рыба с начертанными на ней письменами
        - О том, как обезьяна искупала младенца
        - Заброшенная усадьба
    - Из сборника «Записки о хранителях самурайской славы»
        - Мелодия печали, или Женщины, играющие на сякухати [126]
        - Безрассудный гнев, или Человек, который женился, не взглянув на лицо невесты
        - Встреча с русалкой, стоившая жизни самураю
    - Из сборника «Повести о самурайском долге»
        - Голый в реке, или Наказание за болтливость
        - Родинка, воскресившая в памяти прошлое
        - Смерть в волнах уравнивает всех
        - О женщине, которая решилась пожертвовать одним ребенком, дабы сохранить жизнь другому
    - Из сборника «Новые записки о том, что смеха достойно»
        - След от прижигания моксой, о котором не мог знать посторонний
        - О штукатуре, который поднялся в воздух и в одночасье состарился
        - Благодатное правление, отменившее по всей стране долговые обязательства
        - Сестры-разбойницы
    - Из сборника «Превратности любви»
        - Неожиданное везение, или Погонщик Рокудзо, ставший первым кутилой в Оцу

        - Хитроумный замысел вдовы, или Кутила, которому улыбнулось счастье
        - Пожилой кутила, сгоревший в огне любви
    - Из сборника «Сопоставление дел под сенью сакуры в нашей стране»
        - Женщина, повергшая в слезы соловья
        - Тень разрешает все сомнения
        - Приснившийся Будда
        - То, что услышала глухая
        - Вода из родника – последний дар умершему
        - Стоит лишь набраться терпения – и дело уладится
        - О том, как выбор истину определил
    - Из сборника «Заветные мысли о том, как лучше прожить на свете»
        - Легче увидеть алые листья клена весной, нежели купить лангуста к Новому году
        - Мышь на посылках
        - Общество одного моммэ
        - Дом, где даже соврать нельзя даром
        - Разумные советы о том, как вести хозяйство с выгодой
        - В нашем мире ничто не вечно – ни жизнь, ни дверные косяки
        - Золотые сны
        - Даже боги иногда ошибаются
        - Посиделки в Наре вокруг кухонного очага
        - Ночь, когда хозяева меняются домами
        - Рисовые лепешки в Нагасаки
        - Вечерние торги накануне Нового года
        - Штора из кистей для чистописания – плод находчивого ума
        - Праведный Хэйтаро[294]
        - Бойко идет торговля в Эдо!
    - Из сборника «Последний узор, сотканный сайкаку»
        - Домовладелица, чей длинный нос послужил причиной многих бед
        - Торговец солью, прослывший святым

        - О человеке, который торговал вразнос собственной смекалкой
        - Своенравная фрейлина
    - Из сборника «Ворох старых писем»
        - И в столице все вышло не так, как я ожидал
        - Ларец с завещанием, повергшим всех в растерянность
        - Мир, погрузившийся во мрак
        - Дока-купец, равного которому не сыскать во всем Эдо
        - Бегство, приведшее к двум подносам
        - Трудная зима в горах Ёсино
- notes
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
    - 6
    - 7
    - 8
    - 9
    - 10
    - 11
    - 12
    - 13
    - 14
    - 15
    - 16
    - 17
    - 18
    - 19
    - 20
    - 21
    - 22
    - 23
    - 24
    - 25
    - 26

- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63

- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100

- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137

- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174

- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211

- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- 227
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237
- 238
- 239
- 240
- 241
- 242
- 243
- 244
- 245
- 246
- 247
- 248

- 249
- 250
- 251
- 252
- 253
- 254
- 255
- 256
- 257
- 258
- 259
- 260
- 261
- 262
- 263
- 264
- 265
- 266
- 267
- 268
- 269
- 270
- 271
- 272
- 273
- 274
- 275
- 276
- 277
- 278
- 279
- 280
- 281
- 282
- 283
- 284
- 285

- 286
- 287
- 288
- 289
- 290
- 291
- 292
- 293
- 294
- 295
- 296
- 297
- 298
- 299
- 300
- 301
- 302
- 303
- 304
- 305
- 306
- 307
- 308
- 309
- 310
- 311
- 312
- 313
- 314
- 315
- 316
- 317
- 318
- 319
- 320
- 321
- 322

- 323
- 324
- 325
- 326
- 327
- 328
- 329
- 330
- 331
- 332
- 333
- 334
- 335
- 336
- 337
- 338
- 339
- 340
- 341
- 342
- 343
- 344
- 345

Ихара Сайкаку
Под сенью сакуры

© Перевод. Т. Редько-Добровольская, 2022
© ООО «Издательство АСТ», 2023

Ихара Сайкаку и его «Рассказы об изменчивом мире»

Журавль, летящий к западу

«Отпускать шутки и писать остроумные вещи есть свойство умов великих…»[1] Эти слова Сервантеса можно с полным правом отнести к знаменитому «осакскому насмешнику», вошедшему в историю японской литературы под именем Ихара Сайкаку (1642–1693).

Ихара – фамилия писателя, Сайкаку – псевдоним, который по смыслу составляющих его иероглифов означает «Журавль, летящий к западу». Оба эти слова несут повышенную семантическую нагрузку: журавль – символ долголетия, запад в буддийской символике – Чистая Земля, рай будды Амиды. Однако в японском языке существует и слово-омофон «сайкаку» со значением «сообразительность», «смекалка», «деловая сметка». Не исключено, что писатель вкладывал в свой псевдоним и этот смысл, намекая тем самым как на свое купеческое происхождение, так и на прославившую его словесную находчивость и изобретательность.

Сайкаку занимает почетное место в ряду писателей-классиков своей страны. Его произведения переведены на многие языки мира. В Японии написаны сотни книг и статей, посвященных различным сторонам его творческой биографии. И все же Сайкаку по сей день остается одной из самых загадочных фигур в истории японской литературы.

Певец любовной страсти – и суровый моралист, призывавший читателя остерегаться женских «хитростей» и «проказ».

Жизнелюбец, человек отнюдь не аскетического мировоззрения – и отшельник, окончивший свои дни в уединенной хижине.

Летописец города, не боявшийся «рыскать по грязным закоулкам современной жизни» (так неодобрительно отозвался о нем его великий современник – поэт Басё), – и виртуозный мастер поэтических сцеплений, намеков и реминисценций.

Романист, воспитанный на традициях средневековой литературы, – и смелый ниспровергатель литературных норм и приличий.

Профессиональный сочинитель, работавший по заказу издателей, принужденный ориентироваться на вкусы публики, – и создатель

бессмертных шедевров, пленяющих богатством фантазии и поныне хранящих свое живое обаяние…

В предлагаемую вниманию читателей книгу включены произведения Сайкаку, написанные в разные годы и в разных жанрах. Каждому из них присущи свои особенности, свои характерные черты. Но, взятые вместе, они образуют некую художественную целостность. Во всем, что создано писателем, безошибочно угадываются черты его зоркого, ироничного таланта. Творчество Сайкаку – плод индивидуального художественного стиля и индивидуального художественного сознания.

Рождение этой новой и неповторимой по своему своеобразию творческой личности было во многом обусловлено характером эпохи, несшей в себе могучую энергию перемен.

«Скромный ренессанс»

XVII век был поворотным этапом в жизни Японии. В 1603 году князь Иэясу, основатель могущественной династии Токугава, сокрушив сильных и непокорных противников, провозгласил себя сёгуном – верховным военным правителем и объединил раздробленную на отдельные феодальные княжества страну в централизованное государство. Отошли в прошлое века кровавых междоусобиц и смут, установился долгожданный мир, и Япония вступила в новый период своей истории.

Началась так называемая «эпоха Кинсэй» (буквально – «ближние века»), длившаяся более двух с половиной столетий и занимающая промежуточное положение между Средневековьем и Новым временем.

Главной приметой этой эпохи стал невиданный расцвет городской цивилизации. Центрами культуры были уже не дворцы и не монастыри, а крупнейшие города того времени – Киото, сохранивший величие и престиж древней столицы Японии, новая сёгунская столица Эдо, порт Нагасаки, куда разрешалось заходить иностранным торговым судам. И, конечно же, родной город Сайкаку – Осака, о котором русский книжник, автор рукописной «Космографии» 1670 года, сообщал:

«…Есть город Оссакая, славен и вельможен. И волен во всем. Во всех восточных царствах славнейший. К тому городу из разных окрестных государств с разными товарами приезжают, ярмонки и торговли великие бывают. Жители того города – торговые люди. Средней статьи [жители] – всяк имеет 10000 золотых червонных и больше. А большой статьи – несказанного богатства купцы»[2].

Сословная система того времени выражалась формулой: «самураи, земледельцы, ремесленники, торговцы». Поставленные феодальным законом на низшие ступени социальной иерархии, не обладавшие ни привилегиями, ни какой-либо политической властью, горожане, особенно купечество, сосредоточили в своих руках реальную экономическую мощь и огромные богатства. В финансовую зависимость к ним все чаще попадали феодалы, которых те ссужали деньгами под залог имущества, вплоть до земельных участков.

Богатые купцы окружали себя роскошью, способной вызвать зависть даже у представителей самурайской знати.

В 1649 году правительство издало указ, свидетельствующий не столько о жесткой притеснительной политике властей в отношении горожан, сколько об экстравагантности вкусов последних: им запрещалось носить повседневную одежду из шелка, жить в трехэтажных особняках, украшать жилище золотой и серебряной фольгой, пользоваться лаковой утварью, расписанной золотом.

В произведениях Сайкаку можно встретить немало иронических замечаний по поводу овладевшего горожанами духа расточительства. «В последнее время, – писал он, – купеческие жены сплошь и рядом потянулись к роскоши. При том, что у них нет недостатка в одежде, каждая норовит заказать себе к новогоднему празднику наряд по последней моде. Ей угодно, чтобы он был сшит из самого дорогого шелка, да еще расписан самым изысканным узором, так что плата мастеру перекрывает стоимость самой материи… Пояс ей подавай из настоящего атласа, какой в старину завозили к нам из Китая. Право, уж лучше бы она опоясалась монетами из чистого серебра! Гребень у нее в волосах, должно быть, тянет на два золотых – с таким же успехом она могла бы украсить прическу тремя полновесными мешками риса!»[3]

Городская жизнь XVII века была, как никогда прежде, интенсивной и разнообразной. Быстро разрастались торговые улицы, с ними соседствовали кварталы увеселительных заведений и театров. Эти «нехорошие места» служили центром притяжения и для знати, и для незнатного люда.

Гетера – законодательница мод, певица и музыкантша, обученная не только тайнам «науки страсти нежной», но и искусству поэзии, каллиграфии, аранжировки цветов, – влекла к себе сердца как светских щеголей, так и представителей художественной элиты. Ремесло жрицы продажной любви не считалось позорным. Напротив, образ «юдзё» – «девы веселья» был овеян романтическим ореолом и, по идущей от Средневековья традиции, ассоциировался не только с женской красотой, но и с высшей мудростью: переменчивость ее сердца олицетворяла непостоянство всего сущего как универсальный закон бытия.

Эпоха Сайкаку, какой ее запечатлело искусство, проникнута ощущением пышности, свободы и праздника, что вполне объяснимо, если оглянуться на предшествующие века японской истории, сопровождавшиеся жесточайшими потрясениями и катаклизмами. И хотя, как у всякой эпохи, у нее имелась и своя неприглядная изнанка, это было время, когда, по выражению американского исследователя Г. Гиббетта, «недуги сёгуната, ставшие уже хроническими, еще не успели перейти в стадию обострения»[4].

Правительство Токугавы поощряло просвещение. Князю Иэясу, первому сёгуну из династии Токугава, приписывается следующее высказывание: «Как может человек, далекий от Пути Просвещения, должным образом управлять страной? Единственным способом приобщения к знаниям служат книги. Посему издание книг есть первейший признак хорошего правителя»[5]. Под просвещением в ту пору понималось прежде всего приобщение к конфуцианскому учению, ставшему государственной идеологией. С этой целью в стране было создано множество школ, как правительственных, так и частных. Наряду с выходцами из привилегированного сословия возможность учиться в них получили и дети горожан.

С ростом грамотности возникла потребность в книгах. Дорогостоящие рукописи не могли удовлетворить возросший читательский спрос. С появлением в 20-х годах XVII века коммерческой печати широкое распространение получило книгопечатание способом ксилографии. Оттиснутые с резных деревянных досок, книги стали издаваться большими тиражами, с искусными черно-белыми иллюстрациями и выполненным каллиграфической вязью текстом. Они были сравнительно недороги, доступны даже горожанам средней руки.

Значительное место в книжной продукции XVII века занимали произведения японской классической литературы X–XIV веков: «Повести Исэ», «Повесть о Гэндзи», «Записки у изголовья», «Рассказы, собранные в Удзи», «Записки от скуки», «Собрание старых и новых песен Японии», «Сто стихотворений ста поэтов» и др. В числе первых коммерческих изданий того времени оказывались и некоторые сочинения китайских авторов, например, собрание судебных казусов Гуй Ваньжуна «Сопоставление дел под сенью дикой груши» (XII в.) и сборник дидактических притч XIII в. «Двадцать четыре примера

сыновней почтительности». В ходе приобщения к литературному творчеству представители новой японской интеллигенции, формировавшейся главным образом из горожан и выходцев из захудалых самурайских родов, осваивали художественное наследие прошлого.

На протяжении XVII столетия городская культура проделала большой путь. Чутко реагируя на происходившую в обществе смену нравственных приоритетов и эстетических предпочтений, она менялась сама и одновременно меняла облик того, что принято именовать японской художественной традицией. Эта культура демократична и носит по преимуществу светский характер. Буддийские идеи и символы, определявшие существо интеллектуальных и художественных движений предыдущих эпох, утратили свое универсальное значение и подверглись заметному переосмыслению под натиском новых представлений о мире, диктуемых опытом повседневной практической жизни и обусловленными ею ценностями.

Для обозначения земного бытия культура XVII века по-прежнему использовала известное еще со времен раннего Средневековья слово «укиё» («плывущий», быстротечный, изменчивый мир), но теперь оно отражало не столько буддийскую идею иллюзорности и непостоянства всего сущего, сколько представление о сиюминутных радостях и удовольствиях «мира сего»:

Жизнь – всего лишь наважденье,
Но ведь хороша!..
Станет плоть бесплотной тенью,
Отлетит душа.
Наслаждайся же покуда,
Балуй естество:
Пей, да пой, да веруй в чудо —
Больше ничего![6]

В XVII веке слово «укиё», не утратив традиционных смысловых коннотаций, приобрело такие новые значения, как «чувственный», «легкомысленный», «современный». На языке того времени

выражение «одержимость укиё» означало «разгульную жизнь», под «разговорами об укиё» разумелись пикантные сплетни, «напевами укиё» именовались модные песенки вроде приведенной выше, а если кого-нибудь называли «укиё-отоко», можно было не сомневаться, что речь идет о щеголеватом повесе. *Укиё*, изменчивый, превратный, но от этого тем более привлекательный, а главное, соразмерный человеку мир – краеугольное понятие культуры того времени.

Осознание самоценности земного бытия было открытием, за которым, однако, стоял духовный опыт культуры XIV–XVI веков, развивавшейся под знаком дзэн-буддизма. Дзэнская мысль о тождестве эмпирического и истинно сущего, суетных страстей и просветленного бесстрастия послужила той почвой, на которой взросла жизнелюбивая, гедонистическая культура XVII века. Сутолока повседневной жизни проникала в литературу, на театральные подмостки, в условно-декоративный мир живописи, освежая и обогащая язык искусства. Складывался новый художественный стиль, в котором «умозрение» средневекового художника вытеснялось реальным «зрением»[7], а обобщающей символике классических образов противополагалась сила непосредственного чувства и яркость конкретного жизненного наблюдения.

Расцвет этого нового по духу и стилю искусства приходится на последнюю четверть XVII века – период, который, по выражению Дж. Сэнсома, стал для Японии «скромным ренессансом»[8]. Именно тогда, вдохновляя друг друга, творили поэт Мацуо Басё, драматург Тикамацу Мондзаэмон, живописец и мастер жанровой гравюры на дереве Хисикава Моронобу. К этому блистательному созвездию талантов принадлежал и Ихара Сайкаку.

«Это по-голландски!»

Имя Сайкаку прославили его прозаические сочинения, между тем свой путь в литературе он начал как поэт.

Подобно многим выходцам из состоятельных купеческих семей, завершив курс начального образования в приходской школе, он пятнадцатилетним юношей стал обучаться поэзии, что для человека с литературными амбициями было равнозначно получению серьезного филологического образования.

В то время непревзойденным мастером и наставником молодых поэтов считался Мацунага Тэйтоку (1571–1653). Он и его последователи с благоговением относились к традициям старины и прививали своим ученикам навыки виртуозного владения техникой версификации.

Годы ученичества были для Сайкаку временем погружения в мир классической литературы и приобщения к тайнам мастерства, однако жестко регламентированный набор поэтических средств ограничивал возможности самовыражения, без которого не мыслил себе творчества молодой поэт.

В 60-е годы XVII века большую известность в поэтических кругах приобрела возглавляемая Нисиямой Соином (1605–1682) осакская школа «Данрин», приверженцы которой экспериментировали со стихом, вводили в поэзию новые темы и образы, подсказанные городской жизнью того времени. Они стремились вернуть вознесшемуся над повседневностью литературному слову его первоначальную простоту и конкретность. Их излюбленным стилем был пародийный гротеск, наибольшим же признанием у них пользовались произведения, как можно менее похожие на «классические» образцы.

В среде сторонников этой школы получили распространение так называемые «докугин хайкай» – «сольные» выступления поэтов, пришедшие на смену коллективному сочинению «стихотворений-цепочек» (рэнга), одному из видов традиционного поэтического творчества. «Докугин хайкай» давали возможность стихотворцам

вырабатывать собственный стиль, привносить в поэзию индивидуальное авторское начало.

Эта атмосфера творческой свободы и несогласия с традицией не могла не импонировать Сайкаку, который с первых же самостоятельных шагов на поприще поэта отстаивал за собой право писать иначе, чем требовал шлифовавшийся веками поэтический канон. В предисловии к одному из ранних стихотворных сборников он писал:

«Некто спросил: «Почему вы предпочитаете поэзию, свободную от общепринятых правил?» Отвечаю: «Мир поэзии сделался мутным. Лишь я один прозрачен. Зачем же, хлебая этот мутный суп, вылизывать еще и осадок?» И далее: *«От стихов, которые приходится то и дело слышать, уши покрываются плесенью, а язык зарастает мхом. Они никуда не годятся и напоминают ворчание немощных стариков».*

Идеалом Сайкаку было творчество, «свободное от общепринятых правил». Созерцательности средневековой рэнга он противопоставил спонтанность внезапной остроты, традиционной поэтической лексике – стихию просторечия, закрепленным в каноне законам поэтической дикции – живую, часто насмешливую разговорную интонацию.

Новации Сайкаку в области стихотворного языка вызывали критику со стороны поэтов-традиционалистов, пренебрежительно именовавших его «голландцем». В те времена Голландия была единственной европейской страной, с которой торговала Япония, и поэтому воспринималась как символ всего чуждого, непривычного, экзотического, экстравагантного. «Даже малые дети в Нагасаки, – замечает в этой связи Дональд Кин, – кричали: “Это по-голландски!”, когда кто-нибудь из них нарушал правила игры»[9]. Называя поэзию Сайкаку «голландской», ревнители чистоты поэтического стиля выводили его творчество за пределы искусства. В мире традиционной поэзии он и впрямь казался чужестранцем.

Сайкаку поражал современников не только неожиданными стилистическими вывертами, но и невероятной скоростью, с какой ему удавалось сочинять (а точнее, «выпаливать») стихи во время своих «сольных» выступлений. В 1677 г. он установил своего рода рекорд,

сложив в течение суток тысячу шестьсот строф подряд, – это означало, что на каждую строфу у него уходило в среднем чуть более минуты. В 1680 г., приняв вызов двух других поэтов, Сайкаку улучшил этот результат, доведя количество строф до четырех тысяч. А в 1684 г. на поэтическом турнире в осакском храме Сумиёси он сочинил за сутки… двадцать три тысячи стихотворных строф, повергая в растерянность писцов, не успевавших переносить его стихи на бумагу[10].

Поэзия Сайкаку была искусством мгновенной импровизации, «способом наискорейшей записи мыслей»[11] и жизненных наблюдений. Его стихотворные цепи напоминают вереницу жанровых картинок-миниатюр, в которых преобладает не лирическое, а повествовательное начало. Вероятно, именно поэтому стихотворные экспромты Сайкаку при всей их живости и остроумии впоследствии были забыты. Зато из захлестывавших его поэзию «прозаизмов» со временем выросла великолепная проза, которой было суждено пережить и самого писателя, и его эпоху.

Рассказы об изменчивом мире

Произведения, созданные Сайкаку-прозаиком, вошли в историю японской литературы под названием «укиё-дзоси» – «рассказы об изменчивом мире». Этот термин, появившийся в самом начале XVIII века, не только закреплял за творчеством писателя принадлежность к новому художественному стилю эпохи, но и проводил разграничительную черту между ним и произведениями предшествующей литературы, которые именовались «кана-дзоси» («рассказы, написанные слоговой азбукой», т. е. по-японски – в отличие от сочинений на китайском языке – и рассчитанные на широкий круг читателей).

Проза кана-дзоси сохраняла прочную связь с традицией. Главенствующее положение в ней занимали жанры, унаследованные от средневековой литературы. Однако на протяжении XVII столетия они стали претерпевать некоторую деформацию. Так, в эпическом повествовании сквозь толщу традиционных художественных воззрений стали пробиваться ростки нового отношения к изображаемому. Внимание авторов привлекали уже не только ратные подвиги героев, но и «неофициальная» сторона их жизни.

Определенные сдвиги наметились и в поэтике двух других распространенных жанров – новеллы о чудесах и любовной повести. Создатели рассказов об удивительном все чаще обращались к обыденной, повседневной жизни города XVII века, причем их интерес к бытописанию порой даже превалировал над желанием увлечь читателя повествованием о чудесном происшествии как таковом. «Уточняющая» бытовая деталь прокладывала себе путь и в любовной повести, изобличая ее романтически приподнятый тон как некую условность, дань традиции.

Черты нового отношения к изображаемой действительности и литературному герою расшатывали канон средневековых жанров, но еще не вели к его коренному переосмыслению. То, что в прозе кана-дзоси ощущалось лишь как отклонение от идеально уравновешенной художественной системы, в творчестве Сайкаку приобрело характер нового художественного единства.

Открывая его книги, читатели «обнаруживали, что рассказы об их собственных проделках и причудах столь же занимательны, как любая из книг, завезенных из Китая или созданных у них на родине в давние времена. Лисы, принимающие обличье красавиц, суровые воины и сказочные принцессы все еще оставались в литературной моде, но теперь они казались *слишком* знакомыми, в отличие от таких персонажей *укиё*, как беспутный гуляка, изысканная куртизанка или своенравная купеческая жена»[12].

В 1682 году вышел в свет первый роман Сайкаку «Мужчина, несравненный в любовной страсти»[13], ставший символом наступления новой эпохи в японской литературе. Символично уже само имя главного героя – Ёноскэ, которое в буквальном переводе означает «Человек нашего мира». Это имя подсказывало читателю, что перед ним человек иной судьбы, нежели знакомые герои средневековой прозы.

Содержание романа составляет история жизни главного героя с той поры, когда в нем впервые пробуждается любовная страсть, и до того момента, когда состарившийся и одряхлевший Ёноскэ отправляется в Нагасаки, снаряжает корабль под красноречивым названием «Сладострастие» и уплывает на легендарный остров Женщин, обитательницы которого славятся неиссякаемым любовным пылом.

Неожиданный финал книги своей гротескной выразительностью разрушал стереотип традиционных любовных повестей и романов, главной целью которых было показать, как герой после грешной жизни приходит к осознанию суетности всего земного и обращает помыслы к спасению.

Сайкаку ставил перед собой иные задачи. Жизнь Ёноскэ протекает не в условно-исторических декорациях средневекового лирического романа, а на фоне точно воспроизведенных внешних примет современной автору Японии. Писатель перемещает своего героя из бытийного пространства в бытовое и приближает к читателю настолько, что становятся заметны забавные, несуразные черты его характера. Новизна романа Сайкаку состояла не только в его теме, но прежде всего в стремлении изобразить человека и мир не такими, «какими они должны быть», а такими, «каковы они есть».

«Мужчина, несравненный в любовной страсти» положил начало целой серии книг, повествующих о судьбах людей в «изменчивом мире» наслаждений. К этой серии принадлежат знаменитый цикл «Пять женщин, предавшихся любви», повесть «История любовных похождений одинокой женщины», сборник рассказов «Превратности любви» и многие другие произведения. Их персонажи – такие же неутомимые искатели любовных приключений, как Ёноскэ. Они ни во что не ставят законы официальной морали, предпочитая аскетическому пониманию долга и трезвому купеческому благоразумию удовольствия грешной любви.

«Что ни говорите, смешон тот, кто изображает, будто его с души воротит от дел любовных. С самой эры богов любовь есть высочайшее из доступных человеку наслаждений». («Пожилой кутила, сгоревший в огне любви»)

В этих словах Сайкаку заключена главная мысль его книг о любовной страсти. Внимание в них целиком сосредоточено на описании приключений – и злоключений – героев в мире чувственности, но само это описание настолько полнокровно и ярко, что бросает свет далеко окрест, позволяя автору заглянуть в тайны человеческого сердца и уловить определенные закономерности в хитросплетениях людских судеб.

В творчестве Сайкаку окружающая человека действительность обрела новые очертания и новые краски. Он изображал обыденную жизнь своего времени, отталкиваясь от традиций предшествующей литературы, но при этом больше доверяя своему зрению, нежели знаниям, почерпнутым из книг.

Он пытался запечатлеть жизнь во всем ее хаотичном разнообразии, не притязая на полноту обобщений и окончательность выводов.

Он смотрел на мир иначе, чем его предшественники, – пристально, с ошеломляющей подчас фамильярностью, – и поэтому ломал привычные законы перспективы. Мир Сайкаку лишен какой бы то ни было упорядоченности и определенности – в нем всё «на плаву», всё переменчиво, подвижно, неоднозначно. Неожиданные развязки его рассказов – не только эффектный литературный прием, но и свидетельство непредсказуемости человеческой жизни.

Сайкаку изображал современную ему действительность с дотошностью летописца и азартом первооткрывателя. Обычаи и нравы горожан, названия торговых улиц и кварталов любви, цены и находящиеся в обращении монеты, модные узоры и бытовая утварь – весь этот внелитературный антураж эпохи становится в его книгах неотъемлемой частью художественной реальности, конкретным и узнаваемым фоном, на котором разворачивается действие его повестей и рассказов.

Виртуозный мастер сюжетного повествования, Сайкаку намеренно перебивал его пространными «зарисовками с натуры», стараясь впустить в свои рассказы «сырую» жизнь, как будто бы не имеющую никакого отношения к литературе.

То же можно сказать и о героях рассказов Сайкаку: они кажутся подсмотренными в самой жизни, но их характеры сгущены до такой степени гротескной выразительности, что оказываются ярче и живее, чем любая натура.

Скареды, корыстолюбцы, неудачники, беспечные гуляки, простаки, лжецы, хитроумные пройдохи – вот излюбленные персонажи Сайкаку, кочующие из одной его книги в другую. Затесавшись в их толпу, нетрудно прослыть святым – для этого и нужно-то всего лишь не позариться на чужое («Торговец солью, прослывший святым»). В их мире даже богам приходится учиться житейской мудрости, чтобы не пропасть с голоду («Даже боги иногда ошибаются»).

Если у Сайкаку и встречаются идеальные герои, то, пожалуй, это лишь персонажи его «самурайских» сборников – наследники и хранители воинской славы минувших веков. Их жизнь подчинена требованиям самурайской чести, главные из которых – верность господину, готовность мстить за обиду, способность пожертвовать жизнью и личным счастьем ради долга.

Казалось бы, тема долга и самоотречения должна окрашивать рассказы о самураях в эпические тона, но этого не происходит. Мысль автора движется в другом направлении. «Душа у всех людей одинакова, – говорится в предисловии к «Повестям о самурайском долге». – Прицепит человек к поясу меч – он воин, наденет шапку-эбоси – синтоистский жрец, облачится в черную рясу – буддийский

монах, возьмет в руки мотыгу – крестьянин, станет работать тесаком – ремесленник, а положит перед собою счеты – купец».

Над повествованием о печальных судьбах самураев витает вопрос: а стоят ли даже самые высокие идеалы тех жертв, которыми за них приходится платить? В рассказе «Родинка, воскресившая в памяти прошлое» герой берет в жены обезображенную оспой девушку, так как долг обязывает его сдержать обещание, данное родителям невесты задолго до свадьбы. Законы чести торжествуют. Однако автор заключает рассказ словами, в которых сквозит ирония: «Будь эта женщина красавицей, Дзюбэй, скорее всего, разнежился бы, поддавшись на ее чары, но, поскольку он женился на ней потому лишь, что так велел ему долг, все его помыслы устремились к совершенствованию в воинских искусствах… и имя его прославилось в нашем мире».

В книгах Сайкаку пафос и ирония не существуют по отдельности, а соседствуют друг с другом. Жизнь, всецело подчиненная сверхличным ценностям, кажется писателю придуманной, слишком уж идеальной. Его занимают не столько человеческие добродетели – о них и так было слишком хорошо известно из литературы прошлого, – сколько слабости, пороки и несовершенства, ведь именно в их зеркале отражается живая, всамделишная жизнь.

Если Сайкаку требуется нарисовать портрет красавицы, он чаще всего ограничивается беглым традиционным сравнением с «цветущей сакурой» или «стройным кленовым деревцем в осеннем багрянце». Другое дело, когда портретируемая «настолько дурна собою, что не отважится сесть возле зажженной свечи», – тут автор не жалеет красок, смакуя каждую подробность:

«Личико у ней хоть и скуластое, но приятной округлости. Лоб выпуклый, будто нарочно создан для покрывала кацуги. Ноздри, конечно, великоваты, зато дышит она легко и свободно. Волосы, нет спору, редкие, однако и это имеет свою выгоду: не так жарко летом. Талия, что и говорить, полноты изрядной, но ежели поверх платья надеть длинную парадную накидку свободного покроя, никто и не заметит. А то, что пальцы такие толстые да хваткие, даже хорошо – крепче будет держаться за шею повитухи, когда приспеет время рожать». («Разумные советы о том, как вести хозяйство с выгодой»)

Художественный мир Сайкаку живет по законам пародийного снижения. Это своего рода антимир, соприкасаясь с которым вся система принятых в обществе и освященных литературой нравственных правил неизбежно опрокидывается вверх дном, выворачивается наизнанку.

Сборник «Двадцать непочтительных детей страны нашей» служит пародийным отголоском китайской дидактической книги XIII века «Двадцать четыре примера сыновней почтительности». Притчи о благочестивых сыновьях, верных конфуцианскому долгу почитания родителей, были широко известны во времена Сайкаку не только в переводе, но и в многочисленных переложениях. Их отличие от оригинала состояло лишь в том, что действие переносилось в Японию, а герои наделялись японскими именами и «биографиями».

Совершенно иначе поступает в своей книге Сайкаку. «В наши дни молодые ростки бамбука ищут не под снегом, как Мэн Цзун, а в зеленной лавке; карпов, что плещутся в рыбном садке, хватит любому Ван Сяну», – пишет автор в предисловии к сборнику, давая читателю понять, что истории о самоотверженности Мэн Цзуна, отправившегося зимой в лес искать съедобные побеги бамбука для матери, или Ван Сяна, который, чтобы накормить мачеху карпом, лег на лед, пытаясь растопить его теплом своего тела, – изрядно устарели.

Сайкаку не просто подправляет подлинник, но меняет в нем все знаки на противоположные: герой превращается в антигероя, добродетель – в порок, дидактика – в иронию, а пафос – в гротеск. Пародийное смещение акцентов напоминает клоунаду, игру, но за этой игрой стоит отнюдь не шуточное стремление осмыслить реальную, невыдуманную жизнь, которая слишком далека от совершенства, чтобы соответствовать каким-либо образцам или «примерам».

Реальностью для Сайкаку была не только находившаяся у него перед глазами действительность, но и весь мир известной ему литературы далекого и недавнего прошлого, в которой он черпал материал для художественного осмысления и переосмысления. Чужое слово подстегивало его творческую фантазию, побуждало откликаться на него.

У Сайкаку немало произведений, открыто ориентированных на тот или иной литературный прототип. К их числу, помимо «Двадцати непочтительных детей», принадлежит книга «Сопоставление дел под

сенью сакуры в нашей стране», которая, как явствует из ее названия, представляет собой японскую версию «детективных» рассказов Гуй Ванжуна из сборника «Сопоставление дел под сенью дикой груши». К этому же кругу произведений относятся и «Новые записки о том, что смеха достойно», правда, за вычетом названия этот сборник имеет мало общего с сочинением Дзёрайси «Записки о том, что смеха достойно» (1642) и уж во всяком случае не повторяет его уныло-проповеднический тон.

Порой обращение писателя к существующему в традиции материалу не носит столь явного и демонстративного характера и проявляет себя в сюжетных перекличках или общем замысле. Таков сборник «Рассказы из всех провинций», в котором звучит эхо книги XIII в. «Рассказы, собранные в Удзи». Оба произведения повествуют о чудесах, но для средневекового автора чудеса абсолютно реальны, Сайкаку же относится к ним скорее как к небывальщине, и сквозь фантастику его рассказов всегда проглядывают очертания реального и узнаваемого мира.

«Рис в тех краях, – сообщает автор о сказочном подводном царстве, – стоит куда дешевле, птицу и рыбу ловят прямо руками, и женщины гораздо доступнее!.. Ни холода, ни голода там не знают. А Новый год и праздник Бон отмечают точь-в-точь как здесь. С четырнадцатого дня шестого месяца зажигают праздничные фонари. Вся разница только в том, что никто не приходит взимать долги!»[14]

На сюжетном уровне сборник Сайкаку не обнаруживает заметных аналогий с «Рассказами из Удзи», зато в его орбиту попадают отдельные сюжеты из книги волшебно-фантастических новелл «Кукла-талисман» (1666), принадлежащей кисти популярного писателя Асаи Рёи[15].

В рассказе «Дева в лиловом» Сайкаку повествует о роковой встрече обыкновенного человека с женщиной-тенью, любовь к которой едва не заканчивается для него гибелью. Сюжетная канва заимствована из новеллы Рёи «Пионовый фонарь», однако вышитый по этой канве узор, проецируясь на оригинал с его таинственной и жутковатой атмосферой, создает неожиданный стилистический эффект.

«Увидев деву, – читаем мы о герое, – позабыл он многолетние свои благие стремления… она же вытащила из рукава разукрашенную

дощечку для игры в волан и, напевая, принялась подбрасывать мячик…

– Эта песенка-считалка, что вы поете, называется «Песенка молодухи»? – спросил он, и она отвечала:

– У меня нет еще мужа, как же вы зовете меня молодухой? Чего доброго, пойдет обо мне дурная слава! – И с этими словами… улеглась в самой небрежной позе, воскликнув: – Не троньте меня, а то буду щипаться!

Пояс ее, завязанный сзади, сам собой распустился, так что стало видно алое нижнее кимоно.

– Ах, мне нужно изголовье! – проговорила она с полузакрытыми глазами. – А ежели ничего у вас нет, так хоть на колени к человеку с чувствительным сердцем голову приклонить…»[16]

Чудеса у Сайкаку прежде всего забавны, и в этом – коренное отличие его произведения от предшествующих образцов этого жанра.

В той же стилистической манере, что и «Рассказы из всех провинций», написан сборник «Дорожная тушечница». Здесь писатель обращается к распространенному в японской средневековой прозе жанру путевого дневника. Повествования такого рода нередко облекались в форму рассказов монаха-отшельника о том, что он повидал, услышал или испытал в ходе своих странствий. Таково же и произведение Сайкаку – содержание его сборника составляют диковинные истории, якобы услышанные паломником Бандзаном. Повествовательная схема жанра точно воспроизводится в книге Сайкаку, но точность эта, конечно же, мистификаторская.

Отличен от своих литературных прототипов прежде всего сам рассказчик. Этот странноватый человек – не то монах, не то мирянин, – в котором невольно угадываются черты самого автора, ведет свободную жизнь, не скованную правилами и запретами. И в странствие он отправляется не затем, чтобы укрепить себя на стезе поисков истинного смысла бытия, а для того, чтобы увидеть мир и написать обо всем, что есть в нем «любопытного и забавного», – ведь «со временем из этих записей, как из семян, могут вырасти рассказы!»

Мир, каким его видит Бандзан и изображает Сайкаку, по существу, тот же самый, что и в «Рассказах из всех провинций», – он полон чудес и населен удивительными существами, пришедшими из фольклорных преданий или рожденных поэтической фантазией автора.

И все же чудеса в рассказах Сайкаку не совсем «настоящие». Да и как может быть иначе, если сплошь и рядом они либо находят себе вполне правдоподобное объяснение («О монахе, побывавшем в аду и в раю»), либо становятся всего лишь поводом для осмеяния простодушных глупцов («Чертова лапа, или Человек, наделавший много шума из ничего») и тщеславных плутов («Драконов огонь, что засиял во сне»)?

По мысли Сайкаку, «удивительное», «загадочное» следует искать не столько в сфере фантастики и волшебства, сколько в причудах человеческих судеб и характеров. В рассказе «Кому веселая свадьба, а кому – река слез» вообще нет ничего сверхъестественного, там все обыденно и реально, но именно эта обыденность и эта реальность заключают в себе для писателя больше таинственного и непостижимого, чем любое заведомо фантастическое происшествие.

Сайкаку писал свои книги для современников – деловитых и прагматичных горожан XVII века, считавших, что литература призвана не только развлекать, но и служить источником практических знаний о жизни.

Подобные взгляды коренились в устоях общества, к которому принадлежал писатель, и он вряд ли мог относиться к ним с трезвым безразличием. «Заветные мысли о том, как лучше прожить на свете», «Последний узор, сотканный Сайкаку» и другие произведения из цикла «книг о горожанах» задумывались автором как своеобразные учебники житейской мудрости, способные «долго служить на пользу тем, кто их прочтет». Дидактика – неотъемлемый компонент этих произведений: поучая, писатель выстраивает систему нравственных координат, вне которой человек не может проложить себе путь в мире, где «только и света, что от денег». Автор учит читателей держаться сообразно своему положению, призывает их к рачительности, бережливости, показывает на конкретных примерах, к чему приводят нерадивость и мотовство.

Но чем серьезнее тон автора, тем труднее бывает принять его морализаторство за чистую монету. Проповедуя принципы самоограничения, он создает гротескные образы скупцов, обрекая свои нравоучительные сентенции на забавную двусмысленность.

Сайкаку ощущает себя не столько проповедником, провидцем или судьей, сколько таким же обитателем «изменчивого мира», как и его

персонажи. В сборнике «Ворох старых писем» автор вообще удаляется из повествования и предоставляет самим героям рассказывать то горестные, то смешные, то поучительные истории из своей жизни. Написанные от первого лица, эти эпистолярные монологи ставят героев лицом к лицу с читателем, давая ему возможность увидеть их не со стороны, а напрямую, как бы собственными глазами.

«Дар передразнивания»

Проза Сайкаку – весьма сложное и оригинальное явление художественного языка и стиля. Она написана великим мастером, «владеющим тайной сжатости и даром передразнивания всего любопытного и диковинного на свете»[17].

В творчестве писателя сошлись два начала – книжная традиция и искусство устного сказа, получившее широкое распространение в городской среде и принадлежавшее миру неофициальной, народной культуры его времени. Взаимодействие этих двух начал и послужило основой того, что мы называем «языком Сайкаку».

Язык этот в высшей степени своеобразен, прихотлив и своей затейливостью напоминает узорчатую ткань – недаром Сайкаку уподоблял свое писательское ремесло искусству легендарной китайской мастерицы, в древние времена обучившей японцев ткачеству. В словесные узоры его книг вкраплены пословицы, поговорки, мудрые речения, обрывки модных песенок, цитаты из классиков, но не прямые, а словно взятые в «насмешливо-веселые кавычки» (М. М. Бахтин). Даже названия рассказов разворачиваются подчас в причудливый словесный орнамент или, наоборот, спрессовываются в сгустки поэтической речи.

В той же мере, в какой его поэзия устремлена к прозе, проза Сайкаку тяготеет к поэзии. Его рассказы изобилуют омофоническими каламбурами, аллюзиями, ассоциативными сопряжениями образов и другими тропами, заимствованными из поэтического арсенала.

Вводя в свой текст знакомый образ, Сайкаку нередко помещает его в неожиданное окружение, низводит «в самую гущу низменно-прозаической обыденности»[18] и таким способом выстраивает новый смысловой ряд. «Приятно видеть у людей сливу и вишню, сосну и клен, – рассуждает автор, вторя Кэнко-хоси, создателю знаменитых “Записок от скуки”[19], и затем продолжает: – Да еще лучше золото и серебро, рис и деньги. Чем горами в саду, приятней любоваться амбарами во дворе. Накопленное за все четыре времени года – вот райская утеха для глаз!»[20] Напряжение, возникающее между двумя

планами высказывания, в конечном счете и создает его художественную ауру.

Творчество Сайкаку живет чувством сдвига, ощущением изменившейся реальности. Беспрестанно примеривая образы «изменчивого мира» к существовавшим в традиции способам описания, сталкивая между собой смыслы, стили, интонации, оттеняя высокое литературное слово просторечием, он создавал прозу внутренне разноречивую, в которой ощущаются движение и диссонансы самой жизни.

Художественная манера Сайкаку замечательна своей неоднозначностью. На глазах у читателя постоянно происходят метаморфозы и чудеса: автор без устали меняет маски, превращаясь из моралиста и бытописателя в лукавого, неистощимого на выдумки и шутки рассказчика. Его суждения не претендуют на право считаться конечной истиной – напротив, они напоминают шкатулку с двойным дном, в которой спрятан некий дополнительный смысл, а чаще – язвительная насмешка или улыбка.

В прозе Сайкаку само слово становится объектом художественного изображения и любования. Автор сплошь и рядом наделяет своих персонажей «значащими» именами – в его произведениях фигурируют и «некий сорвиголова по прозвищу Каннай Вырви Корень», и горькие пьяницы: Дзиндзабуро по кличке Змей, Мориэмон Беспробудный, Рокуносин Выдуй Мерку, Кюдзаэмон Необузданный, – и лисы-оборотни: Врунискэ, Невидимскэ, Курворискэ, Поле-Разорискэ… В рассказе «Божественное прорицание зонтика»[21] местом действия служит захолустное селение Анадзато – Дыра (название тем более уместное, что именно туда по воле ветра попадает зонтик, который впоследствии превращается в похотливое божество и требует, чтобы поселяне выбрали для него в качестве жрицы прекрасную юную деву).

Слово у Сайкаку «заряжено» изобразительностью. Не случайно в своих текстах он время от времени прибегает к нестандартному написанию иероглифов, превращая их из символов в «живые картинки». Так, иероглиф *подглядывать* (*нодзоку*) он образует из знаков «щель» и «глаз», *смеркаться* (*курэру*) – из знаков «солнце» и «заходить».

Портрет в его прозе – одновременно и способ описания внешности персонажа и пародия на традиционные принципы изображения. «Лицо круглое, нос приплюснутый, передних зубов не хватало, глаза косили, волосы курчавые, сам приземистый – никаких мужских достоинств за ним не числилось. Только духом был крепок, оттого и стоял во главе войска»[22], – таким предстает в рассказе «Поединок в тучах» Ёсицунэ, знаменитый герой средневековых эпических сказаний и романов. Литературный мир Сайкаку – не что иное, как пародийное «зазеркалье», и, чтобы стать гражданами этого мира, героям высокого плана приходится перемещаться в сферу комедийного гротеска.

Остроумие – неотъемлемое свойство таланта писателя, его манера видеть и понимать жизнь и людей. Юмор у Сайкаку сродни творческому озарению, наитию, о котором другой выдающийся японский прозаик Рюноскэ Акутагава сказал: «Именно в такие мгновения взору писателя открывается жизнь, очищенная от всего наносного и сверкающая подобно только что добытому из земли кристаллу»[23].

Творческая судьба Сайкаку сложилась счастливо. В Японии конца XVII – первой половины XVIII в. не было прозаика, чья слава могла бы сравниться с его славой. Его сочинения неоднократно переиздавались, вызывали множество подражаний. А в 1701 году был опубликован роман ныне уже забытого писателя Мияко-но Нисики, в котором в качестве одного из персонажей выведен Сайкаку. Примечателен эпизод, повествующий о муках Сайкаку в аду, куда он якобы попал за тот великий грех, что «писал чудовищные небылицы про людей, с коими не был знаком, так, будто это сущая правда».

Эти слова знаменательны: сквозь пафос осуждения и неприятия в них отчетливо проступает ощущение ошеломляющей новизны и правды, которое испытывали современники Сайкаку, читая его «рассказы об изменчивом мире». И совсем не случайно, что на исходе XIX века, когда в Японии рождалась новая литература, многие ведущие писатели той поры заново открывали для себя произведения Сайкаку, видя в нем своего предтечу и учителя.

Т. Редько-Добровольская

Из сборника «Двадцать непочтительных детей страны нашей»

Добро и зло в одной упряжке недолго ходят

Хороших друзей встретишь нечасто, дурных же – сколько угодно. Жили в Хиросиме два приятеля. Не зная удержу в погоне за развлечениями, они, что ни вечер, садились в лодку и гребли в направлении известного своими веселыми кварталами городка Миядзима в провинции Аки, покрывая расстояние в пять ри скорее, чем сгорит фитиль длиною в один сун.[24] Настолько были они схожи меж собой и нравом, и обликом, что других таких не только в Хиросиме, но и во всем широком свете не сыщешь. Одного из них звали Биттюя Дзинсити, другого – Канатая Гэнсити. Трудиться они не желали, сидели на шее у родителей и только и знали, что пускать по ветру денежки, накопленные отцами за долгие годы. Немудрено, что дома Биттюя и Канатая, некогда слывшие едва ли не самыми богатыми в тех краях, со временем пришли в упадок, а по прошествии десяти лет и вовсе обнищали.

Незавидная участь выпала отцам этих повес: всю молодость они трудились в поте лица, а на старости лет некому было о них позаботиться. Просыпались они с пустым желудком и спать ложились с пустым желудком. Была у одного из дружков сестра на выданье. Как полагается, мать заблаговременно начала готовить для нее приданое – одежду и всякую домашнюю утварь, только непутевый братец и это прибрал к рукам, продал, а вырученные деньги прокутил. Пришлось отправить ее в чужой дом в услужение – нынче не сыщешь чудака, который взял бы в жены девушку без приданого. Глядя, как печется о своей сестре хозяйский сын, бедняжка еще больше обижалась на брата.

Перед новогодним праздником последние остатки былого благополучия истаяли, точно лед на солнце, и молодые кутилы остались без гроша, даже огонь в очаге им теперь нечем было развести. Чтобы как-то поправить положение, в ночь Сэцубун[25] Дзинсити и Гэнсити надвинули на глаза бумажные капюшоны, хотя в темноте их и так никто не узнал бы, и вышли на улицу просить подаяние. Правду говорят: чтобы быть попрошайкой, особой выучки

не требуется, но стыда не смыть до самой смерти. Так они ходили от дома к дому и, не щадя горла, всю ночь истошно голосили:

– Счастья вам, хозяева, и долголетия! Прожить вам не меньше девяти тысяч лет, подобно Дунфану Шо![26] – однако с подаяниями им не везло: к утру у них оказалось на двоих всего восемнадцать медяков да двести зерен вареной фасоли.

Решив, что этак долго не протянешь, они бросили родителей на произвол судьбы, а сами в поисках удачи подались на восток.

В городке Окаяма провинции Бидзэн у них кончились припасенные на дорогу деньги. Там они и застряли и снова принялись побираться. Однако с виду они мало походили на нищих – белизна их лиц и щеголевато зачесанные волосы внушали людям подозрение. И вместо подаяний на попрошаек сыпались грубые окрики:

– Проваливайте отселе, прочь с дороги!

Теперь, когда кутилы оказались без крова, так горько им было вспоминать безвозвратно ушедшие счастливые дни, так стыдно было своих нищенских отрепьев, что они не успевали утирать непрошеные слезы.

Надобно заметить, что в то самое время в провинции Бидзэн в большом почете было Учение сердца[27], и людские сердца устремились к добродетели. Поскольку сам князь оказывал милости тем, кто проявлял верность господину и почтение к родителям, все становились на стезю благочестия, и в стране той царили мир и спокойствие.

Потерпев неудачу на поприще нищих, Дзинсити и Гэнсити смекнули, что скорее добьются удачи, ежели станут следовать законам этой страны, и, подговорив двух немощных стариков, пустились на новую уловку. Дзинсити смастерил тележку, в каких возят калек, усадил в нее семидесятилетнего старика и, возя тележку по городу, со слезами в голосе причитал:

– Помогите, люди добрые, сжальтесь над несчастными горемыками! От роду мне двадцать три года, сам я из земли Аки. Уж и не знаю, за какие прегрешения выпала мне такая тяжкая доля, что я не могу прокормить своего батюшку и вынужден покрывать себя позором, прося милостыню…

Все сочувствовали его горю и не скупились на подаяния. Вскоре риса и медных монет набралось столько, что они уже не умещались в

тележке.

Не отставал от своего приятеля и Гэнсити. Посадив на спину другого старика, он тоже ходил по городу, причитая и прося подаяния. Видя, сколь велико его сыновнее благочестие, люди не оставались безучастными и к его беде.

Через некоторое время Дзинсити и Гэнсити поставили на пустоши бамбуковую ограду и, собрав сухие ветки, построили себе хижины, в которых можно было укрыться от дождя и росы. После ночей, проведенных под открытым небом, житье в этих убогих лачугах казалось им невиданным счастьем. Зачерпнув в глиняный котелок водицы из болота, они ссыпали в него без разбора все подаяния, собранные за день: и нешелушеный рис, и рис нового урожая, и красный рис, и красную фасоль. Получалось месиво, но они и тому были рады. Была бы, как говорится, плошка да крыша над головой, было бы чем набить живот, – о большем они и не мечтали.

Вернувшись домой, Дзинсити заставлял старика растирать ему спину, а по ночам велел отгонять комаров. Когда же притомившийся за день старик ненароком задремывал, тот, не считаясь с его годами, нещадно пинал его в бок и орал:

– Ух, старый болван, ничего толком сделать не можешь!

– Негоже так обижать старика, – не раз говорил приятелю Гэнсити. – Ведь он тебе названый отец. Лишь благодаря ему ты не умер с голоду. Нельзя забывать добро!

Однако от этих слов Дзинсити приходил в еще большую ярость. Кончилось тем, что он насмерть разругался с приятелем. Стоило Гэнсити попросить у него взаймы лучину или еще какую-нибудь мелочь, он неизменно отвечал отказом.

Но Небо, как известно, судит по справедливости и каждому воздает за добрые и злые дела. Не прошло много времени, как люди отвернулись от Дзинсити, перестали подавать ему милостыню, и стал он бедовать пуще прежнего. Что же до Гэнсити, то ему, напротив, с каждым днем подавали все больше. Теперь в непогожие дни он мог оставаться дома и заботился о своем старике так, словно тот был ему родным отцом.

Глядя на него, старик из соседней лачуги еще пуще горевал о своей несчастливой доле, еще больше досадовал на Дзинсити. В конце концов он решил откусить себе язык и свести счеты с жизнью.

А старик этот, да будет вам известно, был вовсе не подлого звания, а вел свой род от самураев, знаменитых в провинции Этиго.

– Так уж случилось, что, став ронином[28], я был вынужден скрываться от людей, и вот теперь, на старости лет, мне приходится влачить жалкое существование, – сказал он однажды Гэнсити, когда Дзинсити не было рядом. Не сдерживая слез, он продолжал: – С жизнью мне расставаться не жаль, одно лишь меня заботит – не хочу после смерти стать добычей собак и волков. Не могли бы вы предать прах мой земле?

Гэнсити проникся еще большим состраданием к несчастному старику и молвил в ответ:

– Коли суждено вам умереть, я исполню вашу просьбу. Но пока я здесь, вам не о чем тревожиться. Никто больше не посмеет дурно обращаться с вами.

Старик склонил голову и, отирая рукавом слезы, с благодарностью произнес:

– Радостно мне слышать эти слова.

В этот миг перед хижиной появился какой-то путник. Слуги вели под уздцы его коня и несли паланкин. Он торопился, должно быть, по какому-то важному делу. Остановившись, человек этот оглядел старика пристальным взглядом, затем спросил:

– Скажите, почтенный, ваше имя не Хасимото Такуми?

– Неужели это ты, Кинъя? – всплеснул руками старик. Видно, крепки были узы, связывавшие отца с сыном.

– Какое счастье, что я вас отыскал! – воскликнул путник. – Когда мы расстались, я отправился в провинцию Мусаси и после долгих мытарств наконец поступил на службу к тамошнему князю. Мне положили жалованье, как и прежде, – пятьсот коку риса.[29] Испросив отпуск в пятьдесят дней, я отправился разыскивать вас, отец. Этот срок подходит к концу, и я уже совсем было отчаялся вас найти. И вот мы всё же встретились. Выходит, не отвернулось еще от меня самурайское счастье.

Старик, в свою очередь, поведал сыну о тяготах, выпавших на его долю за время разлуки. Слушая отца, Кинъя не успевал осушать слезы.

Тем временем воротился Дзинсити. Увидев незнакомца, он остолбенел от страха. Кинъя схватил его и гневным голосом произнес:

– Такого мерзавца, как ты, не следовало бы оставлять в живых, но я не стану тебя убивать. Судьба сама покарает тебя за твои злодеяния!

С этими словами Кинъя разнес в щепы хижину Дзинсити. И снова на том месте стало пустое поле.

– А вас, – сказал он Гэнсити, – я принимаю к себе на службу.

Затем Кинъя посадил отца и второго старика в паланкин и вместе с ними отправился на восток.

Так и остался Дзинсити ни с чем, если не считать разбитой посуды, черпачка из раковины да старой циновки, которая не уберегала от утренней росы и вечернего ветра. Вот какая беда постигла Дзинсити! Вскоре пошла о нем дурная молва, и люди изгнали его из тех мест. Теперь ему даже голову приклонить было негде.

Первый снег застал его у храма Сёсядэра в провинции Харима. Там он и нашел свою погибель – закоченел и умер.

Приписка, оставленная на изголовье

В последнее время у столичных жителей вошло в обычай, чуть перевалит им за сорок, обривать голову и удаляться на блаженный покой. Впрочем, если есть деньги, бритая голова не помеха в развлечениях – даже таю[30] в веселых кварталах охотно выходят к таким гостям. А мальчики-лицедеи и подавно не гнушаются водить с ними дружбу. Передав сыну хозяйство, можно жить в свое удовольствие, без хлопот и волнений; подобное благо ни на что не променяешь. А вот женщины по большей части неразумны и до самой смерти не желают уступать невестке бразды правления в доме. Как поглядишь да послушаешь, таковы нравы не только в столице, но и в провинции.

Жил в уезде Хата провинции Тоса человек по имени Кацуоя Скэхати, судовщик, отдававший внаем рыбацкие лодки. Дело свое Скэхати вел с умом, так что не только лодки его выдерживали натиск морских волн, но и сам он мог устоять перед любой житейской бурей и постепенно разбогател. Был у него сын по прозванию Скэтаро. Смышленый от рождения, он во всем старался помочь отцу, и тот радовался, видя, как все вокруг его нахваливают.

Когда Скэтаро исполнилось девятнадцать, он приглядел себе девушку из той же деревни, пригожую и славную, и вскоре взял ту девушку в жены. Теперь родителям Скэтаро ничто не мешало уйти на покой. Они построили для себя отдельный флигель позади дома, все ключи от хозяйства передали Скэтаро, а вдобавок приставили к нему в помощники двоих приказчиков, добросовестных и ухватистых. С тех пор дела семьи еще шибче пошли в гору, – как говорится, по заслугам и честь.

Глядя на то, как ладно живут Скэтаро с молодой женой, родители радовались и с нетерпением ждали появления внуков. А поскольку невестка еще не вышла из возраста, когда женщине пристало расхаживать в фурисодэ[31], свекровь беспокоилась, как бы слуги при ней не начали лениться да своевольничать, и по многу раз на день наведывалась в дом, где жили молодые, с дотошностью вникая во все

хозяйственные дела. Зная, сколь требовательна старая госпожа, слуги трудились ревностно, да еще приговаривали:

– В этом доме и дела идут полным ходом, потому что у штурвала стоит умелый хозяин, и на кухне царит порядок, потому что всем заправляет старая госпожа.

Несмотря на свои преклонные годы, свекровь была бодра и приветлива, всякий раз, приходя на кухню, рассказывала слугам что-нибудь потешное, поэтому все они из кожи вон лезли, стараясь ей угодить.

Казалось бы, лучшей свекрови и желать нельзя, но жена Скэтаро невзлюбила старую женщину, завидуя тому, с каким почтением к ней относятся в доме. И вот однажды на рассвете, в ту грустную пору по весне, когда не переставая льют дожди, она сделала на своем конце изголовья такую надпись: *«Я не могу более оставаться в этом доме, терпя над собою опеку Вашей матушки. Хотя моя любовь к Вам безмерна и я знаю, что любима Вами, нам лучше расстаться. Такая уж, видно, выпала нам судьба в бренном мире»*, – и, пока муж не проснулся, поднялась с постели и, как была, в смятом спальном одеянии выбежала из дома.

Пробудившись ото сна, Скэтаро прочел обращенное к нему послание и залился горючими слезами. Все в доме всполошились и сразу же отрядили людей на поиски беглянки.

Как выяснилось, жена Скэтаро нашла себе прибежище в женском монастыре у подножья горы.

– Я пришла сюда не для того, чтобы принять постриг, – сообщила она монахиням. – Просто хочу пожить вдали от мира.

Монахини решили, что на то у женщины должны быть причины, и принялись выпытывать у нее, что да как. Тем временем в монастырь явились люди, отправленные на ее поиски, и попросили настоятельницу взять беглянку под свое покровительство. Воротившись домой, они рассказали обо всем хозяевам, и у родителей Скэтаро отлегло от сердца, – ведь, к счастью, невестка нашлась.

На следующий же день они послали за ней слуг, но женщина и не подумала возвращаться.

Истосковавшись по любимой жене, Скэтаро бросил родителей на произвол судьбы и отправился в тот монастырь, желая быть с нею рядом не только в этой, но и в будущей жизни[32].

Шло время, и не было дня, чтобы Скэтаро не проклинал ни в чем не повинную мать и не порочил ее доброго имени. Мать же на него не обижалась, а только жалела его, ведь был он ее единственным сыном. И вот однажды, проведя в горестных думах бессонную ночь, старая женщина решила лишить себя жизни, пожертвовать собой ради его счастья. Приняв такое решение, она сказалась больной, перестала пить и есть и на девятнадцатый день скончалась прежде отведенного ей срока, исчезла, словно видение бренного мира.

Скэтаро кончина матери нисколько не опечалила, ведь он давно уже ворчал: зажилась, мол, старуха на свете, – невестка же и подавно обрадовалась, тотчас вернулась домой и принялась хозяйничать. Что же до старика отца, то, к счастью для супругов, он был туг на ухо, поэтому они заперли его в дальней комнате, как ненужный хлам, и месяцами не видели.

И вот, когда со смерти матери прошло уже больше года, Скэтаро за какой-то надобностью вытащил то самое изголовье и увидел на нем сделанную рукою матери приписку: *«Так уж устроена жизнь, что невестки, состарившись, превращаются в свекровей. Сколь жестоки бывают порою людские сердца! Как горько сознавать, что моя невестка оказалась волком в овечьей шкуре! Любя сына, я без сожаления расстаюсь с жизнью, чтобы не мешать его супружескому счастью».*

Вскоре о том стало известно повсюду, и все отвернулись от Скэтаро и его жены. Не смея показаться людям на глаза, они перестали выходить из дома и в конце концов совершили двойное самоубийство, заколов друг друга мечом.

Горе, вылетевшее из рукава

Воистину, горько, когда подозрение падает на человека, чья душа ясна, как безоблачный день. Небо, разумеется, судит по справедливости, и в конце концов правда торжествует. Но – увы! – не каждому удается дожить до этого счастливого часа. Многие вынуждены страдать понапрасну, став жертвой оговора или злого навета.

Жил в портовом городе Цуруга провинции Этидзэн некто по имени Эномото Мандзаэмон. Большую часть года он крестьянствовал, а в свободное от полевых работ время еще и приторговывал. В торговле Мандзаэмон знал толк и каждый год выставлял на осенней ярмарке в Цуруге лотки со всевозможными диковинами, закупленными в Киото. Немало погонщиков и крестьян собиралось поглазеть на них, словно это были цветы столичных вишен, распустившиеся здесь посреди осени. Был он человеком оборотливым, из тех, кто своего не упустит, подсчитывал все в уме, не сорил понапрасну деньгами, покупателя, хоть какого, умел обвести вокруг пальца. И все же удача обходила его стороной, деньги таяли быстро, и вскоре он остался ни с чем. Как известно, беда не ходит одна: ни с того ни с сего земля его перестала родить и за четыре-пять лет превратилась в пустошь. Даже подати платить ему было нечем, так что пришлось распродать все имущество. Но и в этом жалком положении он продолжал строить из себя умника и совал нос в чужие дела, поэтому все кому не лень впутывали его в свои тяжбы. Дело дошло до того, что родственники, опасаясь неприятностей, совсем перестали с ним знаться. А сколько горя жена с ним хлебнула! Жизнь ее превратилась в сущую муку. Частые огорчения подточили здоровье, и двадцати шести лет от роду она покинула сей бренный мир. Случилось это в конце пятого месяца. Но хуже всего было то, что на руках у Мандзаэмона остался грудной младенец, сынишка по прозванью Манноскэ. Все сорок девять дней, пока перед табличкой с именем покойницы стояли цветы и курились благовония, отец просидел не смыкая глаз возле колыбельки с москитной сеткой на изголовье. Особенно тяжко ему приходилось, когда малыш начинал плакать. Чего

только ни делал несчастный отец, чтобы его успокоить: кормил рисовой кашицей со сладкими тянучками, укачивал, положив к себе на колени, – но ребенок не унимался, и казалось, ночи не будет конца. В такие мгновения Мандзаэмон думал, что этому ребенку лучше было совсем не родиться на свет, и с тоской вспоминал жену, сетуя на горькую участь вдовца.

Однажды ночью, вне себя от отчаяния, он схватил ребенка и побежал к храму, который стоял на краю поля в половине ри от его дома.

Положив Манноскэ в часовенке у дороги, он собрался было в обратный путь, но в это время младенец расплакался, – видно, озяб на холодном полу. У отца едва сердце не разорвалось от жалости, и он снова взял сына на руки, приговаривая: «Плачь, не плачь, все равно придется мне тебя бросить».

Начало светать. Зачирикали воробьи на крыше и принялись кормить своих птенцов. Глядя на них, Мандзаэмон подумал, что, раз даже птицы так заботятся о своих чадах, ему, рожденному на свет человеком, тем более не пристало отказываться от родного дитяти, – и вместе с Манноскэ воротился домой.

Отметив постом пятидесятый день кончины жены, Мандзаэмон решил обойти близлежащие деревни, чтобы купить рисовых жмыхов и начать торговлю. Он повесил через плечо две корзины, в одну посадил Манноскэ, другая же и без того была тяжела, как будто Мандзаэмон излил в нее все свои слезы. Так он вошел в соседнюю деревню. Поселяне приветили Мандзаэмона, обласкали младенца.

Как раз в это время в просторном саду возле дома старосты чаевничали женщины той деревни. Была среди них вдова, которая вполне годилась в жены Мандзаэмону. Недолго думая, ее просватали за него, а вскоре и свадьба сладилась.

Женщина эта и собой была не хуже других, и сердце имела доброе. А замуж поспешила не потому, что наскучилась одиночеством, – просто пожалела бедного малютку. Незадолго до этого у нее умер ребенок, в груди оставалось молоко, и она вскормила Манноскэ, заботясь о нем, как родная мать. К тому же и хозяйкой она оказалась отменной, – бывало, вечером наткет полотна, а утром уже спешит его продавать. С ней Мандзаэмон забыл про голод и холод, а со

временем они настолько разбогатели, что смогли держать во множестве слуг и работников.

К тому времени Манноскэ уже исполнилось шестнадцать лет, и он стал носить взрослую прическу, выбривая волосы углом на висках.[33] Вырос парень на славу, и многие завидовали взрачности его лица. Только нрава он был прескверного, всем нечестивцам нечестивец. Дня не проходило, чтобы он не нагрубил отцу, но мачеха неизменно вступалась за него и всякий раз старалась умилостивить мужа. Мандзаэмон же любил жену и ни в чем ей не перечил. Это приводило Манноскэ в бешенство, и неблагодарный пасынок задумал выгнать мачеху из дома.

Однажды он сказал отцу:

– Больно говорить вам об этом, но дольше молчать я не могу, это значило бы пойти против совести. Матушка то и дело заигрывает со мной – срам, да и только! До сих пор я терпел и скрывал от вас ее непотребство, но ведь кто-то может ненароком это увидеть и ославить меня, невиновного, ни за что, ни про что. – Городя весь этот вздор, паршивец заливался слезами.

Потрясенный отец воскликнул:

– Быть того не может!

– Понимаю, в это трудно поверить, – ответил сын, – но вы можете убедиться сами. Сделайте вид, будто вам надо отлучиться из дома, а сами спрячьтесь в укромном местечке и наблюдайте за нами.

Выпроводив отца, Манноскэ обратился к мачехе:

– В саду уже созревает хурма. Давайте сорвем спелые плоды с верхних веток.

Мачеха согласилась, и они вместе вышли в сад. Тут Манноскэ, улучив удобный момент, зашел в тень дерева и стал дергаться и извиваться, как будто его ужалила пчела.

– Поймайте, поймайте же скорее! – крикнул он мачехе.

Та, не чуя подвоха, просунула руку в его левый рукав и принялась искать пчелу.

– Кажется, ничего нет, – молвила женщина, – но боюсь, как бы пчела снова тебя не ужалила. Сними-ка одежду, я как следует погляжу.

Все это видел отец, затаившийся у живой изгороди.

«И впрямь не лжет мальчишка», – подумал он, и в тот же миг всю его любовь словно ветром сдуло. Ничего не объясняя, он заявил жене,

что дает ей развод.

– Не пойму, отчего вы вдруг так ко мне переменились, – вздыхала несчастная. – Коли я в чем-то провинилась перед вами – скажите, ведь мы не чужие. Горько терпеть от вас такую обиду.

Но Мандзаэмон не желал ее слушать, и бедной женщине ничего не оставалось, как остричь волосы и искать утешения в монастыре.

Правду говорят, что худая слава разлетается быстро. Как это произошло – неизвестно, только вскоре слухи о злокозненном поступке Манноскэ облетели всю округу, и не было в тех местах человека, который не возненавидел бы негодяя. Пришлось ему покинуть родные края и податься в Камигату[34]. Однако не успел он отъехать на семь с половиной ри, как неожиданно грянул гром небывалой силы. Возница же как ни в чем не бывало продолжал вести под уздцы его коня и лишь потом, оглянувшись, увидел, что всадника на нем нет. От этого самого возницы и стало известно о загадочном исчезновении нечестивца Манноскэ.

Общество восьмерых пьяниц

В портовом городе Нагасаки, где шум волн напоминает веселое постукивание барабанчиков, восемь знаменитых пропойц заключили между собой союз. Выбрав место для своих сборищ в зарослях криптомерий, – ведь ветки этого дерева служат знаком любого питейного заведения, – они прикатили туда две бочки сакэ – сладкого и терпкого – и, поклоняясь божеству виноделов Мацуноо-даймёдзин, проводили время в безудержном пьянстве. Вот кто входил в этот союз: Дзиндзабуро по кличке «Змей», Каннай по прозвищу «Сютэндодзи»[35], Тоскэ – он же «Дунпо из Ямато»[36], Мориэмон «Беспробудный», Сихэй «Веселья на троих хватит», Рокуносин «Выдуй мерку», Кюдзаэмон «Необузданный» и Кикубэй «Хризантемовая водка»[37]. С первого и до последнего дня года никто не видел их трезвыми.

Всякий раз, приступая к попойке, они напевали мелодию «Тысячекратная осень»[38], которой полагается завершать пир, – даже в те редкие мгновения, когда к ним возвращалась способность хоть что-то соображать, мысли их тонули на дне сосудов с вином. Пьянство было для них самым большим удовольствием на свете. Глядя на них, многие из тех, кто не прочь повеселиться да пропустить чарку-другую, примыкали к сей беспутной братии и расстраивали свое здоровье, пропивали, как говорится, собственную жизнь.

Жил, например, в Нагасаки некто Дамбэй по прозвищу «Рисовальщик», мастер картин «сима-э»[39]. Совсем недавно перебрался он в эти края из Окуры, что в провинции Бидзэн. Родившись в семье, где исстари много пили, он и сам сделался заправским пьяницей, во всяком случае, равных себе он пока еще не встречал. Однажды, когда Дамбэю исполнилось девятнадцать лет, он побывал в столице. Наглядевшись там на состязания лучников у храма Сандзюсангэндо[40], он решил устроить такое же состязание по выпивке сакэ, и, надо сказать, проявил себя не хуже, чем Хосино Кандзаэмон и Васа Дайхати[41] в искусстве стрельбы из лука. Вскоре о нем заговорили как о первейшем пьянице во всей Поднебесной, и владелец знаменитой винной лавки «Мандариновый цвет» пожаловал

ему подарок – вяленых моллюсков в золотой обертке. Тут Дамбэй совсем возгордился, точно лучник, которому вручили золотой жезл[42], и, решив, что теперь ему пристало жить только в Нагасаки, где, как известно, любителей сакэ больше, чем где бы то ни было еще, в скором времени туда перебрался и завел торговлю винными чарками.

Однако же, на его беду, оказалось, что в тех краях даже самый рядовой выпивоха, почитай что трезвенник, способен обскакать на пиру любого, кто в иных провинциях слывет воеводой. Затесавшись в общество восьмерых пьяниц, Дамбэй пил с ними на протяжении тринадцати дней и тринадцати ночей, но поскольку те были против него настоящими богатырями, он в конце концов изрядно умаялся, хотя храбрился изо всех сил и сдаваться не хотел.

Тут как раз явилась матушка Дамбэя и принялась его увещевать:

– Прошу тебя, перестань этак напиваться. Отец твой, Данъэмон, тоже не знал удержу в таких делах и однажды за пирушкой во время игры в го[43], длившейся всю ночь, повздорил с лекарем-иглоукалывателем Утидзимой Кюбоку. Хотя спор между ними разгорелся из-за сущей безделицы, спьяну они наговорили друг другу столько обидного, что в итоге схватились за мечи да и закололи друг друга насмерть. В глазах людей они выглядели посмешищем и, сойдя в могилу, покрыли себя позором. Даже мне, женщине, горько об этом вспоминать. Я надеялась, что, зная о бесславном конце Данъэмона, никто из его потомков не возьмет в рот ни капли сакэ, но куда там! Ты пропускаешь мои слова мимо ушей и заделался отчаянным пропойцей. Пойми, пьянство до добра не доводит. Прошу тебя, остановись, утешь мать на старости лет. Конечно, одним махом с этой привычкой не разделаться. Так и быть, до исхода лета я разрешаю тебе пить понемногу – три раза днем и три ночью, но за один раз выпивай, уж, пожалуйста, не больше пяти мерок[44].

Дамбэй бросил на мать злобный взгляд и отвечал ей так:

– Вам-то, мамаша, никто не запрещает пить чай. Пора бы уразуметь, что сакэ для меня – единственная радость в жизни, ради которой мне и помереть не жалко. К слову сказать, когда я помру, тело мое обмойте не водой, а добрым сакэ, и гробом мне пусть послужит бочка из-под вина, что делают в Итами[45]. А похоронить меня прошу на горе с вишневыми деревьями или же в лощине, где растут клены. Когда люди придут полюбоваться на весеннее цветение вишен или на

клены в осеннем багрянце, они прольют на землю хоть немного сакэ, и оно дойдет до моих косточек. Поймите, мамаша, если я и после смерти не собираюсь расставаться с сакэ, могу ли я отказаться от него при жизни?!

С тех пор Дамбэй стал бражничать пуще прежнего, не разбирая, ночь стоит на дворе или день. Случалось, что по пять, а то и по семь дней кряду он валялся в постели мертвецки пьяный. Немудрено, что все остальные дела пошли у него побоку.

Беспрестанно тревожась о сыне, матушка Дамбэя занемогла и вскоре скончалась. А Дамбэй даже в день ее смерти был не в силах подняться с постели. Лишь по прошествии времени, чуточку протрезвев, он спохватился и принялся горевать, да было уже поздно.

Кичливый силач

Судья поднял свой веер[46] и стал посередине площадки, огороженной четырьмя столбами. Вслед за ним на помост вышли нанятые устроителем состязаний борцы высшего разряда Маруяма Дзиндаю, Ваканоскэ и Цутаноскэ, а также их противники: Тобира Татээмон, Сиогама и Сирафудзи. Представившись публике, они заняли свои места по левую и правую сторону от помоста, после чего началась предварительная часть соревнований, в которой выступали новички да всякая мелкая сошка.

По мере того как на помост поднимались всё более именитые борцы-тяжеловесы, число зрителей стало возрастать, а поскольку соревнования были приурочены ко дню праздника храма Компира[47], о чем людей оповестили заранее, вскоре народ повалил толпой, и между круглыми подушками для сидения даже шила негде было воткнуть. Да и кому не захочется поглядеть на сноровистых борцов из Камигаты и деревенских силачей!

После этих состязаний увлечение сумо распространилось по всей провинции Сануки, и многие тамошние жители, вплоть до пастухов и сборщиков хвороста из горных селений, обзавелись набедренными повязками из узорчатого шелка и, как одержимые, принялись осваивать все сорок восемь приемов борьбы. Пристрастившись к этому дурацкому занятию, они даже не боялись на всю жизнь остаться калеками.

Жил в тех краях юноша по прозванию Марукамэя Сайхэй, который если и мог чем похвастаться, то разве только своею силой. Не так давно снискал он славу на поприще сумо и взял себе имя Араисо, что значит «Неприступный берег». Будучи сыном богатого горожанина, владельца известной меняльной лавки, он мог бы избрать для себя занятие и поприличней. Люди порядочные ради удовольствия играют на кото[48] или в го, занимаются каллиграфией или живописью, обучаются чайной церемонии[49], игре в ножной мяч[50], стрельбе из лука или пению утаи[51]. Все это вполне достойные занятия. А что хорошего в развлечении, при котором надобно раздеться догола да еще подвергать опасности свое здоровье? Сумасбродство, да и только!

– Послушай, сынок, – говаривал отец Сайхэю. – Бросил бы ты свое сумо, завел себе хороших товарищей и читал бы с ними Четверокнижие[52].

Но Сайхэй пропускал мудрые сии слова мимо ушей. А между тем, если бы он послушался своего родителя, тот уже год или два назад вручил бы ему ключи от хозяйства и доверил вести все дела.

Как-то раз матушка Сайхэя, пустив в ход все свое хитроумие, потихоньку подозвала к себе сына и сказала ему:

– Нынешней весной тебе исполнится девятнадцать лет. Вот и поехал бы в столицу[53], полюбовался тамошними вишнями в цвету, а заодно и поразвлекся. Мы с отцом для того и копили деньги, чтобы ты мог их тратить. Непременно наведайся в веселый квартал Симабара[54] и, если захочешь, перезнакомься со всеми таю. Или же поезжай в Осаку, сведи дружбу с тамошними актерами – какой тебе понравится, того сразу и выкупай. А вдобавок присмотри себе хороший дом на улице Мицудэра-мати, чтобы впредь было где остановиться. Даже если ты истратишь тысячу, две тысячи рё[55], нашего богатства от этого не убудет. Положись во всем на меня, я тебе дурного не посоветую.

Но Сайхэй остался глух к ее речам.

– Напрасно стараетесь, матушка. Для меня нет большего удовольствия в жизни, чем сумо, – отрезал он.

И на сей раз не пожелал он отказаться от своего пристрастия, – видно, таким уж упрямым уродился. Единственное чадо в семье – этим все сказано. Родители поняли, что уговорами ничего не добьешься, и махнули на него рукой.

Даже приказчики в лавке, и те его осуждали:

– При таких родителях можно было бы кутить в веселых кварталах сколько душе угодно. Чем не райское житье? А молодой хозяин только и знает что жилы из себя тянуть.

Теперь, когда никто уже не докучал ему своими поучениями, Сайхэй стал налегать на мясную пищу и от этого сильно прибавил в весе. В девятнадцать лет он выглядел на все тридцать, за короткое время стал совершенно неузнаваем.

Тут вся его родня собралась на семейный совет, и в итоге решили, что, ежели Сайхэя женить, нрав его может измениться к лучшему. Вскоре нашли ему подходящую невесту и справили свадьбу. Но Сайхэй так ни разу и не вошел в комнату своей молодой жены. Не

зная, что и думать, родители попросили поговорить с ним кормилицу, которая нянчила его с младенчества.

– Будет обидно, если в самом расцвете сил я растрачу их зазря, – ответил ей Сайхэй. – Я поклялся богу Хатиману[56], богине Мариси[57] и Светлому Владыке Фудо[58], что не лягу в постель с женщиной. Гореть мне огнем, коли нарушу эту клятву!

Как это ни печально, все оставалось по-прежнему: молодая жена была брошена в одиночестве, точно ненужное украшение, а Сайхэй продолжал спать в своей комнате.

– Нет у меня иных радостей, кроме сумо, – говорил он и упражнялся с еще большим рвением.

Со временем сила и сноровка его умножились, и он стал лучшим борцом сумо на всем Сикоку. При одном лишь упоминании об Араисо противники бежали, не чуя под собою ног.

– Теперь вряд ли кто осмелится выйти со мной на поединок. Я любого заткну за пояс! – бахвалился он. Неудивительно, что все вокруг его возненавидели.

Однажды в соседнем селении накануне тамошнего храмового праздника устроили состязание борцов сумо. Явился туда и Сайхэй. И вот какой-то парень из местных, подвизавшийся грузчиком, решил с ним сразиться. Он без труда приподнял Сайхэя и ловко повалил его наземь, так что сам несравненный Араисо с переломанными ребрами рухнул на помост, подобно лодке, разбившейся о неприступный берег. Сайхэя тут же водрузили на носилки и отправили домой.

Чего только ни делал Сайхэй, чтобы исцелиться, все было впустую, и он срывал злобу на окружающих. Стоило домочадцам допустить какую-то оплошность, как он набрасывался на них с грубой бранью. А слуг до того запугал, что они не решались войти к нему в комнату. Теперь родители были вынуждены сами растирать ему ноги и прибирать у него в постели, когда он справлял большую или малую нужду. Казалось, само Небо отвернулось от него. «Родительское наказание» – вот какое прозвище следовало бы ему теперь дать!

Из сборника «Дорожная тушечница»

Чертова лапа, или Человек, наделавший много шума из ничего

Однажды некий человек увидел, как в полдень увядают цветы вьюнка «утренний лик», и понял, что пора его собственного расцвета тоже незаметно миновала. Воистину, жизнь быстротечна и подобна дороге, по которой поспешает в сумерках странник, не ведая, где остановится на ночлег. И вот, проникшись этой мыслью, решил он отправиться в паломничество по святым местам.

Людские сердца несхожи меж собой, как цветы на разных деревьях. Даже в цветущей столице всяк перебивается на свой лад, а в отдаленных провинциях – так и подавно. «Хорошо бы записать обо всем, что я там увижу. Со временем из этих записей, как из семян, могут вырасти рассказы!» Снаряжаясь в путешествие, он приготовил дорожную тушечницу и запасся изрядным количеством туши, дабы черкать обо всем подряд, не жалея слов.

«Луна светит для всех одинаково, но каждый видит ее по-своему», – любил повторять этот чудак и не уставал дивиться тому, как много в нашем изменчивом мире любопытного и забавного. Жил он неподалеку от храма Тодзиин в Китаяме[59]. Крытая бамбуковым листом уединенная хижина, где проходили его дни, отнюдь не казалась убогой и была построена с большим тщанием. Звался этот человек Бандзаном. Его тронутые сединой волосы были острижены до плеч и гладко зачесаны. Носил он черную накидку, какую обычно носят благочестивые миряне, на мирянина он, однако, не походил, да и на монаха тоже.

По утрам и вечерам бил он в деревянный гонг и читал нараспев сутры, но не для того, чтобы, подражая Шакьямуни [60]или Бодхидхарме[61], достигнуть просветления, а ради удовольствия, как иные распевают утаи. Обычно он обходился постной пищей, но ежели перепадал случай полакомиться рыбой или дичью, не отказывал себе в этой радости. После долгих часов молчаливого созерцания он любил проводить время в обществе хорошеньких женщин и вдыхать аромат алоэ, исходящий от их рукавов. Однако со временем он понял, что этот аромат, равно как и запах толченых благовоний[62], хранящихся у него

в бумажном мешочке, – всего лишь дым, напоминающий о призрачности всего мирского, и отправился в путь.

Надев короткое дорожное платье и соломенные сандалии, Бандзан зашагал по ухабистым, мощенным мелким камнем улицам Киото. Но тут внезапно начался ливень, что нередко случается в весеннюю пору, и тяжелые капли застучали по его дождевой шляпе. Из-за долгих дождей вода в реке Сиракава поднялась, затопив перекинутый через нее мост и дорогу, по которой женщины из предместий носят в столицу хворост и дрова на продажу. Волны в реке вздымались высотою с дом, и пока люди беспокоились, как бы не обвалился берег, прорвало плотину. Жители окрестных деревень били в барабаны, оповещая всех об опасности, а тем временем по течению, словно огромные плоты, неслись рухнувшие в воду деревья. У Третьего проспекта творилось что-то невообразимое: вода подступила к воротам храма Тёмёдзи[63] и хлынула внутрь. Вот уж когда святому Нитирэну полагалось сочинить свою молитву о спасении в водной бездне![64] Как ни пытались монахи сдержать поток, под его натиском обрушились южные врата, и статуи обоих благодетельных царей Нио[65] оказались в воде. Барахтаясь в волнах, бедняги задыхались и беспомощно пускали пузыри, но спасти их никто не мог. Кончилось тем, что они ударились о край скалы и разбились.

В тот самый день, под вечер, человек по имени Дзиндаю, торговец дровами с Седьмого проспекта, вооружившись железными граблями, вытаскивал из воды принесенные течением деревья и неожиданно поймал отломившуюся руку одного из стражей врат. В простоте душевной он изрядно подивился находке и сказал своему помощнику:

– Не иначе это лапа самого черта! Сделаю-ка я ее семейной драгоценностью, только ты об этом пока помалкивай.

Дзиндаю велел помощнику принести из дома небольшой сундук, спрятал в него находку, а воротившись домой, обвязал сундук веревкой «симэ»[66] и поставил в кладовую.

На следующий день Дзиндаю сам повсюду растрезвонил, что вытащил из воды лапу черта. Поначалу ему не верили, но поскольку торговец слыл человеком правдивым, многие загорелись желанием увидеть чудесную находку и стали его упрашивать:

– Дайте хоть одним глазком взглянуть на ваше сокровище. То-то будет о чем рассказать внукам и правнукам!

Даже среди стариков были такие, кто говорил:

– Эх, только бы увидеть чертову лапу! После этого можно и помирать спокойно.

На молодых же и вовсе не было удержу, они осаждали дом Дзиндаю, не задумываясь о последствиях. Лишь у тех, кто побогаче, кому было что терять, хватило ума не лезть на рожон.

В итоге набралось одиннадцать доброхотов, отважившихся взглянуть на сокровище Дзиндаю. Прежде чем отправиться к нему, каждый приготовился на свой лад: кто-то на прощание выпил с женой по чарке сакэ, кто-то надел кольчугу, кто-то прицепил к поясу меч, передававшийся в его семье из поколения в поколение, а кто-то сунул за пазуху горсть бобов, оставшихся с праздника Сэцубун. Остальные вооружились палками, дубинами и деревянными кольями. И хотя все они дрожали от страха, толпясь у ворот Дзиндаю, им не терпелось поскорее увидеть чертову лапу. Ныне, как и в старину, немало простецов!

Но вот наконец наступил вечер – время, которое Дзиндаю счел наиболее подходящим для осмотра своего сокровища. Сам он снарядился еще более тщательно, чем прочие, и, взяв в руку свечу, пригласил всех в кладовку.

– Лапа находится в этом сундуке, – объявил он. – Сейчас я открою крышку.

Переглянувшись между собой, все окружили сундук и заглянули внутрь. И – о, чудо! – в этот миг чертова лапа как будто шевельнулась. От испуга люди едва не лишились чувств, а тот, кто пришел с мечом, вытащил его из ножен да впопыхах и поранился. Как бы то ни было, весть о диковинном происшествии вмиг облетела город, и весь вечер в ворота Дзиндаю ломились любопытные.

А наутро стало известно о двух статуях, унесенных водой из храма Тёмёдзи, и теперь все вокруг потешались над событиями минувшего вечера. Дзиндаю же, который наделал столько шума из ничего, с тех пор величали не иначе, как «Вторым Ватанабэ-но Цуна»[67].

Долгий путь к знакомому изголовью

На побережье Авадзи, где, по слову поэта, разносится «чаек пролетный крик»[68], Бандзану довелось услышать одну поистине печальную историю. Занесло его в те края потому, что корабль, на котором он плыл, сделал остановку в бухте у острова Эдзима, и ему поневоле пришлось дожидаться здесь утра. Унылое это было место. В старинной песенке поется о «цветущем Эдзима». И где только привиделись цветы тому, кто сложил эту песню? Стояла весна, но нигде не видно было ни единого вишневого деревца, и вокруг было пусто, как в осенние сумерки. «Лишь в бухтах – бедные рыбачьи шалаши…»[69]

В поисках ночлега Бандзан заглянул в один из этих шалашей, а там собрались местные жительницы, чтобы за чаем посудачить о том о сем. Как водится, те, что постарше, были не прочь позлословить о своих невестках.

– Поспешность никогда не доводит до добра, – произнесла одна из них с таким важным видом, что Бандзан решил расспросить ее поподробнее.

И вот что она рассказала.

Жил в той бухте рыбак по имени Китагиси Кюроку. Каждый год уходил он в восточные моря на лов сардин и тем добывал себе пропитание. Обычно вместе с ним отправлялись на промысел и его приятели-рыбаки, но прошлой осенью Кюроку отправился в одиночку.

Шло время, а Кюроку все не возвращался. Весточки о себе он подать не мог, потому что не знал грамоты, вот и получилось, что, сам того не желая, он заставил своих близких тревожиться понапрасну. К тому же осень в том году выдалась непогожая, и рыбачьи лодки тонули одна за другой.

– Видно, нашего Кюроку уже нет в живых, – сокрушались его домочадцы.

А тут еще пронесся слух, будто кто-то собственными глазами видел, как лодка Кюроку ушла под воду, а вместе с ним погибло еще двести пятьдесят рыбаков.

– Недаром было у нас недоброе предчувствие. Хорошо, что мы дома остались, – говорили друзья Кюроку, и от этого на душе у его близких становилось еще тяжелее.

Но горше всех было, конечно, жене Кюроку – она так страдала, что готова была лишить себя жизни. Войдя в семью на правах мужа-примака, Кюроку жил с ней в любви и согласии и родителей ее почитал. Лишиться такой опоры было великим несчастьем, и все вокруг ее жалели.

Наступила зима, за нею – весна, миновал почти год, а от Кюроку по-прежнему не было ни слуху ни духу. Теперь ни у кого не оставалось сомнений в том, что он погиб. Считая день, когда он покинул родное селение, днем его кончины, близкие Кюроку пригласили священника и отслужили по нем поминальную службу, а вещи его отправили в родительский дом.

Проходит время, и горе постепенно забывается – так уж устроена жизнь. Глядя на жену Кюроку, овдовевшую в самом расцвете молодости, родственники принялись ее уговаривать:

– В твои годы обидно оставаться одной. Нашла бы ты себе мужа, утешила родителей на старости лет.

Но та и слышать ничего не хотела. В скором времени намеревалась она отречься от бренного мира, остричь волосы и провести остаток жизни, возжигая благовония и ставя цветы на божницу в память о покойном муже. Но родственники не отступались.

– Рассуждать так может лишь дочь, забывшая о своем долге перед родителями, – твердили они и в конце концов уговорили ее снова выйти замуж.

Вскоре выбрали счастливый день и назначили свадьбу. В мужья ей достался Коисо-но Мокубэй, рыбак из того же селения. И наружностью своей, и сноровкой превосходил он Кюроку, – и захочешь придраться, да не к чему. Готовясь к встрече нового зятя, родители женщины радовались, а родственники и подавно воспрянули духом. Чтобы не ударить в грязь лицом, свадьбу сыграли по всем правилам: жених, как положено, облачился в хакама[70], а невеста украсила прическу самшитовым гребнем. Когда молодые приступили к троекратному обмену чарками сакэ, в дощатую дверь их ветхой лачуги полетели камешки – подобный обычай существует повсюду и объясняется не чем иным, как завистью к счастливым жениху и

невесте. С наступлением ночи, когда шум поутих, новобрачные улеглись в постель и сдвинули изголовья. Тут женщина как-то само собой забыла прежнего мужа и отдала свое сердце Мокубэю.

Утомившись за вечер, все в доме крепко спали, когда из дальних краев нежданно-негаданно воротился Кюроку. Войдя в дверь без спросу, как и пристало хозяину, он прямиком направился в спальню к жене, по которой сильно стосковался за время разлуки. Сквозь оконце, выходящее на юг, уже пробивались солнечные лучи, и небрежно рассыпавшиеся по изголовью волосы показались Кюроку еще прекрасней, чем прежде. «Краше моей жены нет женщины в нашем селении», – с гордостью подумал он и пристроился в постели рядышком с нею. Женщина тотчас же проснулась и, вскрикнув от неожиданности, залилась слезами. Вслед за тем из-под одеяла показалась голова оторопевшего Мокубэя.

– Как это понимать? – произнес Кюроку, закипая гневом.

Женщина стала объяснять, отчего да почему так произошло, но Кюроку не пожелал слушать никаких оправданий. Вот что значит злая судьба! Самым обидным для него было то, что из всех мужчин его жена выбрала именно Мокубэя, с которым они давно уже враждовали! В тот же миг в душе Кюроку созрело решение, но прежде, чем его осуществить, он рассказал жене о мытарствах, которые ему пришлось претерпеть, пока его лодку носило по бушующему морю. После этого он взял нож, убил сначала жену, потом Мокубэя, а напоследок себя самого. Для жителя захолустного рыбацкого поселка это был поистине удивительный поступок!

Чудесные звуки барабанчика, завлекшие странника

Как ни хотелось Бандзану подольше остаться в Киёмигата[71], с первыми рассветными ударами колокола он пробудился ото сна, покинул свой ночлег и снова отправился в путь.

Холодный ветер раскачивал сосны на мысу Ми-хо. Слева от бухты Таго высился мрачный горный перевал Сатта, откуда доносились унылые крики обезьян. С побережья вспорхнула стая чаек, и от этого окрестный вид сделался еще более печальным. Над котлами, в которых выпаривали соль, поднимался легкий дымок. Белые облака окутали Фудзи, и давнее намерение Бандзана посвятить этой знаменитой горе какие-нибудь шутейные стихи так и осталось втуне. Путь его лежал в сторону Юи и Камбары[72], где вылавливают диковинную рыбу по названию «ягара» – «стрела»[73]. Чтобы разогнать сон, он закурил трубку и побрел по камышовому лугу, за которым следовала сосновая роща, открытая всем ветрам. Недолго думая, он сел в лодку, переправился на другой берег реки Фудзикава и оказался в долине Укисима. Оттуда ему пришлось идти по заросшему сухим мискантом полю. И тут перед взором Бандзана предстала гора Асигара во всем ее великолепии. С тех пор как он с дорожным посохом в руке отправился в странствие, ничего подобного ему еще не доводилось видеть. Вот уж истинная отрада для глаз!

Горную тропу обступали усыпанные плодами кусты бадьяна, цвели камелии, а увядшие листья плюща казались еще более яркими, чем осенью, и скрашивали своей зеленью неприглядность скал. Струящийся по склону ручеек замерз и подернулся льдом. Вершина горы была убелена снегом, как старец сединами. На пути то и дело попадались дубовые пни, – видно, когда-то здесь жгли уголь, но печей нигде уже не было. Пробираясь сквозь густые заросли покрытого инеем низкорослого бамбука, Бандзан замочил рукава своего платья. «Поскорей бы выглянуло солнышко!» – подумал он, но ни один луч не проникал в это сумрачное царство.

Неожиданно дорога пошла под уклон и вывела Бандзана к какой-то пещере, откуда доносились звуки барабанчика, едва различимые

сквозь плеск волн в озере неподалеку.

«С чего бы это в горной глуши играли на барабанчике?» – удивился Бандзан, насторожил слух, и почудилось ему, что в пещере и вправду кто-то есть. В тот же миг перед ним мелькнули рукава одеяния из тончайшего алого шелка, и на него повеяло ароматом благовоний. Бандзана вдруг стало клонить ко сну. Притаившись за криптомерией, он заглянул в глубь пещеры и увидел совсем еще юную девушку дивной красоты.

«Странно, – подумал Бандзан, – что она живет здесь одна, вдали от людей».

Девушка заметила Бандзана, однако не проронила ни слова и даже не улыбнулась. «Уж не изображена ли она на картине?» – засомневался Бандзан. Пересилив страх, он подошел поближе и спросил:

– Как ты здесь очутилась?

И вот что он услышал в ответ:

– Я прихожусь дочерью человеку по имени Тёдзо, виноторговцу из города Футю в Суруге. Когда мне исполнилось девять лет, матушка моя умерла и вскоре отец снова женился. Так уж повелось на свете, что мачехи редко благоволят к падчерицам, меня же моя мачеха люто возненавидела. Но я всей душой почитала ее и старалась ей угодить. В ту пору, когда миновала моя тринадцатая весна, у мачехи появился возлюбленный. Мало-помалу люди проведали об этом и стали шептаться у нее за спиной. Чтобы выгородить себя перед отцом, мачеха представила дело так, будто возлюбленный ходит ко мне. «Какое бесстыдство!» – вскричал отец и учинил мне допрос. «Если рассказать все, как есть, – подумала я, – мало того что за мачехой утвердится дурная слава, так еще и слуга, который был посредником в ее любовных делах, подвергнется смертной казни, а я прослыву неблагодарной дочерью. Уж лучше взять вину на себя и пожертвовать собой ради спасения других. Ведь именно так велит нам долг чести и послушания родителям». В тот же вечер я написала записку, в которой сознавалась в мнимом своем прегрешении, тайком выскользнула из дома и нашла прибежище в этих горах. Пять дней я не брала в рот ни еды, ни питья, только читала по памяти сутры и молилась, а на шестой день слегла и уже не могла подняться. «Вот и пришел мой смертный час», – решила я, но вдруг произошло чудо: воздух наполнился благоуханием, и в рот мне потекли капельки росы. В тот же миг я

почувствовала, что оживаю, и силы вернулись ко мне. Время от времени с неба спускался божественный отрок и играл со мной. Тело мое сделалось невесомым, я перестала ощущать жажду, голод и холод и забыла о существовании времени. Когда зацветают азалии, я знаю, что наступила весна, начинают осыпаться каштаны – для меня это знак, что пришла осень. Вот уже тридцать лет, как я живу в этих горах. Мне дарована волшебная сила, благодаря которой я знаю обо всем, что происходит у меня на родине. Семнадцать лет назад мачеха моя умерла, а меня вот судьба пощадила – недаром говорят, что Небо милосердно. Как удивительно, что вы оказались в этих местах, куда редко заглядывают странствующие монахи, и я смогла излить перед вами душу!

Рассказ девушки был поистине необычаен, словно какая-то повесть из старинной жизни. Бандзану казалось, что он внимал ей совсем недолго, а между тем в мире людей прошло целых три дня.

На возвратном пути Бандзан наведался в Футю и остановился там на ночлег. Утром он рассказал хозяину постоялого двора о таинственной пещере и ее обитательнице. Тот всплеснул руками:

– Человека по имени Тёдзо давно уже нет на свете, да и родня его, похоже, вся вымерла. И впрямь диковинная история! Не могли бы вы проводить меня к тому месту в горах?

Прихватив с собой двух или трех человек, хозяин вместе с Бандзаном отправился к той пещере. Но там обнаружили они лишь барабанчик да платье из тонкого шелка. Самой же девушки и след простыл.

Кому веселая свадьба, а кому – река слез

Странствуя по провинции Исэ, Бандзан остановился на ночлег в городке Ямада. Но не успел он заснуть, как его разбудил страшный грохот. Возле одного из домов неподалеку собралась толпа людей, и все они пригоршнями метали в двери камешки, собранные на берегу реки Исудзу. Впору было подумать, что рушится Небесный грот[74].

Удивленный Бандзан спросил у хозяина постоялого двора, что там происходит, и тот объяснил:

– Это на соседней улице празднуют свадьбу. С тех пор как боги-прародители вступили в брачный союз, вошло в обычай швыряться камешками в дом молодоженов. Видно, зависть к счастью молодых не дает людям покоя!

Бандзан и хозяин от души рассмеялись.

На следующее утро Бандзан покинул те края и отправился на восток, а на обратном пути снова заночевал на этом постоялом дворе. И хозяин рассказал ему удивительную историю, предварив ее такими словами:

– Даже самый последний дурак не заслуживает, чтобы над ним измывались!

Когда Бандзан останавливался здесь в прошлый раз, свадьбу справлял торговец по имени Мацудзакая Сэйдзо с улицы Накадзэко. Дело свое он вел с умом, но во всем остальном был доверчив до глупости.

Как-то раз вечером любители распевать утаи собрались на очередное занятие. Помимо Буэмона, учителя, там были Хикодзаэмон, Токускэ, Мацуэмон и Синскэ – всё приятели Сэйдзо.

– Что-то наш Сэйдзо сегодня опаздывает, – заметил кто-то из них.

– Да уж, – подхватил Хикодзаэмон. – С тех пор как он женился этой весной, его из дома не так-то просто выманить. Даже днем знай себе валяется в постели. Много странного случается в мире, но кто мог подумать, что этому страхолюдному простофиле достанется в жены такая красавица? Непонятно, куда смотрел бог Удзигами[75]. И вот что противнее всего: захожу я к ним позавчера, а они средь бела дня

нежатся подле котацу[76]. Увидели меня, натянули на себя одеяло и притворились, будто спят. Разве люди порядочные так поступают?

Все дружно закивали, а кто-то сказал:

– Вообще-то я не завистлив, но как подумаешь, какую красотку отхватил себе Сэйдзо, прямо зло берет. Давайте-ка попробуем их разлучить.

Не успел он договорить, как явился Сэйдзо.

Для начала побеседовали о том о сем, после чего Мацуэмон, напустив на себя озабоченный вид, произнес:

– Мы приятельствуем с тобой много лет и считаем своим долгом по-дружески тебя предостеречь. Как это ни печально, речь пойдет о твоей супруге. Все вокруг только и толкуют что о ее красоте, да и одевается она так, что не придерешься. Но почему же в таком случае, кроме тебя, не нашлось охотников жениться на ней? Оказывается, на то есть причина, и пресерьезная, только мало кто об этом знает. Дело в том, что жена твоя страдает падучей болезнью. С наступлением холодов у нее наверняка начнутся припадки, так что жизнь твоя в опасности. Мы сами лишь недавно узнали об этом от одного сведущего человека, который искренне о тебе беспокоится.

Пораженный до глубины души, Сэйдзо воскликнул:

– А что это за болезнь такая?

– Женщина, подверженная этой болезни, способна на любое сумасбродство. Например, она может раздеться догола и средь бела дня выбежать на улицу. Болтать о чем не положено. Бить посуду и прочую домашнюю утварь. Кидаться с кулаками на прислугу. Резать и рвать на куски циновки. Наконец, она может вцепиться зубами в горло собственному мужу.

Еще много всяких небылиц наплел Мацуэмон. Слушая его, Сэйдзо менялся в лице.

– О, боги! – простонал он и замолк. Потом, словно очнувшись, вздохнул: – Да, видно, тут уж ничего не поделаешь…

Было ясно, что слова Мацуэмона он принял за чистую монету.

– Ну что же, спасибо вам за предупреждение. Холода вот-вот начнутся, так что я, можно сказать, уберегся от верной гибели, – произнес Сэйдзо на прощание и отправился восвояси.

Не успела за ним закрыться дверь, как приятели разразились громким хохотом. В тот вечер они не стали разучивать утаи и до утра

просидели за разговорами.

А Сэйдзо, воротившись домой, призвал к себе жену и объявил:

– С этого дня можешь считать себя свободной. Немедленно отправляйся к родителям!

С этими словами он тут же написал и швырнул ей разводный лист.

Жена залилась слезами:

– Объясните, что произошло? Неужто кто-то меня оговорил? Скажите мне все как есть.

– Нечего нюни распускать! Слезами меня не проймешь! – отрезал Сэйдзо и прогнал несчастную из дома. Как ни обидно ей было, пришлось смириться, такова уж женская доля.

Узнав о случившемся, родители ее воскликнули:

– Вот уж странно так странно! Вы так ладно жили между собой, что люди ставили вас другим в пример, а тут на тебе! Видно, ты что-то набедокурила, скверная девчонка!

Они заперли дочь в дальней комнате, а сами позвали свата Ситиэмона и рассказали ему, как обстоит дело.

– Ушам своим не верю! – вскричал сват. – Если бы ваша дочь и впрямь чем-то не угодила Сэйдзо, он в первую очередь поставил бы в известность меня. Я теперь же схожу к нему и разведаю, что да как.

Едва увидев свата, Сэйдзо набросился на него с упреками:

– Не ожидал я от вас, Ситиэмон-доно[77], такого коварства. Вот уж, право, удружили так удружили, сосватали мне жену с этакой болезнью!

– С какой еще болезнью? Впервые об этом слышу. Объясните же наконец, в чем дело.

Сэйдзо пересказал свату все, о чем узнал накануне от приятелей.

– Так-то вот, Ситиэмон-доно. А холода уже не за горами. Вряд ли люди врут.

– Да мне и во сне не могло такое присниться, – пробормотал сват и, озадаченный, удалился.

Время летит быстро, холода миновали, и с наступлением первых теплых дней отвергнутая Сэйдзо жена принарядилась и вместе с матерью вышла из дома, чтобы посетить каждого из пяти его товарищей, столь жестоко ее оговоривших. В кимоно модной раскраски, подол которого изящно отгибался при каждом шаге,

молодая женщина казалась еще прелестней, чем прежде, – прохожие на нее так и заглядывались.

Каждому из друзей Сэйдзо она говорила:

– Холода прошли, а я, как видите, совершенно здорова. Даже простуда меня не берет.

Напоследок она явилась к своему бывшему мужу и, сказав ему:

– Ничего худого со мною не приключилось, можете сами убедиться! – тотчас же ушла.

Только теперь Сэйдзо понял, что дружки нарочно ввели его в обман, дабы разлучить с любимой женой. А тут еще, как назло, все его знакомые не переставали удивляться:

– Почему вы расстались со своей красавицей женой? И добрая она, и приветливая. Да такие женщины встречаются одна на тысячу!

Они жалели Сэйдзо, как будто он по неосторожности выронил кошель, набитый деньгами. А кто-то ненароком обмолвился:

– Говорят, она снова собирается замуж. Везет же тому, кто сумел заполучить такое сокровище.

До чего же горько было Сэйдзо все это выслушивать!

Между тем наступил конец года, и Сэйдзо по обыкновению засел было за амбарные книги, однако тут же их бросил, решив, что теперь эти хлопоты ни к чему, ведь встречать Новый год ему не с кем. Жизнь стала ему немила, и с утра до вечера он только и знал, что повторять: «Вот жалость-то, вот досада!»

Перед праздником он не сходил к цирюльнику, не заказал себе нового нарядного кимоно, не стал украшать горку Хорай[78], не купил лангустов, не поставил у ворот украшение из сосны и бамбука. Зачем, если рядом нет любимой жены? А потом и вовсе слег в постель.

В первый день Нового года ярко светило солнце, на небе не было ни облачка. За дверью то и дело слышались голоса желающих поздравить его с праздником, но Сэйдзо всякий раз приказывал слуге: «Скажи, что я маюсь животом и не встаю», – да поглубже зарывался в одеяло.

Спустя какое-то время с улицы донесся шум и оживленный говор – мимо его дома проходила свадебная процессия. Ребятишки задорно выкрикивали: «Окатить жениха! Окатить жениха!»[79] Им вторили взрослые.

Сэйдзо вскочил с постели и выглянул наружу.

– О, никак, это Магоскэ из нижней части города! – воскликнул он. – На ком же он женится?

– Еще в начале зимы они с невестой обменялись свадебными подарками, – отвечал слуга Тароскэ. – А женится он на вашей бывшей супруге.

Тут Сэйдзо не выдержал и с возгласом: «О, наказание!» – скрылся за дверью.

После этого ничто уже не влекло Сэйдзо к суетному миру, и в конце концов он задумал убить пятерых своих приятелей, обманом вынудивших его расстаться с женой, равной которой не найти на свете, а затем и самому свести счеты с жизнью. Отперев сундук, он достал оттуда короткий меч и, как был, с нечесаными, всклокоченными волосами, помчался к Хикодзаэмону.

В доме Хикодзаэмона новогодний пир шел полным ходом. Домочадцы, разряженные по случаю праздника, обменивались чарками сакэ. Над входом висела вервь симэ[80] – залог тысячелетнего процветания всего семейства.

– Где хозяин? – вскричал Сэйдзо, ворвавшись в дом.

– Он отправился к знакомым с новогодними поздравлениями.

– Решил от меня скрыться? Не выйдет! Я все здесь переверну вверх дном!

Сэйдзо выхватил меч из ножен и стал носиться по дому, заглядывая в каждый угол. Испуганные ребятишки выскочили на улицу, всполошились люди в соседних домах.

– Что там происходит? И это в новогодний праздник! – возмущались они, спеша запереть двери.

Поскольку Хикодзаэмона дома не оказалось, Сэйдзо побежал к Мацуэмону, потом к Токускэ, но никого не застал – все они ушли в гости с новогодними поздравлениями. Пока он метался туда-сюда, размахивая обнаженным мечом, прохожие холодели от страха.

– Слыханное ли дело устраивать в праздник такое бесчинство?! Да это настоящий разбой! Уймите головореза!

Кто-то при виде его бросался наутек, опрокидывая выставленные у ворот украшения из сосны и бамбука.

Под конец Сэйдзо нагрянул к учителю пения Буэмону. Тот оказался дома, и, хотя Сэйдзо изрядно напугал его своим видом, учитель сказал:

– Прежде всего успокойтесь. Сейчас мы все уладим.

Из уважения к учителю Сэйдзо немного утихомирился. Буэмон же тем временем вызвал квартального старосту. Тот попытался урезонить Сэйдзо, но Сэйдзо и слушать его не стал. Тогда Буэмон призвал на помощь околоточного надзирателя, а также настоятеля приходского храма и лекаря Сюнтоку, и в конце концов общими усилиями им удалось отговорить Сэйдзо от его безумной затеи.

– Ладно, – согласился Сэйдзо. – Так и быть, я не стану их убивать, но в отместку разлучу всех пятерых с женами.

На том и порешили.

Сэйдзо сразу же приступил к осуществлению задуманного. Являясь к каждому из своих бывших приятелей, он собственноручно собирал пожитки их жен и одну за другой препровождал к родителям. У некоторых был полон дом ребятишек, и они безмерно горевали, вынужденные ни с того ни с сего разлучаться с мужьями. Жене Буэмона уже минул шестьдесят один год, но даже ее Сэйдзо не пощадил.

– Мы с мужем прожили вместе сорок три года, – сетовала старушка. – Легко ли расставаться на старости лет? Вот беда-то! – Ей и в самом деле было от чего сокрушаться.

Так или иначе, никому не простительно злословить и возводить напраслину на людей!

Драконов огонь, что засиял во сне

До чего же красивая радуга! Кажется, будто по ней, словно по горбатому мосту, только что спустился на землю храм Кимиидэра. Здешние места так хороши в вечерний час, что могут сравниться лишь с живописными окрестностями озера Бива в Оми, перед ними меркнет даже величественная красота горы Хиэйдзан[81]. Осенний ветер играет растущими на побережье белыми хризантемами; глядя на них, впору подумать, что это колышутся на волнах отраженья небесных звезд. Здесь, в бухте Ваканоура, стоит тысячелетняя сосна, на которой, по преданию, ночевала звезда Ткачиха.

Рассказывают, будто каждый год в ночь на десятое число месяца фумидзуки[82] на этой сосне ярко загорается драконов огонь. Всякий раз сюда стекается народ; мужчины и высокого, и низкого звания катаются в лодках с красавицами, подобными деве из храма Тамацусима[83], пьют вино и распевают песни. Или же, перебирая струны бивы[84], любуются окрестными видами, ибо до них, как считают иные гордецы, далеко даже красотам реки Сюньян[85], коими восхищался Бо Лэтянь[86], поглаживая свою бородку.

По мере того как сгущаются сумерки и на море поднимаются волны, зрителей, собравшихся на берегу, охватывает все большее нетерпение. Они не замечают даже взошедшей на чистом небе луны.

– Вот-вот зажжется драконов огонь. Об этом чуде можно будет потом весь век рассказывать! – переговариваются между собой люди и с таким усердием всматриваются в даль, что у них начинает ломить шею, а глаза щиплет от соленого ветра.

Кто-то из местных жителей объяснил Бандзану, что, согласно старинному преданию, увидеть драконов огонь дано не каждому. Лишь тот, в ком вера крепка, кто не возводит хулу на ближнего и не гневается понапрасну, словом, тот, кого можно назвать живым Буддой, способен увидеть это дивное сияние, да и то если повезет.

Не успел Бандзан услышать это, как сквозь толпу стал бесцеремонно проталкиваться какой-то человек. Перебирая четки на длинном шнуре, он воскликнул:

– Глядите же, вот он, драконов огонь! – и, зажмурив глаза, опустил голову.

Вслед за ним многие в толпе загомонили:

– И я вижу! И мне повезло! Разве это не доказывает, что я ни разу ни на кого не возвел хулы? – Наморщив лоб, люди всматривались в огоньки на рыбачьих лодках, как видно, принимая их за драконов огонь. Таких людей на каждый десяток приходилось по семь, а то и по восемь.

И только двое или трое, смущенно почесав в затылке, говорили:

– Похоже, мы безнадежно погрязли в грехе. Уж все глаза проглядели, а толку никакого.

И это была чистая правда!

Бандзан почувствовал, что этак и ему вряд ли удастся увидеть драконов огонь, и решил провести ночь в храме перед алтарем бодхисаттвы Каннон[87]. Для начала он почитал «Сутру о Внимающем Звукам Мира»[88], а потом незаметно задремал.

И привиделось ему, будто предрассветное небо затянулось пурпурными облаками, ветер на море стих, волны озарились золотым сиянием, вскипели брызги и зазвучала чарующая музыка.

Не успел Бандзан надивиться на эти чудеса, как из воды вышло несколько десятков отроков с волосами, разделенными на две пряди и завязанными кольцами на ушах, неся на вытянутых руках огромный лазоревый светильник.

Вслед за ними появилось множество каких-то диковинных существ в драгоценных шлемах. Приглядевшись, Бандзан понял, что это моллюски в головных уборах из рыбьих хвостов и плавников. Сыграв мелодию на духовых и струнных инструментах, они повесили лазоревый светильник на сосну, а затем прямо в воде упали на колени и склонили головы в сторону храма.

Тут дверцы священного ковчега сами собой распахнулись, и явился бодхисаттва. Подняв кверху цветок лотоса, он молвил: «Хвалю вас, рыбы», – и, трижды кивнув, скрылся в ковчеге. Вслед за ним исчезли в волнах и все обитатели морского царства.

В этот миг зазвонили утренние колокола, и Бандзан проснулся. От радости, что он сподобился дивного видения, из глаз его хлынули слезы.

Как тут было не посмеяться над теми, кто накануне разыгрывал из себя великих праведников?!

Опрокинутое надгробье

Решив передохнуть, Бандзан остановился в окрестностях одной из деревень Осуми[89] и в ожидании вечерней прохлады расположился возле журчащего ручья. Глядя на него, трудно было поверить, что наступило лето. Из ближней рощи, такой густой и дремучей, что ее можно было принять за лес Тадасу в столице, доносился голос кукушки, обычный для этого времени года. Нет-нет да принимался накрапывать дождь, и, хотя страннику не пристало сетовать на непогоду, настроение у Бандзана испортилось. Добравшись до деревни, он постучался в первый попавшийся дом и попросил пустить его на ночлег, но уснуть ему удалось не скоро.

Дело было накануне праздника пятого дня пятой луны[90], и люди в этой захолустной деревушке готовились к нему с не меньшим воодушевлением, чем столичные жители. Деревенские молодцы, причесанные на старинный лад, зажигали факелы. Облаченные в катагину[91] старики молились перед домашними божницами и с таким упованием взывали к Будде Амиде[92], что было любо-дорого смотреть. Женщины заворачивали в дубовые листья лепешки из темного риса, – видно, это лакомство заменяет здешним жителям то, что в столице зовется «тимаки»[93]. Здесь Бандзану довелось впервые попробовать местный чай, который заваривают особым способом, укладывая чайный лист в прилаженные к котелку маленькие корзиночки, и подают в тяжелых чашках из Исэ. Воистину, широко разлилось милосердие государя, и нигде в нашей стране нет прибежища демонам. «Вот уж будет о чем рассказать, когда я вернусь домой», – подумал Бандзан.

Намереваясь на следующий день спозаранку снова отправиться в путь, Бандзан разложил сандалии свои и обмотки возле очага и, дожидаясь, пока они просохнут, принялся беседовать с хозяином. Вдруг откуда-то по соседству донесся пронзительный крик. «Похоже, кричит совсем юная девушка. Что с ней?» – спросил Бандзан, и хозяин рассказал ему такую историю.

Девушка эта до недавних пор находилась в услужении у матери одного знатного господина в здешней провинции. Имя ему, кажется,

было Вада Таросити. На службу она поступила лет одиннадцати, не то двенадцати и пробыла в его доме года четыре. За это время госпожа очень к ней привязалась, но тут, на беду, у девушки помутился рассудок, и хозяева были вынуждены отослать ее обратно к родителям. Глядя на свою единственную дочь, которая при жизни мается, точно в аду, родители не переставали сокрушаться и обращались за помощью к целителям и заклинателям, однако все их усилия вернуть девушке разум оставались тщетны. И тут они прослышали, что в семнадцати верстах от этой деревни живет некий священник, славящийся своей чудотворной силой. Когда его пригласили к больной, он сотворил молитву, да такую действенную, что дух, вселившийся в девушку, сразу обнаружил себя и заговорил:

– Я – дух кошки, которая служила в том же доме, что и эта девушка. Старая госпожа души во мне не чаяла. Когда она трапезничала, я садилась рядышком, скромно потупив глаза. Но хозяйка и так все понимала и всякий раз угощала меня остатками морского окуня со своей тарелки, да еще гладила по голове, приговаривая: «Тигренок, мой тигренок». Если же к столу подавали какую-нибудь свежинку, а я спала на крыше или в углу чулана, она непременно меня разыскивала и потчевала. До чего же приятно мне было видеть такую заботу!

Но вот однажды старая госпожа отправилась навестить дочь, благополучно разрешившуюся от бремени, и я осталась одна в ее покоях. Весь день и всю ночь пролежала я на ее ночном кимоно, но хозяйка все не возвращалась, и у меня стало подводить живот от голода. Делать нечего, пришлось идти на кухню, но там в раковинке аваби, в которой я всегда получала еду, оказались лишь засохшие остатки риса, и никому в доме не было до этого дела. Забравшись на полку для посуды, я стала принюхиваться, нет ли поблизости чего-нибудь съестного. Гляжу – на маленькой голубой тарелочке лежит половина летучей рыбы. Только я протянула за ней лапу, как вбежала служанка и с криком: «Брысь отсюда! Я приберегла ее себе на вечер!» – схватила висевший на крючке деревянный пестик и со всего размаху ударила им меня по носу, а ведь у нас, кошек, это самое больное место. Потом она взяла меня, бесчувственную, и вышвырнула за дверь. В тот же миг в глазах у меня потемнело, все куда-то поплыло, и дыхание мое оборвалось. Возможно ли забыть такую жестокость?

Тело мое эта девушка тайком ото всех закопала возле канавы, а хозяйке, когда она вернулась, сказала, будто я куда-то запропастилась. Узнай моя госпожа правду, она прочла бы по мне заупокойную молитву, но я умерла в полном небрежении и теперь уже никогда не смогу вырваться из мира бессловесных тварей[94]. – При этих словах дух кошки заплакал.

Выслушав этот рассказ, родители девушки поняли, что гнев духа справедлив, и спросили:

– Чем умилостивить тебя, чтобы ты покинул тело нашей дочери?

– Никаких особых желаний у меня нет, – ответствовал дух. – Поскольку все это время мне приходилось мерзнуть в стылой земле, прошу и зимой и летом ставить для меня жаровню. А если к тому же каждый месяц первого и пятнадцатого числа[95], а также в пять больших праздников[96] и под Новый год вы будете выставлять для меня приношения в виде сушеного тунца и мататаби[97], я хоть сейчас покину тело вашей дочери.

– Ну что ж, эту просьбу нетрудно исполнить. Хорошо, будь по-твоему.

Услышав эти слова, дух кошки радостно замяукал. И сразу же рассудок девушки прояснился. Жаровню же там и поныне топят исправно, дабы не прогневить кошачьего духа.

Между тем девушка снова заговорила – на сей раз грубым мужским голосом:

– Меня зовут Ёкуро, я служил в том же доме, что и эта девушка. Полюбив ее всем сердцем, я беспрестанно слал ей письма, изливая в них свои чувства. Она же не только не отвергала моих ухаживаний, но делала вид, будто я ей тоже небезразличен. Принимая ее притворство за чистую монету, я целых два года ходил, как безумный, постоянно думая о ней. Но сколько я ни ждал, встретиться с ней наедине мне не удавалось. То она говорила, что время для свидания неподходящее, то – что не может отлучиться от госпожи, но при этом никогда не отказывала напрямик. А я ведь не бог, как мне было понять, что у нее на уме? И днем и ночью жгла меня страсть, и помыслы мои неслись к ней, словно дым летучий. Если уподобить мои страдания горе, то рядом с ними сама Фудзи-сан показалась бы невысоким холмиком. И вот однажды ночью, поняв, что близок мой смертный час, я тайком пробрался к ней и стал со слезами молить ее сжалиться надо мной. Но

и на сей раз она не снизошла к моим мольбам – прочь не прогнала, однако же и остаться у себя не позволила. С тех пор пища перестала идти мне в горло, и вскоре я умер от неразделенной любви. Кто мог развеять мою тоску? Как мог я избыть свою обиду? Душа моя не находила успокоения в могиле, но и в мир иной переселиться не могла. Только страсть моя неотступно, как тень, преследовала эту девушку. Хорошо еще, что она оказалась одержимой кошачьим духом и я смог наконец высказать все, что накипело у меня на сердце. Могу ли я простить ту, которая после моей безвременной кончины ни разу не вспомнила обо мне? Я жажду отмщения и не отступлюсь от своей мучительницы до тех пор, пока не доведу ее до погибели. Знаю, это большой грех, но какая бы суровая кара мне ни грозила, в царство теней мы отправимся вместе!

Выслушав рассказ Ёкуро, все согласились, что гнев его оправдан, и прониклись к нему состраданием. Священник произнес тайные заклинания-дхарани[98], после чего обратился к духу с такими словами:

– Сейчас я совершу по тебе заупокойную службу. А девушке этой надлежит принять монашеский постриг и молиться о том, чтобы в будущем рождении вы были с ней неразлучны.

– Ваши речи, святой отец, утешили меня, – произнес дух. И в тот же миг девушка перевернулась ничком, – видно было, что наваждения отпустили ее.

Когда с исцелившейся от недуга девушкой заговорили о Ёкуро, она его вспомнила. Узнав же о том, какие посмертные муки претерпевает его душа, она решила тотчас уйти в монастырь. Отрекшись от бренного мира и очистив свое сердце, она ставила цветы на алтарь и возжигала курения в память о том, чья жизнь истаяла подобно дыму. Отныне все ее помыслы устремились к праведному пути, и, ревностно исполняя обеты, она не замечала, как роса увлажняет рукава ее монашеского одеяния. Неразумие заблудшей души обернулось благодатным прозрением. И все же грех ее был столь велик, что не скоро мог ей проститься, поэтому всякий раз, когда она приходила на могилу Ёкуро, надгробный камень чудесным образом опрокидывался. Верно сказано: «Тот, кто единожды поддался злому искушению, не искупит своего греха за пятьсот жизней; тот, кто отдал себя во власть страстей, не искупит своего греха во веки веков».

Побывав в этих краях летом, Бандзан снова наведался туда после того, как обошел всю землю Сайкайдо[99], в ту пору, когда горные вершины уже оделись снегом. Неужели и впрямь случаются на свете чудеса, подобные тем, о которых ему довелось здесь услышать? Он посетил могилу Ёкуро и, помянув молитвой душу этого незнакомого ему человека, отправился дальше своей дорогой. Могилу эту и теперь можно отыскать в густых зарослях травы возле храма Дайкакудзи. Место это так и зовется: «Опрокинутое надгробье».

О монахе, который побывал в аду и в раю

Иные монахи ради наживы готовы продать самого Будду. Хитроумие их неисчерпаемо, как море, омывающее Сикоку. Не одного простака удалось им облапошить, а все потому, что людские сердца сплошь да рядом пребывают во мраке.

В конце осени установилась безветренная погода, все лодки в бухте Томари-но Исо стояли на приколе, и Бандзану пришлось задержаться здесь на ночь. С южной стороны побережье провинции Сануки окаймляют живописные горы, а растущие возле бухты вековечные сосны с причудливо изогнутыми ветвями придают окрестному виду еще большее очарование.

Неподалеку от бухты стояла заброшенная монашеская хижина, в которой играли детишки местных рыбаков, приспособив для своих забав алтарный подсвечник, вазу для цветов, курильницу, жертвенник и прочую богослужебную утварь. Глядя на них, трудно было принять за истину, что мы живем в век расцвета буддийской веры, и не посетовать на то, сколь далеки от благочестия здешние жители. «Как можно допускать подобное небрежение?» – в сердцах подумал Бандзан и заговорил об этом со стариком, несшим вязанку дров для котла, в котором варили соль. Старик опустил поклажу на уступ в скале, погладил свои белые кустистые брови и, вскинув руки на коромысло, начал свой рассказ.

Еще недавно в этой хижине жил монах по прозванию Куракубо[100]. Накопив немало заслуг на стезе подвижничества, он умел творить всякие чудеса. К примеру, ему ничего не стоило взойти на гору Компира и слететь легче птицы с высоты более тридцати дзё[101]. Во время его проповедей на прихожан начинали вдруг сыпаться с неба гроздья цветов. Умея читать в людских сердцах, он видел каждого насквозь и мог с ходу отличить дурного человека от хорошего. Или, скажем, случится у кого пропажа – бедняга сразу бежит к Куракубо, и тот безошибочно указывает, где искать. И еще много разных чудес являл этот монах. Местные женщины, из верующих, молились на него, как на святого, и день ото дня богатство его росло. Поначалу он ютился в жалкой лачуге, державшейся на

четырех бамбуковых жердях вместо опор и крытой чем попало, а потом выстроил себе эту благолепную обитель.

И вот прошлой весной Куракубо неожиданно объявил, что в пятнадцатый день шестой луны собирается отойти в мир иной. Готовясь к собственной кончине, он приказал соорудить для себя изукрашенный помост и оповестить о грядущем событии жителей трех провинций – Ава, Иё и Тоса.

Время быстротечно, вскоре наступила середина безводного месяца[102], и из соседних провинций прибыли десятки тысяч людей. Куракубо заблаговременно распорядился построить бамбуковую изгородь длиною в четыре тё[103] и столько же вширь и приготовил все для совершения обряда. В назначенный день, утром, он облачился в подобающие случаю одежды, уселся на помосте, молитвенно сложил руки и, повернувшись в сторону запада[104], с блаженной улыбкой на лице упокоился. В завещании Куракубо велел после смерти выставить его тело на всеобщее обозрение и обождать три дня, ибо за это время душа его должна войти в нирвану, как это случилось с Шакьямуни на Орлиной горе[105]. В ожидании чуда вокруг тела Куракубо столпилось множество людей, денежных пожертвований принесли целую гору.

Спустя три дня, утром восемнадцатого числа, один из учеников покойного обратился к собравшимся с такой речью:

– Некогда Куракубо учил нас, что, пока тело умершего остается теплым, предавать его огню нельзя. Как это ни удивительно, тело учителя все еще хранит тепло.

Тогда кто-то в толпе воскликнул:

– А вдруг он еще оживет? Вот было бы славно! Второй такой священник вряд ли когда еще родится!

При этих словах покойный вдруг начал подавать признаки жизни.

– Ох, – вздохнул он и открыл глаза. – У меня такое чувство, словно я очнулся ото сна. Знайте: нынче мне довелось побывать в аду и в раю. Изо дня в день я не уставал повторять, что одним из вас уготованы мучения в восьми сферах Ледяного и Огненного ада[106], другим же суждено возродиться в благословенном краю, усыпанном золотым и серебряным песком[107]. Все зависит от вас самих. Будь моя воля, я взял бы с собой в это путешествие всех маловеров, сомневающихся в существовании загробной жизни. Одумайтесь же,

пока не поздно! В подтверждение истинности моих слов я покажу вам печать, которую оставил у меня на спине владыка ада царь Эмма[108].

С этими словами Куракубо сбросил с себя одежду, и все увидели на спине у него, в том месте, где находится седьмой сверху позвонок, знак «владыка», а под ним большую печать. Тут даже те, у кого оставались сомнения, поневоле уверовали в существование загробной жизни.

Слухи об этом чуде вскоре разнеслись по всей провинции, люди только о нем и говорили. В конце концов правитель тех земель решил проверить, правда ли это, и призвал Куракубо к себе.

– В наш век, когда буддийская вера клонится к закату, вряд ли могут совершаться подобные чудеса, – молвил он. – Надобно посмотреть, что за печать поставил на спине этого монаха царь Эмма.

Куракубо тотчас же раздели, и что же? – печать оставалась на прежнем месте, черная, словно вдавленная в кожу. Ее попробовали смыть, но ничего не получилось.

– И все же что-то тут не так, – сказал правитель. – Подвергнем-ка этого монаха пытке.

Монаха положили на спину и стали лить ему в рот воду, но он упорно молчал. Лишь под угрозой пытки раскаленным свинцом он не выдержал и взмолился:

– Пощадите меня, я во всем признаюсь. Никакого ада я не видал, все это выдумка и вздор. От рождения я был беден и пустился на обман ради денег.

– Каким же образом на спине у тебя появилась печать владыки ада? – спросили его.

– Три года назад один умелец вырезал ее у меня на коже и втер туда тушь.

– А как тебе удавалось слетать на землю с большой высоты?

– Очень просто. Чтобы освоить эту премудрость, я упражнялся целых два года, взбираясь каждый раз все выше и выше. Но я научился лишь прыгать вниз, взмывать же вверх не умею.

В общем, Куракубо рассказал обо всем без утайки и полностью признал свою вину.

За подобный проступок ему полагалось отрубить голову, однако из уважения к его монашескому сану правитель избрал для Куракубо

менее суровую кару: его связали, посадили в лодку-долбленку и пустили в открытое море. А что сталось с ним потом – неизвестно.

Чего только не бывает в нашем мире, переменчивом, как морские волны! Ныне об этом монахе никто уже и не помнит. В хижине его до сих пор стоит изваяние Будды Амиды, но после всего случившегося люди утратили веру и перестали ему поклоняться. Только по ночам луна заглядывает туда через разбитое оконце да временами пронзительно завывает ветер. А днем там играют ребятишки.

«Такие, как этот монах, лишь бесчестят буддийскую веру», – сказал напоследок старик.

Новая Тюдзё-химэ[109]

В земле Хида стоит знаменитая еще со времен древних государей гора по названию Курайяма – Величавая. Дровосеков туда не пускают, оттого и поныне на этой горе растут густые тисовые леса. Там всегда веет прохладой, и окрестные жители не знают, что такое летний зной.

Как-то раз Бандзану случилось заночевать в одном из тамошних горных селений, но уснуть он не мог из-за беспрестанного стука бёрд в ткацких станках, – недаром эта местность славится изготовлением превосходных шелковых тканей. Бандзан пошел к хозяину постоялого двора и наслушался от него всяких рассказов, среди которых оказалась и эта удивительная история.

Жил в той деревне человек по имени Окамура Дзэндаю со своей женою. Хотя обоим супругам уже перевалило за сорок лет, детей у них не было, и они очень из-за этого печалились. Долгие годы ходили они на поклонение в святилище Ацута в провинции Овари, и в конце концов боги услышали их мольбы и послали им чадо. Родилась у них девочка, да такая прелестная, что ни один младенец в селении не мог с ней сравниться. Стала она расти и в пять лет умела читать и писать, хотя никто ее этому не обучал, в семь лет начала слагать стихи, а в одиннадцать научилась ткать шелк цумуги[110]. Ткали все как будто одинаково, только другим женщинам, чтобы соткать штуку шелка, требовалось три дня, она же управлялась за полдня. И получалось на редкость красиво. Неудивительно, что семья ее вскоре разбогатела, а поскольку ко всем своим достоинствам девушка была еще и глубоко набожной, люди прозвали ее «новой Тюдзё-химэ».

Первого числа каждого месяца она совершала паломничество в храм Яцуруги, и, хотя до него несколько дней пути, всегда возвращалась домой в тот же день. Кто-то из поселян, привыкший ничего не принимать на веру, попросил ее рассказать о своих паломничествах, и девушка в подробностях описала ему провинцию Овари, а также все, что встретилось ей по дороге. Люди сведущие подтвердили: рассказанное ею – истинная правда. Что тут возразишь? Оставалось лишь удивляться ее чудесным способностям.

Но вот девушке минуло пятнадцать лет. Стала она красавицей, какую и в столице нечасто встретишь, и не было в тех краях юноши, который не мечтал бы заполучить ее в жены. Между тем родители невесты, изрядно разбогатев, не хотели отдавать дочь кому попало и никак не могли выбрать ей достойного жениха. Наконец, после долгих поисков и расспросов, прослышали они о человеке по имени Сугэгаки Ихэй, старосте соседней деревни. Он торговал лесом, и дом у него был как полная чаша. За его сына, Иноскэ, они и просватали свою дочь.

И тут произошло диво. Воспылав любовью к мужу, девушка сразу же лишилась чудесной способности в один день добираться до храма Яцуруги и возвращаться обратно, шелк она теперь ткала не быстрее, чем остальные женщины, лицо ее огрубело, а повадки стали такими же, как у любой неотесанной деревенской жительницы.

Вот какие чудеса бывают на свете!

Беда, проросшая из бамбука

В стране Ивами[111], неподалеку от места, где Хитомаро[112], печалясь о приближающейся кончине, сложил: «О, только бы успеть долюбоваться луной плывучего, изменчивого мира…» – жил человек по имени Сакобэй. Был он беден до крайности. С крыши его лачуги свисали лианы, скрывая неприглядность расползшихся драниц, и редко над его очагом подымался дымок. Одно время была у него жена, взятая из такой же захудалой семьи, как его собственная, – недаром говорят, что на всякий треснутый горшок найдется щербатая крышка. Однако вскоре выяснилось, что она дурно обращается со свекровью, и Сакобэй прогнал ее прочь. С тех пор жил он вдвоем с матушкой, заботясь о ней, как подобает почтительному сыну. Оттого, наверное, Небо смилостивилось над ним, и за семь-восемь лет он сколотил состояние в семьдесят, а то и в восемьдесят золотых рё и сделался богачом, какие нечасто встречаются в тех краях. Источником же его доходов служили москитные сетки и пропитанные соком хурмы веера[113], которые он мастерил на продажу.

Как-то раз в середине пятой луны Сакобэй отправился торговать в дальние деревни, а присмотреть за домом и матушкой попросил соседа, честного, надежного малого, предупредив его, что до завтра вряд ли вернется.

На следующее утро сосед наведался к нему в дом, но дверь была заперта. «Бабушка! Бабушка!» – позвал он, однако та не откликнулась. «Видно, крепко спит старушка», – подумал сосед и вернулся к себе. К вечеру он снова пришел туда и увидел ту же картину.

«Странно», – подумал сосед, толкнул дверь – и что же? Старая женщина лежала в своей комнате, а тело ее и всё вокруг было залито кровью. «Будда милосердный!» – в ужасе воскликнул он, и в этот миг на пороге появился Сакобэй.

– Как это понимать? – вскричал он, не веря своим глазам. – Неужто кто-то мог желать смерти моей матушки?

И тут на ум ему пришла догадка: это дело рук соседа, не иначе. Зная, что в доме есть деньги, он решил завладеть ими, ради чего и убил его матушку.

– Сотворить такое не мог кто-то чужой. Ты и есть убийца! – Недолго думая, он схватил нож и зарезал своего соседа.

О случившемся было доложено старосте деревни, началось расследование, и в дом к Сакобэю явился дознаватель. Осмотрев тело убитой, он, однако, не обнаружил на нем особых ран. А во дворе, позади дома, были густые кущи бамбука. Как всегда в эту пору, корни его разрослись и пустили побеги. Один из этих побегов оказался настолько силен, что пробил дощатый пол спальни и пронзил насквозь старухину грудь. Стало ясно, что Сакобэй убил соседа ни за что и должен понести наказание. Его отвели в темницу, и на том дело и кончилось.

Как явствует из этой истории, негоже сгоряча судить о вещах, в коих до конца не уверен. На свете много разных чудес, но, сталкиваясь с чем-то непривычным и неизведанным, всякий из нас изумляется и приходит в замешательство. Как может птица летать по воздуху? Отчего змея, не имея ног, так быстро передвигается? Каким образом из хрустального шара получается огонь? В глазах человека, ни разу не видевшего ничего подобного, все это выглядит неразрешимой загадкой. То же самое можно сказать и о смертоносном побеге бамбука, а ведь, ежели разобраться, не такое уж это и диво.

Рыба с начертанными на ней письменами

В первый день месяца каминадзуки[114] Бандзан пришел на поклонение в Великий храм Идзумо, где во времена незапамятные были воздвигнуты «покои в восемь оград»[115]. На море вздымались высокие волны, и в соснах гулко шумел ветер, наполняя душу священным трепетом. Не только жрецы и служители храма, но и все местные жители позакрывали ворота и, как велит старинный обычай, сидели в безмолвии, стараясь не проронить ни единого звука. Говорят, в этот день восемьсот мириад японских богов собираются в святилище Идзумо на совет и соединяют влюбленных брачными узами.

Покинув пределы храма, Бандзан очутился в густой кипарисовой роще и вскоре вышел к какому-то прибрежному селению. На подступах к нему стояла добротного вида уединенная хижина с низко свисающей четырехскатной соломенной крышей. В хижине той обитал монах восьмидесяти с лишним лет, сведущий в тайном учении[116] и строго соблюдающий предписанные уставом обряды. Вокруг хижины толпилось множество людей. Кто-то из них, порушив живую изгородь и выбив калитку, пробрался на обращенную к югу галерею, кто-то стоял на песчаном берегу, и все пристально наблюдали какое-то зрелище.

«Что там происходит?» – удивился Бандзан. Затесавшись в толпу, он увидел молодую женщину лет двадцати, едва успевшую зашить разрезы на рукавах[117]. Держа в руке ножницы, она приготовилась остричь свои черные и блестящие, как ягоды тута, волосы. Смотреть на нее было так же больно, как на весеннюю иву, которая, не дождавшись поры своего расцвета, теряет листву. «Отчего она решилась принять постриг и уйти от мира?» – спросил Бандзан стоявшего рядом с ним человека с длинными усами, и тот поведал ему следующую историю.

Еще недавно в здешних краях жил ронин по имени Тохэйро Маруноскэ. Никаким ремеслом он не владел, сбережения свои давно истратил, а чтобы заработать себе на пропитание, исподтишка торговал снадобьем, к коему прибегают беременные женщины, желая вытравить плод. Снадобье это оказалось на редкость действенным и

пользовалось большим спросом у прислужниц в знатных домах, вследствие чего расходилось по высокой цене. Изготовление его особых затрат не требовало, и торговец благополучно сводил концы с концами.

У этого Маруноскэ была дочь. Повзрослев, она стала несравненной красавицей, и в четырнадцать лет ее выдали замуж за достойного человека. Однако на другой день после свадьбы муж написал ей разводную бумагу и отослал назад к родителям. К счастью, той же осенью для нее снова сыскался хороший жених, и опять сыграли свадьбу. Молодым пели здравицы, желали, чтобы их союз был столь же долгим, как век сосны, украшающей «остров счастья»[118], и чтобы волны житейского моря обходили их стороной. Но, едва настало утро, муж выставил новобрачную за дверь и отправил назад в родительский дом.

За последующие несколько лет она еще пять раз выходила замуж, всё с тем же плачевным исходом. «Неужто нашей дочери так и не улыбнется удача?» – горевали родители. А весною следующего года случилось поветрие оспы, Маруноскэ с женой захворали и умерли, девушку же приютила у себя тетка.

Миновало еще два года, и к дочери Маруноскэ стал свататься молодой человек из соседнего селения. Звали его Вакаэмоном. Будучи богат и зная толк в женской красоте, он влюбился в нее с первого взгляда. По нынешним временам мало что удается сохранить в тайне, и кто-то рассказал ему, что девица эта уже несколько раз выходила замуж. «Да хоть тысячу раз! – ответствовал Вакаэмон. – Мне это безразлично». Видно, крепко запала красавица ему в душу. Мало того – гадатель, тщательно сверив их гороскопы, объявил, что жених и невеста как нельзя лучше подходят друг другу и союз их будет в высшей степени счастливым. На радостях молодые отпраздновали свадьбу.

И вот в первую же брачную ночь, стоило жене лечь на ложе, как вдруг неведомо откуда явилось несколько сотен неродившихся младенцев, укутанных в послед. Перебирая ручками и ножками, они устремились к ней и обступили ее со всех сторон. От этого зрелища, о коем сама она не подозревала, все волоски на теле Вакаэмона встали дыбом, и любовь его вмиг остыла. Не в силах находиться рядом с нею, он удалился в другую комнату и пролежал всю ночь без сна, возглашая

молитвы. С тех пор помыслы его обратились к спасению, и не было в том селении человека, который не знал бы о беспримерном его благочестии.

Должно быть, супружеская жизнь этой женщины оттого и не ладилась, что каждый раз взору молодого мужа открывалось сие отталкивающее зрелище. На следующее утро ей пришлось покинуть дом Вакаэмона и вернуться к тетке. «За что мне такая недоля? – недоумевала она. – Видно, не создана я для супружеского счастья». Не догадываясь о причине своих бед, она сетовала на горькую свою судьбину и проклинала человеческое жестокосердие. От скорбных дум она захворала и стала сама не своя. Однако случившееся не шло у нее из головы, и она отправилась в святилище Идзумо, дабы спросить у тамошнего божества, за что ей выпала такая участь. И было ей во сне откровение: «Эта кара послана тебе за грехи твоего отца. Вот почему всякий раз ты предстаешь перед мужем в таком мерзком обличье». Тут сердце ее прояснилось, и решила она отречься от мира и посвятить свою жизнь замаливанию грехов отца.

Возвращаясь из святилища, она проходила по городу Мацуэ. Вдруг видит: у реки собрался народ, и все смотрят на плещущуюся в воде диковинную рыбину, на спине у которой начертаны вписанные в круг знаки родового имени ее отца. Женщина так и ахнула: «Не иначе это дух моего покойного батюшки». Там же, на берегу, стояла божница, и она окропила ее водой из потока. После этого она совершила все подобающие поминальные обряды, а потом отправилась в хижину старого монаха, дабы принять постриг и впредь молиться о спасении всех неприкаянных душ.

Выслушав сию горестную повесть, Бандзан проникся еще большей печалью и сожалением об этой несчастной судьбе.

О том, как обезьяна искупала младенца

Сердце человеческое подобно обезьяне, которая скачет по ветвям пяти желаний[119] и не слышит разносимых ветром звуков колокола, напоминающих о тщете всего земного.

В стране Тикудзэн[120] есть прибрежное селение по названию Канэгасаки – Колокольный Мыс. Миновав его, Бандзан пошел по полю, тянущемуся вдоль горного подножия, и спустя какое-то время набрел на кладбище, над которым стелился печальный дым погребального костра. Большинство из тамошних могил были детскими. Внезапно на глаза Бандзану попалось свежее захоронение, обнесенное бамбуковой оградой, перед которым стояли сосуды с водой и осенними хризантемами, а на поминальной дощечке было начертано: «Обезьяний холм».

«Что бы это значило?» – подумал Бандзан и решил расспросить кладбищенского служителя, чья сторожка находилась рядом. И вот что он услышал.

Неподалеку отсюда, в городе Дадзайфу, жил известный богач по имени Сирасака Токудзаэмон. Была у него дочь О-Ран красоты несравненной. Когда девушке исполнилось шестнадцать лет, молва о ней разлетелась далеко окрест, и все молодые люди сгорали от любви к ней. Среди них был живший в соседнем городке юноша по имени Хамори Дзироэмон. Будучи ценителем женской красоты, он влюбился в О-Ран без памяти и вскоре стал тайно с ней встречаться. Как известно, на свете немало людей, которым до всего есть дело, но со временем даже они притерпелись, и никто их особо не осуждал. Родители же влюбленных ничего не знали и кручинились о том, что чада их, достигнув брачного возраста, все еще не нашли себе достойной пары.

И вот, улучив подходящий момент, Дзироэмон попросил знакомого своей семьи выступить в роли свата и сообщить отцу О-Ран, что он желает взять ее в законные супруги. Тот отправился в дом к Токудзаэмону.

– Вы – известный виноторговец, – начал он, пуская в ход все свое красноречие, – а жених – сын преуспевающего ростовщика. Чем не

выгодная партия? О таком женихе можно только мечтать.

Казалось бы, еще немного, и дело сладится. Однако, выслушав его, Токудзаэмон на всякий случай осведомился, какого вероисповедания придерживается жених. Узнав, что тот не является последователем учения святого Нитирэна[121], он пошел на попятную:

– Раз так, то, сколь бы богат и хорош собою ни был жених, я за него свою дочь не отдам!

Сват передал его ответ Дзироэмону, и тогда молодой человек решил сменить веру, хотя по обычаю это полагается делать невесте. Недолго думая, он отправился в храм Мёходзи и стал членом тамошней общины. После этого он вновь послал свата к Токудзаэмону, дабы объявить ему: «Нынче утром Дзироэмон-доно был посвящен в братство святого Нитирэна».

– Эка важность! – произнес в ответ Токудзаэмон. – Ежели вера не впитана с самого рождения, грош ей цена. К тому же у меня есть на примете человек, за которого я намерен сговорить свою дочь.

Услышав от свата эти слова, Дзироэмон едва не лишился дара речи.

– Как же так? – молвил он. – Выходит, все мои надежды рассыпались прахом. Но неужели О-Ран могла дать отцу свое согласие?

И он написал ей письмо, полное жалоб и увещаний, на которое О-Ран ответила:

«Я ничего не знала о намерениях отца. Представляю, как горько должно быть у Вас на сердце при мысли о том, что меня прочат за другого. Отец не желает видеть Вас своим зятем, но из этого вовсе не следует, что мы не можем быть счастливы вместе. Как только я что-либо разведаю поподробнее, сразу подам Вам весточку».

На следующий день Токудзаэмон призвал дочь к себе и объявил:

– Судьба твоя решена, готовься к свадьбе. Я выдаю тебя за Хикосаку, торговца бумагой с Главной улицы.

У бедной девушки сердце так и упало, но она не показала вида и покорно выслушала отца, после чего спешно вернулась в свою горницу и написала любимому записку:

«Только что отец объявил мне свое решение. Нынешней ночью я должна бежать из дома».

Эту записку она тайно переправила Дзироэмону. Тот наскоро собрался и в назначенный час встретил О-Ран у задних ворот ее дома. В полночь влюбленные отправились в путь и, одолев семь верст, под утро добрались до этой деревни, где жил кто-то из их дальних родственников. С его помощью они построили себе маленькую хибарку, на которую ушли все припасенные деньги.

Между тем у О-Ран была ручная обезьянка, которую она очень любила и баловала. Хватившись хозяйки, та, несмотря на ночной час, пустилась за нею следом и через какое-то время нагнала путников. Пожалев зверушку, они взяли ее с собой.

Хотя влюбленные и смогли соединиться, теперешняя их жизнь ничем не напоминала прежнюю. Ютясь в тесной лачуге, убого одетые, они занимались грубой работой – Дзироэмон крошил табачный лист, а О-Ран точила из дерева веретена на продажу, и только глубокая сердечная привязанность друг к другу помогала им преодолевать невзгоды.

Обезьянка тоже забыла о прежнем вольготном житье и, сочувствуя хозяевам, всячески старалась им услужить. Изо дня в день она ходила в горы, приносила оттуда сухие дубовые ветки и сосновую хвою, разводила очаг и согревала им воду для чая. Смотреть на ее хлопоты было и забавно, и трогательно. По вечерам она садилась возле О-Ран и растирала ее затекшие плечи. Бывало, глядя на свою исхудавшую от тяжких трудов хозяйку, она горестно вздыхала, словно тоскуя о прошлом, и из глаз ее катились слезы. В такие мгновения она была похожа на человека, который все понимает, но не может выразить словами. Ее забота и участие умиляли хозяев и скрашивали их печальную жизнь.

Так прошел год, а на следующую осень у них родился сынишка, которого назвали Кикуноскэ. Родители души в нем не чаяли и берегли как зеницу ока. Сравнивая свое нынешнее прозябание с былым благополучием, они сокрушались, что не в силах обеспечить ему достойное будущее, и от этого еще больше жалели его.

Однажды с самого утра, как это заведено у деревенских жителей, соседи устроили чаепитие и пригласили к себе Дзироэмона и О-Ран. Убаюкав сынишку, супруги отправились в гости да и засиделись за

разговорами. Обезьянка же тем временем согрела воду и, когда в ней забулькали пузырьки, наполнила кипятком лохань. После этого она раздела младенца и, как всегда делала хозяйка, окунула его в лохань, не догадавшись сперва попробовать воду. Кикуноскэ издал громкий вопль и тут же испустил дух. Услыхав крик, родители примчались домой, вынули своего малютку из купели, а тельце у него красное, как у вареного лангуста, и сплошь покрыто волдырями – во второй раз и не глянешь!

– Что же ты наделала? – заливаясь слезами, воскликнула несчастная мать. – Я бы с радостью отдала свою жизнь, лишь бы снова увидеть сыночка прежним!

– Да уж, даже лютый зверь не смог бы сотворить такое, – вторил ей отец. – Видно, не в добрый час родился наш мальчик… – Но, как ни пытался он смириться с горем, рыдания теснили ему грудь.

О-Ран схватила деревянный меч и кинулась на обезьяну:

– Убийце моего ребенка больше не жить!

Однако Дзироэмон ее остановил:

– Сколь ни праведен твой гнев, теперь уже ничего не исправить. Убив живое существо, ты только помешаешь нашему Кикуноскэ возродиться в краю вечной радости. Обезьяна сделала это не со зла, она всего лишь хотела нам услужить. Разве можно мстить неразумной твари?

Услышав эти слова, зверек молитвенно сложил руки и залился слезами. Убивать его было бы слишком жестоко.

Кикуноскэ похоронили, и обезьянка каждые семь дней приходила на его могилку, возлагала на нее цветы или втыкала вокруг принесенные с гор веточки бадьяна. Впоследствии она стала ходить туда по три раза на день и всякий раз горько плакала. А на сотый день, утром, в полном спокойствии омыла надгробие свежей водой, после чего пронзила горло острой бамбуковой палкой и лишила себя жизни.

Увидев ее бездыханное тело, супруги с горечью молвили: «После смерти нашего мальчика она была единственной нашей отрадой, а теперь мы лишились и этого утешения. Выходит, бедная зверушка так и не смогла простить себе содеянного».

Тронутые силой ее раскаяния, они похоронили обезьянку рядом с Кикуноскэ и, отрекшись от суетного мира, ступили на праведный

путь. С тех пор, затворясь в своей хижине, они беспрестанно читают и славят Лотосовую сутру и возносят молитвы по усопшим.

Так рассказал Бандзану кладбищенский служитель.

Заброшенная усадьба

Странствуя по земле Симоса[122], Бандзан оказался в местности по названию Сугаяма и набрел на чью-то заброшенную усадьбу. Протянувшаяся на четыре тё каменная ограда наполовину развалилась, двор зарос сорной травою и дикими фиалками, и повсюду валялись какие-то черепки. Печальное это было зрелище. Не такую ли картину описал Бо Лэтянь в своих стихах: «И земля превратилась в пустынное поле у края дороги, где одни лишь весенние травы растут»?

Неподалеку стояла убогая хижина. Обитавший в ней старик лет восьмидесяти без малого плел соломенные сандалии, как видно, на продажу. В ногах у него стояла глиняная жаровня, тут же дымился скрученный из ветоши фитиль, от которого он прикуривал свернутый в трубочку табачный лист. Об иных удовольствиях он, похоже, и не помышлял. Поглядишь – ни дать ни взять святой аскет.

Бандзан спросил у него, как добраться до Кадзусы[123], а заодно полюбопытствовал:

– Не знаете ли, почтенный, кому принадлежала эта заброшенная усадьба?

И старик рассказал ему следующую историю.

Некогда этой усадьбой владел Такацука Окиносин, чьи родичи из поколения в поколение управляли здешними землями. Дом его процветал, и в жены он взял дочь властителя соседней провинции.

И вот однажды под вечер супруга его занедужила и стала метаться и биться в судорогах – того и гляди преставится. Все вокруг принялись читать молитвы, а когда начали перестилать ее постель, кормилица обнаружила у нее под изголовьем листок бумаги «сугихара»[124] с каким-то рисунком и в недоумении сунула его себе за пазуху. Отойдя в сторонку, она хорошенько его рассмотрела: на листке была изображена женщина лет двадцати двух, и портрет ее был сплошь утыкан иголками. «Не иначе кто-то навел порчу на госпожу, желая ее смерти», – подумала кормилица, и все волоски на ее теле встали дыбом.

Наряд женщины был выписан с большим тщанием: он состоял из верхнего кимоно в мелкую белую крапинку с узором в виде плывущих

по воде хризантем и двух нижних одежд желтого и белого цвета, а пояс был расшит золотой нитью. И нарядом своим, и лицом, и даже родинкой у виска изображенная на портрете женщина как две капли воды походила на госпожу.

«Теперь понятно, отчего она захворала, – догадалась кормилица. – Но кто мог поднять на нее руку? Бедная госпожа! Я воспитывала ее с младенчества и знаю, какое доброе у нее сердце. За что же ей эти страдания? Надо во что бы то ни стало найти и покарать негодяя!»

И она рассказала о своей находке Окиносину.

– Какое неслыханное злодейство! – воскликнул тот. – Ну ничего, я сумею вывести супостата на чистую воду!

А госпоже тем временем стало совсем худо, и она скончалась, прожив на свете всего двадцать один год. Увы, те, кто нам дорог, нередко покидают нас во цвете лет, и мы бессильны их вернуть. В слезах и печали покойную предали погребальному костру.

По прошествии первой траурной седмицы Окиносин занялся поисками злоумышленника. Положить картинку под изголовье его супруги мог лишь тот, кто имел доступ в ее опочивальню. Следовательно, искать нужно было среди приставленной к ней прислуги. Малолетние горничные вряд ли додумались бы до такого. Все указывало на то, что виновницей преступления является либо камеристка Эн, либо девица Мон, чьей обязанностью было убирать госпоже волосы. Не поднимая лишнего шума, Окиносин призвал обеих в дальние покои.

– Совершить это злодеяние не мог кто-то посторонний, – грозно проговорил он. – Вина лежит на одной из вас. Сознавайтесь же прямо сейчас, а не то я подвергну вас пыткам и все равно добьюсь правды.

Не зная за собой никакой вины, девушки заплакали и возроптали:

– До чего же горько и обидно слышать такие речи! У нас и в мыслях не было ничего подобного. Каким бы пыткам нас ни подвергли, нам не в чем сознаваться. Госпожа всечасно одаривала нас своей заботой и милостью, и теперь, когда ее не стало, нам остается лишь сожалеть, что мы не успели отплатить ей за ее доброту. Какое злосчастье, что подозрение пало на нас и мы без всякой вины оказались виноватыми!

– Сколько бы вы ни отпирались, – вскричал Окиносин, – я этого так не оставлю! Не хотите признаваться по-хорошему, заговорите под

пыткой!

С этими словами он кликнул самураев из своей обслуги и велел им приступать. Те раздели девушек, привязали к платану на заднем дворе и оставили стоять в одном исподнем на холодном ветру, три дня не давая им даже испить воды.

Не добившись от них признания, Окиносин измыслил еще более жестокую пытку и приказал пронзать их тела иголками, начиная с внутренней стороны бедер. Таких тяжких мучений, должно быть, не испытывают даже грешники на адской горе, поросшей острыми мечами. Плача и рыдая, несчастные молились о том, чтобы поскорее умереть.

– Всякой жизни рано или поздно приходит конец, и смерть нам не страшна, – причитали они. – Куда горше другое: глядя на то, каким истязаниям нас подвергают, люди поверят, что мы и впрямь повинны в страшном злодеянии…

«Видно, и этих мук им мало, – подумал Окиносин. – Ну погодите, вы еще узнаете меня!» И он велел своим подручным бросить их в ров, привязав к ногам камни.

Происходило это в двадцать второй день двенадцатой луны, а зима в тот год выдалась на редкость лютая, и, хотя снега не было, от стужи лопались стволы бамбука, день и ночь оглашая треском округу. Даже водопад в горах замерз, и оттуда не доносилось привычного шума. Стоя по горло в ледяной воде, девушки, покуда хватало сил, шептали слова молитвы, а на пятый день, к вечеру, превозмогая себя, обратились к своему мучителю:

– Учинив казнь над невинными, вы преступили все человеческие законы, и это вам не простится. Когда-нибудь расплата настигнет вас. Берегитесь же!.. – На этом дыхание их оборвалось, и жизнь их истаяла, точно пена на воде.

У девушек этих были братья, но сводить счеты со своим господином они не отважились, и гибель несчастных сошла ему с рук.

Спустя какое-то время Окиносин разогнал за ненадобностью всю челядь, прислуживавшую его покойной супруге. Среди получивших расчет оказалась швея по имени Юта. Когда с госпожой случилась беда, ее рядом с нею не было – незадолго до этого она сама захворала и находилась в родительском доме. И вот, узнав про расчет, Юта явилась за вещами.

– Что-то я не вижу своих иголок, – сказала она кормилице. – Не могли бы вы их поискать?

– Да где их теперь найдешь-то? – молвила та. – Подумаешь, какая ценность!

– Не скажите, – возразила швея. – Я покупала их за сто пятьдесят верст отсюда, в известной столичной лавке. Эти иглы особой заточки, и я очень ими дорожу. Они для меня все равно что меч для воина.

– Вот оно что! Ну, тогда дело другое. А куда они были воткнуты?

– Известно куда, это все видели: еще до своей болезни госпожа подарила мне картинку, по которой я шила ей наряд. В эту картинку я и воткнула свои иголки, все семь штук.

Кормилица так и ахнула: не иначе речь шла о той самой злополучной картинке. Принеся и показав ее швее, она спросила:

– Это она?

– Она самая! – обрадовалась швея и, забрав свое добро, удалилась.

Только теперь кормилица поняла, что своим наветом погубила невинные души, и горько сожалела об этом, но позднее раскаяние ни к чему не ведет. Сколько ни тужи, сделанного не воротишь! И вскоре настигла ее внезапная смерть. А на следующий год умер и Окиносин, огласив свои покои безумным воплем: «О ужас! Меня пронзают ледяным мечом!»

С тех пор усадьба его стала хиреть, богатства истаяли, как весенний снежок, и двор зарос сорной травою. А все потому, что вздорная женщина, не видя дальше своего носа, со страху вообразила невесть что или, как говорят в таких случаях, «приняла иголку за железную палицу».

Усадьба эта и поныне остается заброшенной. Если верить слухам, в дождливые и пасмурные ночи, когда сквозь тучи тускло мерцает луна, там бродят призраки.

«Да избавятся души сии от страданий и обретут спасение!» – подумал Бандзан.

Чтобы укрепиться в этой мысли, он прочитал главу о Девадатте из Лотосовой сутры[125] и пошел дальше своей дорогой.

Из сборника «Записки о хранителях самурайской славы»

Мелодия печали, или Женщины, играющие на сякухати [126]

Однажды в город Хиросиму провинции Аки приехал из столицы известный мастер игры в ножной мяч Карэки Такуми. Он обучал этой игре всех, кому была охота учиться, и вскоре среди тамошних самураев не осталось ни одного, кто не пристрастился бы к ней. В тихие безветренные вечера повсюду только и слышалось, что хлопанье мяча о чьи-то ноги. Недаром говорят, что обитатели тех мест чрезвычайно падки до всяких новомодных развлечений и отдаются им всей душой.

Жил в то время в Хиросиме самурай по имени Фукусима Ансэй, состоявший в родстве с властителем провинции. Отойдя от службы, он вел привольную жизнь и увлекался игрою в мяч. Как-то раз в Праздник встречи двух звезд[127] он пригласил к себе друзей и устроил состязание. В числе приглашенных был младший брат его приятеля Торикавы Хаэмона по имени Мураноскэ. Хотя молодому человеку минуло восемнадцать лет и он носил взрослую прическу, выбривая волосы углом на висках, лицо его все еще хранило следы юношеского очарования.

День уже клонился к вечеру и игра подходила к концу, когда кто-то не рассчитал силу удара и подбросил мяч слишком высоко, вследствие чего он перелетел через ограду и упал в соседний сад. Мураноскэ подбежал к ограде и увидел, что мяч застрял в ветках кустарника хаги. А еще он увидел возле мостика, перекинутого через озерцо с чистой водой, девушку, которая, по всему судя, была дочерью владельца соседней усадьбы. Из-под откинутой полы ее узорчатого фурисодэ, расписанного разноцветными веерами и опоясанного лиловым плетеным кушаком, выглядывало белое нижнее кимоно из тисненого шелка на алом исподе. Небрежно уложенные волосы были перехвачены золоченым шнурком мотоюи[128]. В руке вместе с веером, украшенным кистями, она держала листья тутового дерева.

«Должно быть, на этих листьях написаны стихи, которые она собирается принести в дар Ткачихе», – подумал Мураноскэ. И верно,

девушка опустила листья на воду и повернулась, чтобы уйти. В этот миг она была прекрасна, как фея, сошедшая с небес.

При одном взгляде на нее сердце юноши пришло в смятение, и он, забыв всякую осторожность, заговорил с нею:

– Извините за дерзкую просьбу, но не могли бы вы подать мне мяч?

Не побоявшись замочить росой рукава своего платья, девушка раздвинула густую траву, достала мяч и поднесла к тому месту у изгороди, откуда доносился его голос. Принимая мяч, Мураноскэ задержал руку девушки в своей. Молодые люди встретились глазами, и этот взгляд заронил им в сердца любовь.

Тем временем в саду появились приставленные к девушке служанки, и Мураноскэ поневоле пришлось удалиться. Переодевшись после игры, он провел еще какое-то время в доме Фукусимы, а потом снова подкрался к изгороди. Девушка, которой до сих пор нечасто приходилось видеть мужчин, впервые почувствовала любовное томление и тоже вышла в сад. Теперь они могли обменяться несколькими словами, не опасаясь быть услышанными.

– Вероятно, мне уже нет нужды писать вам о своих чувствах, – сказал юноша. – Я хочу проникнуть в ваши покои и остаться с вами наедине.

– Я буду ждать вас, – отвечала девушка.

В ту же ночь под покровом темноты Мураноскэ проскользнул к усадьбе с тыльной стороны, перелез через высокую стену ограды и проник в сад. Девушка сдержала обещание и, раздобыв ключ от калитки, провела его в свою спальню. Здесь влюбленные поклялись друг другу в вечной верности и, надкусив мизинцы, смешали свою кровь и начертали ею на исподнем друг у друга слова супружеской клятвы. С тех пор они уже не тратили время на любовные признания и каждый раз, оставаясь наедине, горевали лишь о том, как быстро пролетают ночные часы. С каждым днем их все сильнее влекло друг к другу – таковы законы любви. Сколько раз они встречались – о том было известно лишь бархатному изголовью в комнате девушки, и вот однажды при виде распустившихся цветов сливы ей захотелось отведать кислых зеленых плодов, да и живот у нее начал понемногу округляться – стало ясно, что она понесла.

Между тем отец девушки, известный военачальник по имени Фудзисава Дзиндаю, отслужил положенный срок при дворе сёгуна в Эдо[129] и по пути домой заехал в городок Хамамацу провинции Тотоми, чтобы навестить своего брата Дзиндзаэмона. Второму сыну брата – Дзимпэю в ту пору как раз исполнилось девятнадцать лет, сложения он был богатырского и отличался недюжинной силой. Хотя юноша доводился ему племянником, Дзиндаю решил сделать его приемным сыном и выдать за него свою дочь Кого, после чего сам он мог со спокойным сердцем удалиться на покой. Домой в Хиросиму он вернулся вместе с Дзимпэем и рассказал жене о своем решении, каковое ее несказанно обрадовало. Заручившись согласием своего господина, Дзиндаю взял племянника в дом приемным сыном и, не тратя времени даром, занялся свадебными приготовлениями. Узнав об этом, Кого не выказала радости и обратилась к матери с такими словами:

– Я знаю, идти против родительской воли недостойно дочери, верной своему долгу. Однако наш мир – лишь временное прибежище человека, а жизнь коротка, как мимолетный сон. Благостен лишь путь, указанный Буддой, и я желаю следовать этому пути, взыскуя загробного блаженства. Того ради я решила остаться свободной от супружеских уз, облачиться в черную рясу и уединиться в каком-нибудь монастыре. Что же до господина Дзимпэя, то вам придется найти ему другую невесту.

В ошеломлении мать стала отговаривать ее от этих мыслей, но девушка была непреклонна. Не зная, как еще к ней подступиться, пожилая женщина решила до поры до времени хранить дело в тайне, однако Дзимпэй каким-то образом проведал об этом разговоре и затаил в душе обиду и горечь.

И вот однажды среди ночи Дзимпэй увидел крадущегося к дому Мураноскэ. Призвав на помощь своего слугу, он устроил под деревом засаду, и, когда на рассвете Мураноскэ покидал покои возлюбленной, они вдвоем напали на него и зарубили мечом.

Узнав о случившемся, Кого схватила копье и приготовилась отомстить убийце, но кормилица ее удержала.

– У вас еще будет случай ему отомстить, – сказала она своей госпоже, – а теперь вы должны бежать из дома. – С этими словами

кормилица взяла Кого за руку и, воспользовавшись суматохой, вывела ее через задние ворота.

Как только дело о тайной связи его дочери с Мураноскэ получило огласку, Дзиндаю счел себя опозоренным и, не смея показаться людям на глаза, затворился в своем доме. А Дзимпэй скрылся в неизвестном направлении. Что же до Кого, то она вместе с кормилицей благополучно выбралась из Хиросимы и направила стопы к селению Акаси провинции Харима, где жили знакомые ее семьи. Там она поселилась в бедной крестьянской хижине, выучилась ткать шелк тидзими[130] и тем добывала себе скудное пропитание.

Шло время, наступил срок родин. К ней вызвали повитуху, и, пока грелась вода для первого купания младенца, Кого положила рядом с собой короткий меч и вознесла богам такую молитву:

– О боги, смилуйтесь надо мной и пошлите мне сына, чтобы было кому отомстить убийце Мураноскэ – Дзимпэю. Если же мне суждено произвести на свет девочку, я сразу вспорю себе живот и положу конец своей жизни.

Видно, молитва ее была услышана, потому что в тот же миг с громким криком появился на свет мальчик. Кого дала сыну имя Мурамару, берегла его пуще зеницы ока и с нетерпением ждала, когда он подрастет. Но вот малышу сравнялось три года, и над ним совершили обряд камиоки[131], а в пять лет впервые надели на него хакама[132]. Незаметно Мурамару исполнилось девять лет, и он стал обучаться грамоте в храме Сумадэра. Но и это время вскоре миновало, и, встретив свою тринадцатую весну, мальчик расцвел, точно цветок на молодом деревце сакуры, – все вокруг, и монахи и миряне, невольно заглядывались на него.

Кого решила, что пришла пора рассказать сыну об отце и подготовить его к кровной мести.

– Я сейчас же отправлюсь в Хамамацу, на родину Дзимпэя, и принесу вам в подарок его голову! – воскликнул Мурамару, выслушав ее, и стал собираться в дорогу.

Но мать и кормилица сказали ему:

– Погоди, мы давно уже ждали этого дня и отправимся вместе с тобой. Недаром же мы выучились игре на сякухати, хотя это не женское дело.[133]

Сказав так, они завернули в кусок промасленной ткани кольчугу и короткий меч, остригли волосы, надели на голову глубокие плетеные шляпы, так что с виду их стало не отличить от мужчин, и вместе с Мурамару тайно покинули свое прибежище в Акаси.

Сколько раз, прислушиваясь к шуму волн или завыванию ветра в соснах, Кого, подобно журавлихе среди ночи, тревожилась о судьбе сына! А когда они втроем играли на сякухати мелодию «Журавлиное гнездо», в протяжных звуках флейты слышалась печаль, но сердца их были исполнены отваги.

Оставив позади гору Тэккай, они прошли селение Икута, миновали реку Нунобики, Ёдо, одолели перевал на горе Аусака у тракта Токайдо, переправились через мост над рекой Сэта. Едва держась на ногах от усталости, путники зашли помолиться в храм Исиямадэра[134]. Как раз в это время паломники из Нагасаки осматривали покои, в которых, по преданию, Мурасаки Сикибу начала писать «Повесть о Гэндзи». Кого с сыном и кормилицей присоединились к ним. «Какие замечательные женщины жили в старину!» – восхитилась Кого и, умиротворенная, вышла из храма.

Внезапно внимание ее привлек самурай лет сорока с виду, одетый в легкое дорожное платье. Он стоял у ворот храма со своим слугой и, вынув дорожную тушечницу, записывал со слов поселян, какими достопримечательностями славится эта местность. Бросив быстрый взгляд на Мурамару, самурай шепнул слуге:

– Смотри-ка, и лицом, и статью этот юноша – вылитый Мураноскэ. Даже прическа у него такая же.

– Уж не призрак ли это? – откликнулся слуга.

Услышав дорогое имя, Кого остановилась и пристально оглядела незнакомца, но заговорить с ним не отважилась. Вместо этого она сказала кормилице:

– Сколь ни знамениты здешние красоты, мне все же милее виды Ицукусимы![135]

Самурай подошел к ней и спросил:

– Должно быть, вы прибыли сюда из Хиросимы?

Кого все еще не решалась ему открыться.

– Нет, мы из Харимы, – произнесла она, однако выговор выдавал в ней уроженку Аки.

– Простите, – продолжал между тем самурай, – не доводится ли этот юноша родственником господину Торикаве Хаэмону?

Кого не могла вымолвить ни слова, слезы стояли у нее в горле. Не дожидаясь, пока она заговорит, самурай со скорбным видом объяснил:

– Мое имя – Отани Каннай. Мы с Мураноскэ были назваными братьями. Узнав о его безвременной гибели, я отправился в провинцию Тотоми, чтобы отомстить убийце и отслужить по Мураноскэ заупокойную службу. К сожалению, все мои усилия отыскать негодяя оказались тщетными. Однако недавно мне удалось узнать, что он скрывается в одном из горных селений Ёсино. Я как раз держу туда путь.

При этих словах Кого припала к Каннаю с возгласом:

– Юноша, о котором вы спрашивали, сын Мураноскэ – Мурамару! – и рассказала ему обо всем, что так долго лежало у нее на сердце.

Слушать ее было невозможно без слез, но, сколько ни плачь, дело есть дело.

– Время не ждет, пора в путь! – сказал Каннай. – Сперва надо отомстить мерзавцу Дзимпэю, а погоревать мы успеем и потом.

Добравшись до Ёсино, они выведали, где скрывается Дзимпэй, и Мурамару с помощью Канная сумел отомстить убийце своего отца, после чего все четверо благополучно покинули те края.

События эти случились уже давно, но рассказы о них и поныне ходят среди людей.

Безрассудный гнев, или Человек, который женился, не взглянув на лицо невесты

В городе Кумамото провинции Хиго жила известная врачея по прозвищу «Вдова Гэнсюна». Покойный муж ее – Гэнсюн – не знал себе равных в искусстве иглоукалывания, а поскольку не было у него сына-наследника, перед смертью он передал тайну своего умения жене. Вдова не стала искать себе нового мужа, остригла волосы и, взяв имя Мёсюн, занялась лечением больных. Будучи женщиной, она весьма преуспела на этом поприще – ее охотно приглашали к женам знатных особ, и со временем Мёсюн стала запросто появляться в особняках на улице Яката[136].

Как-то раз случилось занемочь девице О-Танэ, младшей сестре самурая Дзэнрэндзи Гэки. Хотя ей уже минуло восемнадцать лет, охотников жениться на ней всё не находилось, и она только и знала что сидеть затворницей в своих покоях да предаваться унынию. И вот стало у нее щемить в груди. Тотчас послали за Мёсюн, та поставила ей иглы, и вскоре больной полегчало. С тех пор врачея ежедневно ее навещала, и О-Танэ неизменно выказывала ей особое расположение, а вдобавок к каждому сезону дарила что-нибудь из своей одежды, так что ее заботами Мёсюн не ведала ни голода, ни холода.

Между тем в том же замке, что и Гэки, служил адъютантом самурай по имени Фусаки Гумпэй. Был он хорош собою и отменно владел воинскими искусствами, но при этом в свои двадцать шесть лет оставался холостяком и все еще присматривал себе достойную невесту, – такую, чтобы и лицом была пригожа, и ловка, и сметлива.

Однажды, беседуя с Мёсюн в своей гостиной, Гумпэй спросил:

– Нет ли у кого-нибудь из ваших знакомых дочери на выданье?

Та сразу подумала о сестре Гэки и давай ее расхваливать, – дескать, второй такой красавицы днем с огнем не найти. Еще не видя девушки, Гумпэй влюбился в нее без памяти.

– Если бы вы могли замолвить за меня словечко перед ее родней, – воскликнул он, – я не раздумывая женился бы на ней!

– Не извольте беспокоиться, я все устрою, – пообещала Мёсюн и отправилась прямиком к Гэки-доно. С ловкостью настоящей свахи она

сумела уговорить не только самого Гэки, но и его супругу, так что предложение Гумпэя было принято.

Вскоре состоялась помолвка, семьи жениха и невесты обменялись подарками, и в обоих домах стали готовиться к свадьбе, которую назначили на одиннадцатый день одиннадцатой луны, ибо этот день считался в том году счастливым.

Мёсюн, нарядно разодетая, уселась в паланкин и прибыла в дом Гумпэя во главе свадебной процессии. Гостей собралось великое множество. Подобные торжества устраивают только раз в жизни, и при виде кувшинчиков с сакэ, приготовленных для новобрачных, сердце наполнялось радостью. Больше всех ликовал Гумпэй, однако, как только он взглянул на невесту, от его счастливого настроения не осталось и следа: девица, предназначенная ему в жены, выглядела вовсе не так, как он себе представлял. Разве только сложением она не отличалась от остальных женщин, лицом же была уродлива сверх меры: скулы широченные, лоб чересчур высокий, волосы редкие, губы претолстые, а нос плоский, как лепешка. Любая из ее служанок рядом с нею казалась красавицей.

В негодовании Гумпэй отозвал Мёсюн в сторону.

– Самый последний вор – и тот честнее вас! Будь на вашем месте мужчина, он не ушел бы отсюда живым, но вас я пощажу. Однако за это вы должны сей же час отправить невесту домой вместе с ее приданым! – Так в слепой ярости кричал Гумпэй, не задумываясь о том, к чему это может привести.

В ответ Мёсюн открыла сундук с приданым и, достав оттуда две сотни золотых кобанов, произнесла:

– Вот, взгляните. Перед свадьбой об этих деньгах разговору не было, но семья невесты не поскупилась и отправила их вам в подарок. По нынешним временам чем богаче невеста, тем она и желанней. А красота – дело десятое. Какая от нее польза? Поверьте мне, я ведь о вашем благе радею.

Придя в еще больший гнев оттого, что лекарка вздумала его поучать, Гумпэй схватил веревку, связал Мёсюн и, втолкнув ее в паланкин, велел везти вместе со всем невестиным приданым к воротам усадьбы Гэки. Что же до О-Танэ, то она с горя покончила с собой прямо в доме Гумпэя.

Вскипев злой обидой, Гэки вскочил на коня и помчался к Гумпэю. Люди Гумпэя уже поджидали его, даже ворота открыли и, как только Гэки спешился, бросились на него с копьями и пиками. Гэки стал защищаться, но, когда, зарубив насмерть двоих противников и ранив еще четверых или пятерых, он ринулся в дом, ронин Исикура Дзёмон вонзил ему в спину копье, и Гэки испустил дух.

В соседних усадьбах поднялся переполох, Гумпэй же поспешил скрыться, но, прежде чем покинуть город, он убил Мёсюн. Вся его семья и дворня разбежалась, и усадьба осталась пустовать.

У Гэки был младший брат по имени Хатикуро. Незадолго до этих событий он вместе с другом и небольшой свитой отправился в паломничество к храмам Кумано[137]. В горах Кумано выпал обильный снег, высокие деревья утопали в нем по самые верхушки, словно молодая поросль. Скрылись под снегом метелочки мисканта, указывающие путникам дорогу в горах[138], и было непонятно, куда идти. Чем выше поднимались паломники по горной круче, тем реже слышались птичьи голоса да все сильнее задувал ветер. Чтобы утолить жажду, приходилось раздалбливать лед, а тут еще, как на беду, друг Хатикуро – Вада Римпати повредил ногу и совсем приуныл.

– О, я вижу, ты не такой храбрец, каким казался, – усмехнулся Хатикуро. – Если уже при первом подъеме ты так раскис, что же будет при следующем? Но раз ты навязался мне в спутники, ничего не поделаешь. До той вершины ты уж как-нибудь дойди сам, держась за плечо слуги, а потом я тебя понесу.

Хатикуро говорил намеренно резко, стремясь ободрить друга, однако тот принял его слова всерьез и обиделся.

– Нога и впрямь меня подвела, зато рука не подведет! Берегись же! – С этими словами Римпати выхватил из ножен меч и бросился на Хатикуро. Тот слова не успел вымолвить, как начался поединок, да такой жаркий, что от скрещенных мечей искры во все стороны полетели.

В этот миг откуда не возьмись перед ними появился Гэки, но в каком-то странном обличье.

– Знаю, – произнес он, – вы повздорили между собой сгоряча. Я – дух убитого Гэки, меня сгубил негодяй по имени Фусаки Гумпэй. Кроме Хатикуро, за меня некому отомстить, и я предстал перед вами, чтобы остановить ваш поединок и не дать брату погибнуть. Если ваша

досада друг на друга не иссякнет, вы сможете поквитаться потом, когда месть Гумпэю будет совершена. Сделайте же, как я прошу. – При этих словах дух Гэки исчез.

Потрясенные увиденным и услышанным, противники застыли на месте и долго не могли прийти в себя. Хатикуро залился слезами, скорбя о брате, с которым так жестоко обошлась судьба. Римпати попытался его утешить:

– Что поделаешь, брата твоего уже не вернуть. Ты должен во что бы то ни стало разыскать Гумпэя, хоть с неба его достать, хоть из-под земли. А я буду тебе помощником.

Друзья вернулись в город и узнали, что все было именно так, как поведал им дух покойного Гэки. После этого они покинули Кумамото и отправились на поиски Гумпэя.

Больше двух лет скитались они по стране и наконец прослышали, что Гумпэй нашел прибежище у своего родственника, главного жреца святилища Тогакуси в провинции Синано. Пылая желанием мстить, как пылает гора Асама[139], они устремились в те края и принялись тайком разузнавать о Гумпэе. Как выяснилось, тот взял себе имя Додэн, облачился в черную рясу и затворился в монашеской хижине, хотя ни единого изображения Будды подле себя не держал. Понятное дело, Гумпэй поселился в горной глуши не ради спасения души, а просто потому, что был трусом и боялся расплаты за совершенное злодеяние.

Хатикуро и Римпати разыскали его хижину и, взломав бамбуковую дверь, ворвались внутрь.

– Гумпэй! Наступил твой смертный час. Защищайся! – крикнули они и назвали себя по имени.

Тот не проявил свойственной ему прежде удали и с покорным видом произнес:

– Вы же видите, я удалился от мира и провожу дни в молитвах об упокоении души Гэки-доно. Пощадите меня.

Хатикуро обвел глазами хижину и сказал:

– Не иначе ты надеешься нас обмануть. Зачем отшельнику держать у изголовья копье? Ты лишь по виду монах, а нрав у тебя все тот же! Не жди от меня пощады! Вставай!

Понял Гумпэй, что Хатикуро от него не отступится, и рванулся за копьем, но в тот же миг Хатикуро отсек ему правую руку. Зажав

отсеченную руку в левой ладони, Гумпэй кинулся к Римпати, ловким ударом выбил у него меч и зарубил насмерть. Тут Хатикуро наскочил на врага и нанес ему последнюю, смертельную рану.

Сколько ни горевал Хатикуро, приникнув к мертвому телу Римпати, вернуть его к жизни было невозможно. Потеряв двух близких людей – брата и друга, он принял постриг, поселился близ храма в горах Накаяма, что в провинции Сэтцу, и до конца дней молился об упокоении душ Гэки и Римпати.

Так честь его рода была спасена, однако ныне об этом напоминает лишь памятник на его могиле.

Встреча с русалкой, стоившая жизни самураю

В море, омывающем провинцию Муцу, не раз вылавливали диковинных рыб. Во времена императора Го-Фукакусы[140], двадцатого дня третьего месяца первого года эры Ходзи[141], на побережье Цугару видели люди русалку. Сказывают, будто на голове у нее был алый гребень, как у петуха, лицом же она походила на прекрасную девушку. Плавники ее отливали лазурью, и чешуя сверкала, точно золото. Тело источало сладостный аромат, а голос, тихий и нежный, был подобен флейте-жаворонку[142].

Жил в тех краях человек по имени Тюдо Киннай, смотритель прибрежных поселений княжества Мацумаэ[143]. Как-то раз объезжал он подведомственные ему деревни. Солнце было уже на закате, когда Киннай вместе со своей свитой сел в лодку в бухте Сакэкава. Не успела лодка отплыть от берега на восемь тё, как поднялись белопенные волны, во все стороны полетели разноцветные брызги и из моря вынырнула русалка. Лодочник не на шутку перепугался, а все остальные и подавно едва не лишились чувств от страха. Один лишь Киннай не растерялся, живо достал свой короткий лук и выстрелил в русалку. Стрела его попала в цель, и русалка скрылась под водой. В тот же миг волны на море улеглись, и лодка благополучно достигла берега. Возвратясь домой, Киннай стал держать отчет о своей поездке перед советом старейшин и в числе прочего упомянул о русалке, которую ему удалось подстрелить в бухте Сакэкава.

Услышав об этом, старейшины воскликнули:

– Ну и ну, не каждому выпадает такая удача. Завтра же, улучив удобный момент, мы доложим об этом его светлости.

Тем бы дело и кончилось, если бы не самурай по имени Аосаки Хякуэмон, отвечавший за охрану замка. Был он человеком чванливым и упрямым, а потому в свои сорок с лишним лет так и не обзавелся женою и вечно ходил с надутым видом. Однако по праву принадлежности к семье наследственных вассалов сёгуна и в память о заслугах его отца, Хякунодзё, он пользовался почетом, получал высокое жалованье, и окружающим поневоле приходилось сносить его выходки.

Услышав рассказ Кинная о русалке, Хякуэмон поморщился, давая всем понять, что не верит ни единому его слову.

– Я бы не стал докладывать его светлости о том, чего не видел собственными глазами, – нарочито громко проговорил он, обращаясь к сидевшему в дальнем конце зала слепому рассказчику[144]. – Всем известно, что у птицы есть крылья, а у рыбы – плавники. Эти твари весьма проворны, когда дело идет об их жизни, и так просто в руки не даются. У меня в саду вырыт маленький пруд шириною в четыре-пять кэнов[145], не больше, я держу в нем золотых рыбок. На днях я принялся для потехи стрелять в них из игрушечного лука, выпустил более двухсот стрел – и что же? Ни одна не попала в цель. Как видите, даже эту живность убить совсем не просто. На свете не существует ни оборотней, ни чудес. Все это выдумка. Не удивляемся же мы тому, что у обезьяны красная морда, а у собаки четыре лапы.

В ответ на эти разглагольствования глава службы тайного надзора Нода Мусаси возразил:

– Вы рассуждаете так потому, что подходите ко всему необъятному миру с мерками своего поместья. Между тем в горах и морях за десятки тысяч ри отсюда наверняка водится немало диковинных существ. А сколько всяких чудес случалось в старину! Известно, например, что во времена семнадцатого императора Нинтоку[146] в земле Хида на свет появился младенец с двумя лицами. При императоре Тэмму[147] в одном из горных селений Тамбы родился бык с двенадцатью рогами[148]. А во времена императора Момму[149] пятнадцатого дня шестого месяца четвертого года эры Кэйун[150] в нашу страну из-за моря прибыл демон ростом в восемь дзё, толщиною в дзё и два сяку[151], с тремя лицами. Если подобное случалось в старину, почему в наше время нельзя встретить русалку?

Хякуэмон побледнел, однако заметил в свойственной ему манере:

– И все же было бы славно, если бы Киннай-доно, раз уж он сподобился подстрелить русалку, привез ее с собой в качестве трофея.

Щадя самолюбие Кинная, кто-то из присутствующих поспешил перевести разговор на другое, но вскоре заступила на дежурство ночная стража, и все разошлись по домам.

Люди на свете разные. Вот и после этого разговора одни осуждали Хякуэмона, другие же смеялись над Киннаем: ну и горазд, мол, на

выдумки! Не в силах снести обиду, Киннай задумал было убить Хякуэмона, но сразу оставил эту мысль. «Нет, – сказал он себе, – тогда все вокруг станут еще пуще надо мной глумиться, и я сойду в могилу, заслужив себе славу краснобая». Долго маялся Киннай, влача безрадостные дни, и наконец решился: «Коли не изменило мне еще самурайское счастье, я отыщу русалку, чтобы все убедились в правдивости моих слов, и пусть негодяй Хякуэмон не ждет от меня пощады».

В тот же день Киннай втихомолку покинул свою усадьбу и отправился к бухте Сакэкава. Там он нанял рыбаков, щедро оделил их деньгами и велел поскорее забросить в море большие сети, но выловить русалку им не удалось.

Опечалился Киннай, стал молить богов, повелевающих водной стихией, чтобы они сжалились над ним, но молитвы его не были услышаны. С утра до вечера бродил Киннай по побережью, разгребая водоросли и вздрагивая каждый раз при виде прибитого к берегу дерева. Мысль о тщетности поисков повергала его в отчаяние, и вот однажды, почувствовав тяжесть в груди, он взобрался на высокую скалу и, глядя на солнце, спешившее скрыться на западе, там, где простерлась Чистая Земля[152], скончался. Увы! – жизнь его истаяла, точно пена на воде.

Рыбаки сообщили властям Мацумаэ о смерти Кинная, но оплакать его было некому, за исключением единственной шестнадцатилетней дочери. Матушка ее занедужила и умерла год назад в пору осенних дождей. Теперь, потеряв еще и отца, девушка осталась одна-одинешенька на всем белом свете. «Взгляну в последний раз на милого батюшку и отправлюсь с ним вместе в мир иной», – решила она и выбежала из дома.

Между тем в доме Кинная жила молодая женщина по имени Мари, прислуживавшая ему в спальных покоях. Не забыв милостей своего господина, Мари не раздумывая бросилась вслед за девушкой. Как ни торопились они, ночуя где придется: то в поле, то на морском берегу, – добраться до бухты, где Киннай встретил свой последний час, им удалось лишь к концу третьего дня пути. Приникнув к телу отца, девушка залилась слезами. Горе ее было безмерно, она воздевала руки к небу, припадала к земле, билась, точно в судорогах, не страшась насмешливых людских взглядов. Наконец, наплакавшись вволю,

женщины подняли мертвого Кинная на руки и приготовились вместе с ним броситься со скалы в море, но их остановил Нода Мусаси, прибывший сюда по приказу его светлости.

– Что вы делаете?! – крикнул он женщинам. – Разве вы не знаете, что Кинная погубил его недруг?

– Отец умер своей смертью, – возразила ему девушка.

Тогда Нода рассказал им, что Киннай умер, не стерпев оскорбления, нанесенного ему Хякуэмоном. Узнав об этом, девушка со слезами молвила:

– Этот Хякуэмон давно уже добивался моей руки, но отец всякий раз ему отказывал, вот он и затаил на него злобу. Какая низость! Я должна отомстить Хякуэмону за смерть отца!

Женщины пустились в обратный путь, но теперь уже не одни, а в сопровождении Ноды Мусаси. Чтобы они смогли осуществить задуманное, Нода, заручившись согласием своего господина, прислал им в помощники ронина Масиду Дзихэя.

И вот, когда Хякуэмон возвращался с прогулки в горах, Дзихэй выскочил из засады и, назвав свое имя, поразил его в правую руку. Не успел Хякуэмон выхватить меч левой рукой, как дочь Кинная бросилась на него с копьем, он попятился назад, но тут подоспела Мари и нанесла ему удар в самое сердце.

Исполнив свой долг, дочь Кинная заперла ворота усадьбы и в ожидании решения совета старейшин стала готовить себя к совершению сэппуку[153]. Не всякая женщина отважилась бы на такое, но ведь недаром была она дочерью самурая.

На следующий день старейшины собрались на совет, и все присутствующие, от высших до низших чинов, осудили Хякуэмона и высказались за то, чтобы дом его был уничтожен. Дабы род Тюдо не прекратил своего существования, дочь Кинная обязали взять себе приемного ребенка, каковым был объявлен Сакунодзё – младший сын самурая Имуры Сакуэмона. Что же до наложницы Мари, то в награду за проявленную ею доблесть она была выдана замуж за самурая Тои Итидзаэмона, младшего чиновника службы надзора, так что судьба ее устроилась наилучшим образом.

А спустя пятьдесят дней среди ночи пришло известие о том, что в бухте Китаура, где стоит святилище Касуга-мёдзин, выловлена диковинная рыбина. Это была та самая русалка, потому что из тела ее

торчала стрела, выпущенная Киннаем. Все несказанно обрадовались этой вести, а Киннай посмертно покрыл себя неувядаемой славой.

Из сборника «Повести о самурайском долге»

Голый в реке, или Наказание за болтливость

Издавна говорят: «Язык – твой первый супостат. Дашь ему волю – голова пропадет!» – да только мало кто к этому прислушивается.

А еще говорят: «Если с человеком приключается беда, никакое богатство его не утешит». И наоборот: «Счастливым можно быть даже в бедности».

Осенний день уже клонился к вечеру, когда Аото Саэмон-но дзё Фудзицуна[154], пришпорив коня, скакал по горной дороге в Камакуру. Недавно пронесшаяся буря разогнала тучи, и он спешил добраться до храма Мэйгэцуин, чтобы оттуда полюбоваться яркой осенней луной. Переправляясь через реку Намэрикава, он за какой-то надобностью развязал свой дорожный мешок, и оттуда выпало десять медных монет.

Достигнув противоположного берега, Фудзицуна созвал работных людей и велел им достать со дна реки оброненные деньги, а в награду посулил им три тысячи монет. Устроив запруду из собственных тел, люди при свете факелов, от которых вода в реке золотилась, словно парча, принялись искать. Долго искали они злополучные монеты, но обнаружить их никак не удавалось. Фудзицуна приказал продолжать поиски, даже если для этого потребуется добраться до дворца царя-дракона.

И вот одному из работяг неожиданно повезло: он поднял со дна реки сразу три монеты, потом, пошарив в том же месте, извлек еще одну, а затем и все остальные. Постепенно все десять монет были возвращены владельцу. На радостях Фудзицуна выдал участникам поисков обещанное вознаграждение, а самому удачливому из них сверх того отсыпал еще целую горсть. Сопровождавшим его подчиненным Фудзицуна объяснил свой поступок так:

– Если бы десять медяков, что я обронил, остались лежать на дне, богатство страны пусть на малую толику, но оскудело бы. А деньги, которые я раздал этим людям, не пропадут втуне, они будут ходить по рукам и приносить пользу. – С этими словами Фудзицуна снова пустился в путь.

– Сберег один медяк, а наказал себя на сотню! – вслед ему рассмеялись работяги.

На то они и простолюдины, невежи – что с них возьмешь?

Разжившись шальными денежками, работяги взыграли духом и решили устроить пирушку, благо луна уже взошла. Тут давешний удачник возьми да и скажи:

– Знаете, кого вам надо благодарить за нынешнюю попойку? Меня! Я сразу сообразил, что медяков, которые обронил Фудзицуна, ни в жизнь не найти. А у меня как раз была при себе мелочь, вот я и спроворил дельце. Уж на что он смекалист, а я его перехитрил!

– Вот это да! – воскликнули остальные. – Значит, это ты нам удружил? Эх, погуляем сегодня на славу!

Тут веселье пошло полным ходом, и только один человек сидел с мрачным видом.

– Что же, выходит, приказание господина осталось невыполненным? – заговорил он. – Да как ты смеешь, негодяй, бахвалиться и глумиться над человеком, с которого каждому из нас следует брать пример? Небо покарает тебя, так и знай! А я-то, глупец, радовался этим деньгам, надеясь, что теперь смогу вдоволь накормить матушку, но, услышав правду, я отказываюсь от них. Если бы матушка моя узнала, каким способом добыты эти деньги, она никогда не простила бы меня. – С этими словами он поднялся и пошел прочь. Матери своей он не стал ничего рассказывать, а на следующее утро спозаранку принялся, как обычно, плести из соломы короткие сапожки, которые надевают лошадям на ноги в снегопад. Этим нехитрым ремеслом он зарабатывал себе на жизнь, не ища выгоды и не сетуя на судьбу.

Хотя он никому ни словом не обмолвился о произошедшей накануне ссоре, Аото Фудзицуна каким-то образом прослышал о ней. Обманщика тут же схватили, поместили под строгий надзор и в наказание заставили, раздевшись догола, каждый день искать в реке монеты, оброненные Аото. Каково было бедняге копошиться в студеной воде, ведь дело-то уже шло к зиме! И все же судьба смилостивилась над ним: река стала мелеть, и, когда на девяносто седьмой день поисков наконец показалось дно, он нашел все до единой монеты и тем спас себя от неминуемой гибели. А довел его до беды болтливый язык.

Что же до скромного поселянина, который своей честностью помог восстановить справедливость, то со временем Фудзицуна узнал,

что он зовется Тибой Магокуро и происходит из знаменитого самурайского рода. В силу обстоятельств два поколения его семьи были вынуждены скрывать свое происхождение и жить среди простолюдинов. Восхищенный поступком Магокуро, в ком не угас дух истинного самурая, Аото доложил о нем князю Токиёри[155], и тот принял его к себе на службу. Так Магокуро с честью вернул себе самурайское звание и поселился в Камакуре, на Журавлином холме, название которого сулило ему тысячелетие немеркнущей славы[156].

Родинка, воскресившая в памяти прошлое

В молодые годы Акэти Мицухидэ[157], властитель провинции Хюга, носил имя Дзюбэй и служил в охране замка Камэяма в провинции Тамба. Будучи, что называется, мелкой сошкой, он, однако, нес свою службу с ревностью и бескорыстием, чем выгодно отличался от прочих самураев. Неудивительно, что вскоре его поставили во главе отряда из двадцати пяти лучников, и он показал себя доблестным воином. В то время в его сундуке с доспехами лежало всего десять золотых монет, припасенных на случай нужды, но он был полон честолюбивых надежд и верил, что недалек тот день, когда он получит в свое владение замок и станет хозяином какой-нибудь провинции. Сложения он был богатырского, и это весьма способствовало его преуспеяниям.

Глядя на Дзюбэя, многие отцы семейств мечтали заполучить его в зятья и засылали к нему сватов, но он давно уже был связан клятвой с одной девушкой. У некоего самурая, служившего в замке Саваяма в провинции Оми, выросли две дочери. Обе они могли поспорить красотой с цветущей сакурой или стройным кленовым деревцем в осеннем багрянце. И все же старшая превосходила младшую своей прелестью; она-то в одиннадцать лет и стала избранницей Дзюбэя, и тот обещал жениться на ней, как только крепко станет на ноги и обретет достойное положение.

С тех пор прошло более семи лет. Дзюбэй рассудил, что девица уже повзрослела, а стало быть, пора подумать о свадьбе, и написал о том родителям невесты.

Увы, жизнь редко оправдывает наши ожидания. Случилось так, что обе сестры захворали оспой, а когда болезнь миновала, лицо старшей, красавицы, оказалось обезображенным глубокими рябинами, младшая же осталась по-прежнему миловидной.

«Мыслимо ли отправить такую дурнушку в чужие люди? – переговаривались между собой родители невесты. – Мало того что она будет стыдиться себя, так еще и о нас пойдет дурная молва». И они решили вместо старшей выдать за Дзюбэя младшую сестру, благо она была еще не просватана.

Узнав об этом решении, старшая дочь не обиделась и не стала оплакивать свою судьбу.

– Вы правы, – сказала она. – Превратившись в жалкое пугало, я не смогу показаться на глаза Дзюбэю-доно. Но даже если бы сыскался человек, готовый терпеть мое уродство, я и за него не пошла бы. Мы с сестрицей похожи, к тому же девушка она смышленая и добрая, так что краснеть за нее вам не придется. Вы можете смело отправлять ее к жениху. А я давно уже собираюсь постричься в монахини. Клянусь богами, что говорю чистую правду. – С этими словами девушка взяла свое любимое зеркало китайской работы, разбила его[158] и дала слово, что отречется от мира.

Родители увлажнили слезами рукава своих платьев и горько задумались, но пути назад уже не было, и они, не входя в подробности, объявили младшей дочери, что выдают ее замуж.

Ошеломленная этим известием, девушка молвила:

– Пристало ли мне выходить замуж прежде старшей сестрицы? Вначале нужно устроить ее судьбу…

– Да, – перебил девушку отец, – так велит обычай, но твоя сестра твердо решила принять постриг, и мы вынуждены ей уступить. В недолгом времени я отправлю ее в Южную столицу[159], в монастырь Хоккэдзи. А тебе надлежит ехать в замок Камэяма. Благодари судьбу за то, что она даровала тебе в мужья Акэти Дзюбэя. Он не только превосходно владеет всеми воинскими искусствами, но и слывет человеком чести и большого ума. Что может быть завиднее для женщины, чем прожить свой век рядом с таким мужем? Не сомневаюсь, его ждет блестящее будущее, и нам с матерью будет на кого опереться в старости.

Так увещевал отец свою дочь, и девическое сердце не осталось глухо к его словам. Выбрав счастливый день, ее нарядили в праздничные одежды, куда более роскошные, чем приличествовало ее положению, и отправили в замок Камэяма.

Готовясь к встрече невесты, Дзюбэй поставил в гостиной «остров счастья», украсив его сосной и бамбуком. Во все время свадебной церемонии, даже после троекратного обмена чарками сакэ, Дзюбэй пребывал в уверенности, что перед ним старшая сестра, ведь последний раз он видел свою нареченную еще отроковицей с расчесанными на прямой пробор волосами. Лишь потом, когда

новобрачные возлегли на ложе и Дзюбэй при свете ночника склонил над девушкой лицо, он вспомнил, что прежде на щеке у нее, ближе к уху, была едва приметная родинка. «Быть может, повзрослев, она стала стыдиться родинки и избавилась от нее?» – подумал Дзюбэй.

При виде его замешательства девушка сказала:

– Как раз в этом месте у моей сестрицы есть родинка. После того как она переболела оспой, от ее былой красоты не осталось и следа, а для женщины это великое несчастье. Потому меня и выдали замуж первой. Обычай этого не велит, и поначалу я отказывалась, но как пойдешь против родительской воли? Видно, неспроста у меня было так тяжело на сердце. Не иначе вы дали клятву жениться на моей сестре, а раз так, то, сама того не желая, я поступила бесчестно. Простите меня. Я сегодня же приму постриг! – С этими словами девушка взяла короткий меч и поднесла его к своим волосам, но Дзюбэй остановил ее:

– Даже если вы станете монахиней, злой молвы избежать не удастся. Лучше сохранить все произошедшее в тайне. Через пять дней вам полагается навестить родителей, так что потерпите немного и спокойно возвращайтесь домой. И знайте: вы можете с гордостью носить имя дочери самурая!

Дзюбэй поместил девушку в отдельные покои и больше с нею не виделся. А когда ей пришел срок отправляться домой, передал ее родителям письмо.

«Как Вы изволите помнить, – писал Дзюбэй, – *я был помолвлен с Вашей старшей дочерью. К несчастью, ее постиг тяжкий недуг, но такое может случиться с каждым. Даже если былая ее красота и померкла, я по-прежнему верен своему слову и женюсь на ней, чего бы мне это ни стоило. Что же до Вашей младшей дочери, то она явила образец честности и бескорыстия, каковые нечасто встречаются в женщине».*

Обрадованные тем, что все так благополучно устроилось, родители отправили к Дзюбэю старшую дочь.

И зажили молодые супруги в любви и согласии. Всем сердцем привязавшись к жене, Дзюбэй клялся ей в вечной верности, а жена еще больше, чем прежде, восхищалась благородством его души и старалась во всем ему потрафить. Будь она красавицей, Дзюбэй, скорее всего, разнежился бы, поддавшись на ее чары, но, поскольку он женился на

ней потому лишь, что так велел ему долг, все его помыслы устремились к совершенствованию в воинских искусствах. Помимо всего прочего, нрав у супруги был волевой, отважный, и, оставаясь наедине, молодожены только и говорили между собой, что о ратном деле. В саду перед домом они посыпали землю песком и вычерчивали на нем планы боевых укреплений. Молодая жена оказалась настолько сведущей в военной науке, что порой помогала мужу найти решения, до которых сам он вряд ли додумался бы. С первых дней их совместной жизни она не позволяла Дзюбэю ни на миг забывать о своем призвании и много способствовала тому, чтобы имя его прославилось в нашем мире.

Смерть в волнах уравнивает всех

Иным определено судьбою прожить долгий век, иные же гибнут безвременно, повинуясь велению долга. Всякому человеку трудно расстаться с жизнью, но лишь самурай в решительную минуту способен мужественно принять смерть. Это ли не достойно восхищения!

Жил некогда в провинции Сэтцу самурай по имени Кандзаки Сикибу, состоявший на службе у Араки Мурасигэ[160], владельца замка Итами. Долгие годы он успешно выполнял свои обязанности, следя за тем, чтобы каждый воин достойно нес свою службу, а все потому, что сам происходил из доблестного самурайского рода.

Но вот однажды второму сыну его господина – Мурамару-доно вздумалось осмотреть острова вблизи Эдзо[161], и Сикибу было поручено сопровождать его в этом путешествии. Испросив разрешение взять с собой своего сына, Кацутаро, Сикибу стал собираться в путь. Вскоре все было готово, и Мурамару-доно вместе с многочисленной свитой отправился на восток.

Шло время, близился к концу месяц удзуки[162], и наступила дождливая пора. В один из дней путники рассчитывали сделать остановку на постоялом дворе «Симада» в Суруге, но, когда они добрались до горного перевала Саё-но Накаяма, хлынул обломный ливень, и мост через речку Кикугава скрылся под водой. Вдобавок налетел свирепый ветер и стал срывать с проводников дождевые накидки. С большим трудом удалось путникам одолеть перевал и выйти к берегу реки Оикава. Неподалеку оттуда находился постоялый двор «Каная», где можно было переждать непогоду, но Мурамару-доно собрал свою свиту и распорядился немедленно готовиться к переправе на тот берег. Сикибу, видя, что вода в реке поднялась, попытался было возразить, но в молодом господине взыграло ретивое, и он, не задумываясь о последствиях, настоял на своем. Многих из тех, кто вступил в реку, сразу же унесло бурным течением, и они утонули, однако поворачивать вспять было уже поздно. В итоге поредевшему отряду все же удалось достичь берега и выйти к постоялому двору «Симада».

В свите молодого господина был юноша по имени Тансабуро, сын самурая Мориоки Танго, товарища Кандзаки Сикибу. Впервые отпуская своего шестнадцатилетнего сына в дальнее путешествие, Танго просил Сикибу присмотреть за ним. Памятуя об этом, перед началом переправы Сикибу проверил, не выбился ли из сил конь Тансабуро, надежны ли его проводники, и велел ему переправляться через реку вслед за Кацутаро. Сам же Сикибу вступил в реку последним. Между тем стало смеркаться, проводники потеряли брод, седло под Тансабуро накренилось, и он упал с коня. В тот же миг юношу подхватило течением, и он скрылся под водой. Сколько ни искали его потом, найти тело юноши не удалось. Обиднее всего было то, что он погиб, почти добравшись до берега. А Кацутаро остался цел и невредим.

Что было делать Сикибу? Как оправдаться перед другом? Долго не мог он решиться, но потом все же подозвал сына к себе и сказал:

– Отец Тансабуро просил меня позаботиться о нем, но юноша погиб у меня на глазах, и я был не в силах ему помочь. Если ты вернешься домой живым и невредимым, я не смогу взглянуть Танго в глаза. Ты должен разделить судьбу Тансабуро!

Кацутаро на то и был сыном самурая, чтобы не раздумывая исполнить отцовский приказ. Он тут же повернул коня вспять, бросился в бушующие волны и исчез навсегда.

Только теперь Сикибу осознал, сколь превратна и мимолетна человеческая жизнь. «Воистину, нет тяжелее ноши, чем та, которая зовется долгом, – горевал несчастный отец. – Вместе со мной в это путешествие отправилось немало достойных людей, но именно мне поручил Танго заботу о своем сыне. Я не оправдал его доверия и был вынужден послать на смерть собственного сына, благополучно одолевшего опасную переправу. Как жестоко устроен мир! У Танго, помимо Тансабуро, есть еще сыновья, и сколь бы велико ни было его горе, со временем он утешится. Я же потерял единственного сына. Ради чего мне теперь жить? А каким ударом это станет для его матери!..»

Так размышлял Сикибу, скорбя о сыне, принявшем смерть по его воле. В порыве отчаяния он решил свести счеты с жизнью, но обязательства, возложенные на него господином, еще не были исполнены до конца. Взяв себя в руки, он нес свою службу с прежним

усердием, однако сердце его терзала тоска. Когда же путешествие завершилось и Мурамару-доно благополучно возвратился в замок, Сикибу сказался больным и затворился в своем доме. Вскоре он оставил службу у своего господина, покинул Итами и вместе с женой поселился на горе Митакэ, возле храма Киёмидзу[163], где они приняли монашеские обеты. Никто не догадывался о том, чтó привело их на этот путь, но со временем Танго узнал от кого-то из очевидцев, каким образом погиб Кацутаро. Глубоко тронутый жертвой Сикибу, он решил последовать его примеру и, оставив службу в замке, вместе с женой и сыновьями нашел пристанище на той же святой горе. Шум ветра в соснах заставил их пробудиться от снов бренного мира, а слезы, пролитые по сыновьям, превратились в целебную влагу, омывшую их души. Невидимый перст судьбы указал им спасительную стезю, и помыслы их уподобились ясной луне, выглянувшей из-за дальних гор. Взыскуя загробного блаженства, Сикибу и Танго так сроднились душами, как это редко случается даже между близкими друзьями. Долгие годы следовали они избранному пути, но теперь их давно уж нет на свете, как рано или поздно не станет всех, кто ныне обитает в этом мире.

О женщине, которая решилась пожертвовать одним ребенком, дабы сохранить жизнь другому

Двадцать девятого дня шестой луны двенадцатого года эры Эйроку[164] войска противников, которые сошлись на битву у реки Анэгава[165] в провинции Оми, решили сделать передышку и заключили перемирие.

И вот на закате дня возле одного из биваков показалась тень какого-то человека, пытавшегося незаметно выскользнуть из лагеря. Дозорный Мокута Танго в главной ставке заметил его и приказал догнать. Несколько воинов бросились наперерез беглецу по полю, заросшему бамбуком. Когда расстояние между преследователями и их жертвой сократилось, они распознали в беглеце женщину, рослую и крепкую, с мечом на поясе. К груди она прижимала младенца, а рядом с нею бежал мальчик лет семи, которого она держала за руку. Чувствуя, что погоня уже близка, женщина бросила малютку на землю, мальчика же посадила за спину и так пробежала еще около двух тё. Кто-то из воинов поневоле остановился и, пожалев плачущего младенца, взял его на руки. Это была прелестная девочка.

Когда преследователи настигли беглянку, она ссадила ребенка под деревом, выхватила из ножен меч и принялась защищаться, не уступая в храбрости мужчине, но силы были явно неравны. Один из преследователей, бывалый воин, отдал приказ: «Взять ее живой!» В конце концов им это удалось, хотя каждый из них получил легкое ранение.

По всему видно было, что женщиной движут какие-то особые побуждения, поэтому воины обошлись с ней учтиво и отвели в ставку к своему начальнику. Выслушав их доклад, Танго обратился к ней:

– Рассказывайте, с чьими детьми вы пытались скрыться?

– О, горе! – только и произнесла в ответ женщина и, опустив голову, заплакала. Без сомнения, ей было что скрывать. «Уж не дети ли это вражеского полководца?» – подумал Танго. Тем временем мальчуган подбежал к матери и, схватив ее за рукав, захныкал: «Хочу к

тяте!» Услышав слово «тятя», Танго тотчас догадался, что перед ним сын крестьянина.

– Итак, чья вы жена? – спросил Танго. – Сердце мое не чуждо сострадания, и я готов сохранить вам жизнь, но сперва объясните, почему вы так странно поступили с детьми. Оба наверняка вам дороги, однако грудного младенца вы бросили, а взрослого мальчика пожалели и взяли с собой. Должно быть, вы поступили так неспроста, рассудив, что в будущем сын станет вам помощником и опорой. Или я ошибаюсь?

Тут женщина подняла голову и рассказала обо всем без утайки.

– Я жена человека по имени Такэхаси Дзинкуро. Когда-то он был самураем и получал от своего господина небольшое жалованье. Однако судьба сложилась так, что он стал ронином, поселился в этой деревне и занялся крестьянским трудом. Сменив боевого коня на быка, а копье на мотыгу, сделался он простым землепашцем. Но потом началась война, и всех мужчин в здешних краях согнали воевать. Прошлой ночью муж сказал мне: «Чует мое сердце, что нынешнего сражения мы не выиграем и живым я домой не вернусь. А вслед за мной погибнешь и ты вместе с нашими чадами. Пока не поздно, беги отсюда. Ты должна сберечь и вырастить детей, чтобы было кому продолжить мой род». Я не хотела с ним расставаться, но он настаивал, и мне пришлось уступить. Однако спастись нам не удалось: меня схватили ваши люди. А дети эти мне не родные. За долгую жизнь своих деток мы с мужем не нажили и взяли на воспитание чужих. Мальчик приходится племянником мужу, девочка же – племянницей мне. Сбереги я девочку, пошла бы молва, что я порадела о собственной родне в ущерб мужниной, и мне было бы горько это слышать.

Тронутый признанием женщины, столь высоко ставящей долг, Танго велел своему подчиненному скрытно, окольным путем вывести ее из лагеря. Так она и ее дети были спасены.

Из сборника «Новые записки о том, что смеха достойно»

След от прижигания моксой, о котором не мог знать посторонний

В старину, во времена императора Бурэцу[166], на землю обрушился огненный ливень, причинивший народу неисчислимые бедствия. Люди строили себе укрытия из камня, тем и спасались. А случилось это потому, что правление государя отошло от праведного пути.

В то время особым расположением императора пользовалась придворная дама по имени Акацуки-но Сёнагон – Рассветная Заря. Ни в нынешние, ни в прежние времена не видел свет такой красавицы, даже за пределами благословенной земли Акицусу[167] не было ей равной. Государь души в ней не чаял и дни и ночи проводил наедине с нею, не замечая, как белый скакун перелетает через расселину[168]. Распускались и опадали цветы вишен в близлежащих горах, но он не удостаивал их даже мимолетного взора, а его колесница так долго стояла без дела, что в ней свили себе гнезда ласточки.

Слава человека бессмертна, но жизни его положен предел. Издавна жаловалась Акацуки-но Сёнагон на боли в груди, а потом вдруг сильно занедужила и в одночасье скончалась.

Тоскуя о навеки покинувшей его возлюбленной, государь взялся за кисть и собственноручно набросал ее портрет, после чего призвал к себе художника по имени Мокугэн-кодзи[169], знаменитого своими изображениями будд и святых, и повелел ему вырезать из дерева статую покойной.

Поскольку это был приказ самого государя, Мокугэн без промедления взялся за работу. Через три дня и три ночи статуя была готова, оставалось лишь нанести на нее краску. Расписав одежду красавицы, художник принялся рисовать брови, но тут кисть нечаянно выскользнула у него из пальцев и оставила на груди статуи небольшое пятнышко туши. К счастью, оно пришлось на то место, которое было скрыто под двенадцатислойными одеждами[170], и не особенно бросалось в глаза, поэтому Мокугэн решил ничего не исправлять и в таком виде принес статую императору.

Взглянув на нее, государь погрузился в воспоминания, и рукава его платья намокли от слез. Когда же он стал рассматривать статую внимательно, на глаза ему внезапно попало пятнышко туши от оброненной художником кисти, и сердце его тотчас омрачилось. Как раз в этом месте на коже у его возлюбленной был след от прижигания моксой, которое он делал ей собственноручно, желая облегчить ее страдания, и знать об этом не мог никто, кроме них двоих. Каким же образом это стало известно художнику? Не иначе мерзкий богомаз пользовался тайной благосклонностью Акацуки-но Сёнагон! – заключил государь.

В древнем Китае некий мудрый муж[171] сказал: «Подозревая кого-либо в провинности, будь скуп на расправу; сомневаясь в чьих-либо заслугах, будь щедр на похвалу». Но государь Бурэцу поступил иначе: хотя подозрения его были совершенно беспочвенны, он, ничтоже сумняшеся, приказал немедленно схватить художника и бросить в темницу. При этом ни приближенные государя, ни сам Мокугэн не ведали, в чем состоит его вина и за что на него обрушилась такая жестокая кара. Теперь от скорби государя не осталось и следа. В сердцах он разбил статую, проклиная вероломство своей возлюбленной.

Между тем у Акацуки-но Сёнагон была младшая сестра по имени Юхи – Вечернее Солнце. Она тоже состояла государевой наложницей, но еще ни разу не была призвана в его опочивальню.

Сочувствуя художнику, попавшему в беду из-за ее покойной сестры, госпожа Юхи семь ночей кряду без устали молила богов, чтобы они даровали ей возможность увидеться с государем и замолвить словечко за Мокугэна. О том, чтобы склонить к себе сердце государя, она и не помышляла.

Как видно, боги услышали ее молитву, и приснился ей сон, будто она вошла в государеву опочивальню и разделила с ним ложе, после чего выбросила свой гребень[172].

Государь же, проснувшись на следующее утро, увидел подле себя на ложе алые одежды, как будто только что сброшенные спавшей в них женщиной.

Немало подивившись этому и расспросив придворных дам, государь узнал, что одежды эти принадлежат госпоже Юхи. Он тут же

призвал ее к себе, и женщина уговорила его освободить безвинного художника.

Император сжалился над Мокугэном и приказал снять с него оковы, как того и добивалась чистая сердцем госпожа Юхи. Отвечая на вопрос о злополучном пятнышке на груди у статуи, художник объяснил, каким образом оно там появилось. Государь пришел в изумление и устыдился своего неправедного гнева.

С тех пор он всей душой привязался к госпоже Юхи, приблизил ее к себе и перестал тосковать по умершей Акацуки-но Сёнагон. Поскольку действиями госпожи Юхи руководило искреннее чувство, само Небо явило ей истину и имя ее надолго осталось в памяти людей.

Нечто подобное случилось в Китае во времена династии Тан. Когда художник по имени У Даосюань [173]рисовал портрет одной придворной дамы, с кисти его капнула тушь как раз на то место, где у женщины была родинка. Его постигла та же участь, что и Мокугэна.

О штукатуре, который поднялся в воздух и в одночасье состарился

С давних пор в свете ходит немало историй про жен, покинувших своих мужей, или, напротив, покинутых своими мужьями.

Одна такая история случилась во времена, когда подновляли старый замок в провинции Харима. Работами руководил опытный градоначальник, знавший толк в строительстве. Он самолично распределил плотников, штукатуров, кровельщиков и прочий работный люд по участкам и назначил старших над ними. Леса вокруг замка возводить не потребовалось, и дело продвигалось быстро. «При умелом подходе работа спорится», – говорили окрестные жители.

Между тем замок был обнесен высокой крепостной стеной – одно лишь каменное ее основание достигало нескольких дзё в высоту. Из-за ветров и дождей стена изрядно обветшала, особенно с северной стороны, и в нескольких местах отвалилась штукатурка. Чтобы все это исправить, нужно было подняться наверх, но как это сделать? И вот придумали: смастерили овальную корзину и приладили к ней четыре толстые веревки. При помощи этих веревок корзину можно было свободно передвигать по стене и доставлять штукатура на нужную высоту. Все вокруг восхищались этим умным устройством, но те, кому предстояло испытать его работу на себе, понимали, что находятся на волосок от смерти. При одном виде корзины даже у самых храбрых из них тряслись поджилки и душа уходила в пятки.

Больше всех робел молоденький штукатур из селения Такасаго. Сев в корзину, он едва не лишился чувств, а как стали его поднимать, бедняга задрожал всем телом и обеими руками вцепился в веревки. Понял он, что живым отсюда не выберется. Тотчас лоб его избороздили глубокие морщины, а волосы из черных стали белыми, как снег. Не прошло и часа, как он превратился в дряхлого старика. Говорят, нечто подобное случилось с одним знаменитым китайским каллиграфом[174], которому было велено выполнить какую-то надпись под сводами дворца.

После пережитого потрясения штукатур так и не смог прийти в себя, и его отправили назад в Такасаго. Оказавшись дома, он, как

безумный, озирался по сторонам, не узнавая родных. Да и домочадцы вряд ли его признали бы, не будь на нем знакомого синего кимоно с семейным гербом. Увидев его, жена не только не посочувствовала несчастному, но сразу потеряла к нему всякий интерес. А отец штукатура, пришедший его проведать, рядом с ним гляделся таким молодцом, что его было впору принять за сына. Спустя какое-то время жене наскучило жить с больным мужем, и она сбежала из дома, презрев все свои обязанности.

Впрочем, таков уж у женщин нрав. Покуда муж преуспевает, жена всячески старается ему угодить, ублажает свекровь, молится о благополучии семьи. В хозяйстве она рачительна и о наружности своей печется, давая всем вокруг повод для похвал. Слуг не обижает, но спрашивает с них строго. Встает ни свет ни заря, чтобы успеть причесаться, пока все в доме еще спят. Ополаскиваясь на ночь, не ищет местечка потемнее, – зачем внушать мужу лишние подозрения? Когда жена ведет себя таким образом, в доме царят мир и порядок.

Но стоит благополучию семьи пошатнуться, как жена перестает церемониться с мужем, хозяйство ведет спустя рукава, бранится с прислугой и, сказавшись больной, до полудня валяется в постели. Даже по большим праздникам она ходит нечесаная. С посудой и домашней утварью обращается кое-как. Черня зубы, брызгает краской на дайкокубасира[175], палочки, которыми берут моксу для прижиганий, очищает прямо о порог и обдирает со стены бумагу, чтобы завернуть в нее обрезки ниток после шитья. Ей ничего не стоит сорвать первые цветы с недавно привитого дерева, а в гостиной развесить выстиранное белье. «Скоро этот дом все равно перейдет в чужие руки», – думает она и нисколько не заботится о порядке. Сушеную каракатицу, которую обычно приберегают для постных дней, она подает к чаю вместо печенья, поэтому каждый месяц первого и двадцать восьмого числа вся семья по ее милости вынуждена класть зубы на полку. По ее же милости домашняя божница превращается в склад для писем от заимодавцев. Так постепенно дела семьи приходят в упадок, и не столько из-за просчетов и упущений мужа, сколько из-за неурядиц в доме.

Вот и жена штукатура, бросив хворого мужа, решила, пока еще недурна собою, поискать счастья на стороне. До чего же низкая душа!

Между тем больному становилось все хуже, и он умер с именем жены на устах, думая, что она сидит у его изголовья.

Нечестивица же не теряла времени даром и, не дождавшись, пока минуют хотя бы первые тридцать пять дней траура, вышла замуж за своего дружка, крепкого, смазливого детину. Возмущенный таким непотребством, отец покойного подал жалобу в судебную управу.

Судья вызвал молодоженов к себе и первым делом обратился к мужчине:

– По какому праву вы взяли в жены замужнюю женщину?

– К тому времени она уже овдовела. Прежний муж ее умер.

– Умер, но все еще пребывает в этом мире, хотя и под другим именем, – возразил судья и велел принести табличку с посмертным именем штукатура[176]. – Эта табличка вряд ли способна представить нам письменное согласие на развод. А раз такового нет, брак ваш не может быть признан законным. Ответчица покинула дом своего мужа при его жизни, следовательно, вы считаетесь ее любовником.

Поскольку женщина не смогла предъявить свидетельства о разводе, ее признали виновной в прелюбодействе.

Мужчина попытался вывернуться:

– Я знать ничего не знал, ее родители утаили от меня правду, – заявил он.

– В таком случае, – сказал судья, – назовите мне имя свата.

Как выяснилось, они вступили в брак по взаимному согласию, не прибегая к помощи свата.

– Ну что ж, – молвил судья. – Вы оба повинны в тяжком преступлении, поскольку союз свой заключили без свата. Лишь в память об умершем я не стану приговаривать вас к смертной казни. Кару же вы понесете такую: ответчице надлежит остричь волосы и уйти в монастырь. Ответчик приговаривается к ссылке на поселение в отдаленную местность. Родителям ответчицы также отныне запрещается проживать в пределах здешней провинции.

Такое решение вынес судья, и было оно поистине милосердным.

Благодатное правление, отменившее по всей стране долговые обязательства

Случилось это во времена лихолетья, когда в стране нашей ремесла пришли в упадок, крестьяне вконец обнищали, а людские сердца утратили целомудрие и свернули со стези добродетели. Даже в столице процвело сутяжничество, богатые жили в свое удовольствие, бедняки же не могли расплатиться с долгами и умирали с голоду. Оттого повсеместно развелось воровство, и грабители бесчинствовали средь бела дня.

Не в силах покончить с беспорядками, столичный градоначальник доложил о них государю, и тот, следуя примеру властителей древних времен, повелел объявить по всей стране эру благодатного правления, освобождающего людей от всяческих повинностей и долговых обязательств. В тот же день из восьми врат дворца на восток, запад, север и юг поскакали гонцы, дабы оповестить об этом народ.

Хотя высочайший указ последовал в конце восьмой луны, всем казалось, будто наступил канун Нового года.[177] Одни, потирая руки, подсчитывали барыши, другие же, горестно вздохнув, сжигали счетные книги. Поскольку долговые расписки утратили всякий смысл, в одних домах по этому поводу лили слезы, в других – благословляли судьбу и на радостях пили сакэ.

В мире наступил совершенно иной порядок: богатые терпели убытки и делились с бедными, бедные же безнаказанно присваивали себе чужое богатство, а поскольку денег хватило на всех, раздоры между людьми прекратились.

И все же даже в этот век всеобщего умиротворения иной раз происходили вещи, столь же неблаговидные, сколь и нелепые. Например, один горожанин, дав жене развод, не позволил ей забрать свое приданое. Мало того, он присвоил себе взятый на сохранение сундучок с деньгами, собранными им и его товарищами на паломничество в святилища Исэ.

Во времена, о которых ведется рассказ, на Третьем проспекте в Киото проживал некий ремесленник, мастер росписи по лаку. Жизнь его с женой не заладилась, и он, намарав разводную бумагу, отправил

ее назад к родителям. Между тем женщина была в тягости и в положенный срок произвела на свет мальчика. И вот, не успев приложить младенца к груди, она побежала к свату и сказала ему так:

– Поскольку я лишь на время одолжила свое чрево, дабы этот младенец появился на свет, теперь, так уж и быть, я готова простить долг его отцу и отдаю ему чадо.

Сват передал ее слова отцу ребенка, но тот возразил:

– Нет, это я одолжил ей свое семя. Ныне было бы несправедливо взыскивать с нее долг, так что младенца я оставляю ей.

Как ни пытался сват вразумить бывших супругов, оба стояли на своем и не желали уступать. Свату ничего не оставалось, как обратиться к самому столичному градоначальнику. Тот призвал к себе родителей младенца, а также всю их родню и сказал:

– В нынешний век справедливого правления многие горюют, лишившись возможности вернуть себе долги. Вы же, напротив, поступаете благородно и, не считаясь с собственными убытками, стремитесь отдать друг другу то, что по праву принадлежит каждому из вас. При этом в рассуждениях обоих есть своя доля истины. Посему постановляю: младенец, покуда ему не исполнится пятнадцати лет, должен быть передан на попечение свата. Когда же он войдет в разум, то сам определит, мать ли одолжила отцу свое чрево или отец ей – свое семя. На основе его слова и будет принято окончательное решение. Итак, до пятнадцати лет мальчик будет жить в доме свата, ухаживать же за ним должны родители. И отцу, и матери надлежит неотлучно находиться при своем чаде и пестовать его. В случае смерти ребенка будут опрошены соседи, и если выяснится, что он умер по естественным причинам, никто не будет привлечен к ответственности. Если же, паче чаяния, родители будут уличены в недосмотре или рукоприкладстве, их ждет суровое наказание.

Таково было решение градоначальника, и бывшим супругам пришлось ему подчиниться. Изо дня в день они посменно дежурили в доме свата, ухаживая за младенцем. Однако это продолжалось недолго: женщину стали тяготить косые взгляды окружающих, мужчине же хлопоты о ребенке мешали заниматься своим ремеслом. В конце концов они помирились и решили снова жить вместе, а ребенка забрать к себе. Сват походатайствовал за них перед властями, и на том дело уладилось. Теперь они зажили душа в душу, и сын у них вырос на

славу – с юных лет стал кормиться своими трудами и родителей своих почитал.

И вот однажды летом во время праздника Гион[178] он отправился посмотреть на красочную процессию священных ковчегов. Вслед за колесницей, увенчанной лунным серпом[179], показался ковчег «Золотой котел» с фигурой Го Цзюя[180], закапывающего в землю своего малолетнего сына. И где только нашелся мастер, сумевший изобразить Го Цзюя с мотыгой так, будто это была не кукла, а живой человек!

Глядя на ковчег, люди переговаривались между собой:

– Сколь бы велика ни была сыновняя преданность, как можно закапывать в землю собственное чадо? Хорошо еще, что этому китайцу повезло и он нашел в земле котел с золотом. А если бы этого не случилось? Жизнь ребенка была бы загублена! Здесь неподалеку стоит молодой человек. Когда он был маленьким, родители его не ладили между собой и пытались сбагрить сыночка один другому, так что жизнь бедняжки была под угрозой. И что же – мальчик вырос на удивление почтительным сыном и заботится о своих непутевых родителях. Видно, Небо не очень-то карает за дурные дела.

Юноша стоял неподалеку и слышал, о чем говорили люди. С тех пор он затаил обиду на родителей, забрал накопленные деньги и куда-то исчез.

Сестры-разбойницы

Издавна говорят: «Близкие души тянутся друг к другу». Хорошо, когда это происходит на почве добра, но куда чаще случается обратное.

Во времена давно минувшие в землях Оу[181] люди перестали следовать законам и повсюду бесчинствовали грабители и разбойники. Ныне же, в век праведного правления, на всю страну нашу, вплоть до дальних краев Митиноку, где из недр произрастают золотые цветы[182], снизошло спокойствие, и никто больше не зарится на чужое. Не шумит ветер в соснах, не вздымаются волны на море, и не сыщешь больше нигде злодеев и нечестивцев.

Но коли уж зашла речь о прошлом, вот какая история случилась во времена императора Го-Нара[183], весною второго года эры Тайэй[184]. Жил в ту пору знаменитый разбойник, державший в страхе весь край Митиноку. Он убивал путников на дорогах, а деньги и добро их себе забирал. Со временем стал он богачом, каких немного на свете, и жил в роскоши, возомнив себя знатной особой.

Как-то раз вздумалось ему побывать в столице, и он поехал туда вместе со своими дружками. Там посреди развлечений он высмотрел одну красавицу и влюбился в нее без памяти. Отец девушки в прошлом преуспевал, но теперь едва сводил концы с концами. Не ведая, что дочь его приглянулась отъявленному злодею, он подумал: рано или поздно ее все равно придется выдавать замуж, к тому же в восточных землях прожить легче, нежели в столице, – и согласился отдать ее в жены разбойнику. Тот посадил девицу на лошадь и вместе с ней отправился восвояси. Всем сердцем привязавшись к молодой жене, он ничего для нее не жалел, и жили они в довольстве и богатстве. Вскоре женщина поняла, что муж промышляет душегубством, и очень из-за этого огорчилась, но пришлось смириться, – такова уж женская доля, да и родной дом был далеко, как до него не доберешься? Мало-помалу она привыкла к своей новой жизни и радовалась, когда муж, возвращаясь домой, говорил: «Повезло мне сегодня – снял с одного человечка превосходное кособэ!»[185] Теперь она с удовольствием слушала рассказы мужа о самых жутких

его преступлениях, и даже вид топора с отточенным лезвием не пугал ее больше. Так незаметно она сама почувствовала вкус к злодейству.

Спустя какое-то время жена родила разбойнику двух дочерей, и супруги радовались, думая о будущем. Но тут неожиданно разбойник захворал и умер.

Тяжело стало беззащитной вдове жить в захолустье на краю света. Все добро сразу же растащили дружки покойного, такие же разбойники. Остались у нее только копье да алебарда, и пришлось ей заняться разбойничьим промыслом, хоть и не женское это дело. По ночам выходила она на дорогу и грабила путников – тем и кормилась.

Когда дочери подросли, мать не усадила их ткать полотно, как принято в деревенских семьях, а вместо этого обучила их премудростям отцовского ремесла. Она объяснила, как напускать на себя свирепый вид и обирать до нитки испуганных прохожих. Нападать приказывала лишь на горожан да крестьян, самураев не велела трогать. Девицы обладали изящной внешностью и находились в том нежном возрасте, когда полагается думать о любви, но нрав имели лютый, в отца. Каждый вечер они промышляли на большой дороге, обеспечивая мать всем необходимым.

Однажды вечером брели они по тропинке среди заболоченного луга и вдруг увидели оставленный кем-то сверток шелка дивной красоты. Было в нем никак не меньше десяти хики[186].

«Вот уж поистине небесный дар!» – обрадовались девицы и, хоть были они сестрами, сразу заспорили, кому достанется находка. В конце концов решили разделить шелк поровну и так поладили между собой.

– Скоро весна, все пойдут любоваться цветущими вишнями, – размечталась одна из сестер. – Хорошо бы выкрасить этот шелк в цвет алой сливы или глицинии.

– А я бы сшила из него летнее кимоно – сверху белое, а с изнанки зеленое, как цветок уцуги, – проговорила другая. – Славный получился бы наряд!

И тут же обеих сестер обуяла жадность.

«Если бы сегодня сестрица не пошла со мной, – подумала про себя младшая, – вся добыча досталась бы мне. Ну ничего, когда мы выйдем в открытое поле, я прирежу ее и заберу себе ее долю».

Старшая тоже пожалела, что согласилась разделить шелк пополам, и у нее возникла точно такая же мысль, но она не подала вида и продолжила путь как ни в чем не бывало.

Вскоре вышли они к полю и увидели дым от погребального костра. Старшая сестра невольно задумалась о быстротечности человеческой жизни и устыдилась: «Какую страшную жестокость хотела я совершить! Мыслимое ли дело из-за куска шелка убивать родную сестру!» И она бросила свой кусок шелка в костер. Ее примеру последовала младшая сестра.

Старшая удивилась:

– Отчего ты бросила шелк в костер?

В ответ младшая залилась слезами и молвила:

– Стыдно признаться, но из-за ничтожного куска шелка во мне вспыхнула алчность, и я задумала лишить тебя жизни, а матушке сказать, что это сделал повстречавшийся нам путник. Я даже не подумала, какое горе причинила бы ей!

Тронутая этим признанием, старшая сестра сказала:

– То же самое было и у меня на уме. Но век наш на земле недолог, и если мы, женщины, будем и впредь творить злодеяния, в грядущей жизни нас ждет страшная расплата!

Вернувшись домой, сестры сожгли свои копья и ступили на праведный путь, увлекши за собою и мать. Так три разбойницы стали благочестивыми монахинями.

Недаром один святой мудрец сказал: «Свет вечной истины просияет надо всеми пребывающими во мраке неведения».

Вот один из примеров того, как растаявший лед превратился в чистую влагу.

Из сборника «Превратности любви»

Неожиданное везение, или Погонщик Рокудзо, ставший первым кутилой в Оцу

В рассказе этом повествуется об удаче, какая может привидеться разве только во сне. Говорят, если тебе приснился сокол или баклажан, то это к добру, но самыми счастливыми считаются сны, в которых видишь гору Фудзи. Впрочем, гора Хиэйдзан ничем не хуже – недаром ее называют «Фудзи столицы». Как дивно сияет ее заснеженная вершина в рассветных лучах!

Однажды в предрассветный час погонщик Рокудзо из Оцу, расставшись со своими собратьями, державшими путь в Фусими, поспешал по дороге, ведущей в столицу. Вез он в рыбную лавку на улице Нисики-кодзи вяленую кету и размышлял, как это ни странно, о непрочности всего мирского: «Вот ведь и эта рыба когда-то плавала в воде…»

За этими мыслями Рокудзо не заметил, как добрался до Аватагути, откуда до столицы уже рукой подать. Время было раннее: колокол еще не пробил и шести часов, едва начинало светать. Вдруг погонщика окликнул какой-то человек, судя по выговору – столичный житель, но в потемках его было не разглядеть.

– Будь другом, довези меня до улицы Хаттё в Оцу, – жалобно попросил незнакомец. – Сам я не в силах больше пройти ни шагу.

– Вот бедолага! – воскликнул погонщик. – Ну что ж, садитесь на лошадь. – С этими словами он свалил груз на обочине дороги. Оставить поклажу вот так, без присмотра, можно лишь в век праведного правления!

Внезапно разыгралась непогода, ветер так и норовил сорвать с лошади набрюшник, полил холодный дождь, и всадник до того продрог, что не мог пошевелиться.

– Подойди ко мне, я должен тебе кое-что сказать, – слабым голосом позвал он Рокудзо.

«Ну вот, посочувствовал человеку, а теперь хлопот не оберешься», – с досадой подумал погонщик, но отступать было поздно.

– Я смотрю, вы совсем приуныли, – сказал он незнакомцу. – Потерпите самую малость. Там у развилки будет чайная, вы сможете подкрепиться, и вам полегчает. Ну-ка, откройте рот. – Рокудзо набрал в пригоршню воды из потока, стекающего со скалы, и дал незнакомцу напиться. Тот перевел дух и снова заговорил:

– Отец выгнал меня из дома, и я подался в Эдо, но теперь уж мне туда не добраться. Как это ни грустно, приходится умирать здесь. В Киото у меня остались родители, но они и слышать обо мне не пожелают. Сделай милость, похорони меня, как положено, чтобы душа моя обрела покой. В исподнем у меня зашита тысяча золотых. Дарю эти деньги тебе, но при одном условии: тратить их ты должен только на дзёро[187] в квартале Сибая-мати[188]. Это будут лучшие поминки по мне. – Вымолвив эти слова, незнакомец испустил дух.

Рокудзо собирался похоронить незнакомца возле храма Сэкидэра в Оцу, но тут из столицы примчался какой-то человек, в глубокой печали погрузил тело в паланкин и увез. Пять дней ждал Рокудзо, – думал, может, станут его разыскивать, – а на седьмой день отправился в квартал Сибая-мати и принялся тратить подаренные деньги. Он пригласил всех до единой дзёро, о которых много лет вожделенно мечтал, и предался разгулу, не разбирая, ночь стоит на дворе или день. Поначалу, видя, как он роскошествует, люди недоумевали, откуда у простого погонщика вдруг появилась тугая мошна, но вскоре разговоры утихли, и Рокудзо стал желанным гостем в веселом квартале.

Теперь он уже не ходил лохматым, а делал себе щегольскую прическу, не пил сакэ из обычной чашки, как прежде, а только из винной чарочки и вместо песен погонщиков распевал модные песенки, какие можно услышать только в домах любви. Он узнал обычаи веселого квартала и вскоре приобрел такой лоск, что ни один из тамошних завсегдатаев не мог превзойти его изяществом манер, а дзёро Хёсаку в залог любви и верности отрезала себе мизинец. За Рокудзо утвердилась слава покорителя сердец, равного которому не сыскать во всем Оцу. От грубых ухваток погонщика не осталось и следа, – он сделался законодателем мод. Настолько хорошо изучил он все достоинства и недостатки обитательниц квартала Сибая-мати, что его познания легли в основу книги «Пожар в груди», которая завоевала не меньшую известность, чем «Белая ворона», повествующая о нравах

столичных куртизанок. Стоило кому-нибудь в веселом квартале услышать новую шутку, как тотчас распространялся слух, будто ее сочинил сам господин Рокудзо.

Да, так уж повелось на свете: если у человека есть деньги, все считают его и остроумным, и изысканным. А в веселом квартале с деньгами и вовсе немудрено прославиться. Хоть и старая это истина, а как не сказать: «Все в нашем мире решают деньги!»

Хитроумный замысел вдовы, или Кутила, которому улыбнулось счастье

Так уж бывает, что отцы, не находя управы на беспутных своих сыновей, вынуждены лишать их наследства и прогонять из дома. В прежние времена молодые столичные изгнанники чаще всего находили себе пристанище поблизости, в городке Тамба, ныне же этот обычай устарел, и они, раз уж так вышло, норовят оказаться не в какой-то глуши, а в Эдо, непременно в Эдо. Поначалу слоняются по городу, точно бродяги, но вскоре находят добрых людей – посредников по найму прислуги, готовых за них поручиться, и те помогают им обосноваться на новом месте.

Однако беспутных гуляк можно встретить не только в столице, их повсюду хватает. Жил в Эдо некий горожанин, отчаянный кутила. Дни и ночи напролет предавался он разгулу с куртизанкой Кониси из веселого квартала Ёсивара, за что был изгнан отцом из дому и лишен наследства. И вот решил он попытать счастья в столичном городе Киото. Там, на улице Карасума[189], у него отыскался приятель, который пристроил его к делу.

Кутила, однако, был не очень-то усерден в труде и привычек своих не менял, радея лишь о своей наружности да о том, чтобы и здесь, в столице, узнали о его любовных подвигах. В торговле он ничего не смыслил и вскоре остался без гроша за душой.

Когда он еще только покидал Эдо, мать послала за ним вдогонку слугу и велела передать ему тридцать золотых, но не прошло и полугода, как он все их растранжирил. Если до сих пор ему кое-как удавалось сводить концы с концами, то теперь он совсем приуныл, сообразив, что этак недолго и ноги протянуть с голода.

В поисках заработка взялся он за нитку с иголкой, стал мастерить кисеты из промасленной тисненой бумаги и продавать их по восемнадцать медяков за сотню. Как ни уговаривал себя бывший кутила, что и эти гроши – все-таки ниточка, привязывающая его к жизни, столица ему опостылела и он с тоской вспоминал свою прежнюю жизнь в Эдо. Скучая в одиночестве ночами, он подсчитывал, сколько отцовских денег тайком прибрал к рукам и промотал за все эти

годы. Выходила громадная сумма – две тысячи семьсот золотых рё и девятнадцать каммэ[190] серебром. «Какие добрые семена держал я в руках и как бестолково их разбросал! – горько сетовал он. – Увы, теперь они никогда не дадут всходов. Недаром дома любви называют гиблым местом».

Но, как известно, запоздалым раскаянием делу не пособишь. «О чем ты горюешь, прибрежная ива?» – поется в песне. Наверное, о том, что прошлое кануло в воду, что былого уже не воротишь.

Между тем по соседству с кутилой, с южной стороны, находилась винная лавка, ничуть не уступавшая известному столичному заведению «Мандариновый цвет». Хозяин лавки умер совсем молодым, оттого, видимо, что жена его была редкой красавицей, как две капли воды похожей на знаменитую куртизанку Нокадзэ, которую выкупил в свое время один богач из Нагасаки. После смерти мужа эта женщина осталась с двухлетней дочкой и, несмотря на молодые годы, строго блюла свою честь, смирившись со вдовьей судьбою. Неудивительно, что в нашем беспутном мире слыла она зерцалом женской добродетели.

И вот однажды сия добродетельная вдова явилась в храм Хонкокудзи и обратилась к тамошнему настоятелю, которого видела впервые в жизни, с такими словами:

– Насколько мне известно, в числе ваших прихожан есть некий торговец шнурками мотоюи из Эдо, который живет неподалеку отсюда, на улице Карасума. Я пришла сюда, чтобы доверить вам одну тайну и просить вас о помощи. Видите ли, я вдовствую и давно уже не помышляю о мирских радостях, но этот торговец повадился забрасывать меня любовными письмами. Разумеется, все до единого я оставила без ответа и выкинула в мусорную корзину, однако на днях он, позабыв всякий стыд, прислал мне новое письмо, совершенно ужасное. Вы только послушайте, что он пишет: «Я приставлю к ограде Вашего дома лестницу и тайком проберусь в сад в том месте, где посажен дуб. Под дубом находится уборная; спрыгнув с ограды, я окажусь на ее крыше, а затем, упершись ногой о задвижку двери, спущусь в сад и направлюсь к гостиной, так что не сочтите за труд приоткрыть ставни. Если Вы мне откажете, убью и Вас и себя». За такое письмо, узнай о нем кто-нибудь, недолго и головой поплатиться. О своем добром имени мне нечего беспокоиться, и все же прошу вас

сохранить в тайне все, что вы от меня услышали. Наглецу же этому строго-настрого запретите впредь писать мне. Так вы спасете нас обоих от неминуемой гибели. Право же, я очень на вас рассчитываю. – Сказав это, женщина удалилась.

Священник сразу же послал за торговцем и, когда тот явился, принялся сердито ему выговаривать. Закончил он так:

– Вспомните, при каких обстоятельствах вам пришлось бежать из Эдо. А в Киото у вас нет родственников, к которым можно было бы обратиться за помощью. Натворите новых бед здесь – совсем пропадете. Так что выбросьте свою нелепую затею из головы!

– Все это ложь от начала и до конца! – воскликнул торговец. – Ничего подобного у меня и в мыслях не было. Кто бы ни наплел вам этих небылиц, ему несдобровать!

Однако священник не растерялся.

– У меня есть неопровержимое доказательство, что это отнюдь не небылицы. Ко мне сегодня приходила небезызвестная вам вдова и с глазу на глаз поведала о ваших посягательствах. Ну что, теперь, надеюсь, вы не станете отпираться? – И он слово в слово пересказал ему все, что услышал от вдовы.

Торговец был повесой эдоской закваски[191] и живо смекнул: «Похоже, вдовушка нагородила этот вздор неспроста. Надо же, как ловко она приписала мне свои происки!» Священнику же он ответил:

– Простите меня, святой отец. По молодости лет я и впрямь затеял недостойное дело, но вы вовремя меня остановили. Обещаю вам, что больше это не повторится.

Оставив священника в совершенном удовольствии от столь похвального решения и взяв с него слово хранить их разговор в тайне, повеса помчался домой и стал с нетерпением ждать ночи.

Под покровом темноты он влез на ограду в том месте, где указала вдова, без труда проник в сад и затаился под деревом. Тут вдова взяла его за руку и повлекла в дом. «Уж не сон ли это?» – только и успел подумать повеса, как очутился рядом с женщиной в теплой постели, на мягком изголовье, укрытый одеялом, от которого исходил аромат алоэ. Лежит, а самого дрожь пробирает – и радостно ему, и боязно. Некоторое время он раздумывал, как лучше поступить, но потом сообразил, что раз у этой женщины нет мужа, то и опасаться особенно нечего. «Эх, была не была!» – решил он и принялся удовольствовать

вдову, три года хранившую верность покойному супругу, да так, что потом ей, пожалуй, было что вспомнить.

Вдова совсем голову потеряла и, презрев пересуды, то и дело назначала повесе свидания, всякий раз припасая для него в рукаве звонкие дары, с которыми на этом свете не пропадешь. Вскоре дела его пошли на лад, он прижился в столице и стал торговать шелком. А вдова со временем ему прискучила, и он опять взялся за старое. Влюбившись по уши в гетеру Самон из веселого квартала Симабара, он пустился во все тяжкие, но у него появился соперник, известный в столице богач-меняла. Не прошло и полугода, как повеса спустил все выманенные у вдовы денежки. Верно говорят, что мотовство с достатком не дружит. И впал он в еще большую нищету, чем прежде.

Если кто-то хочет взглянуть на него теперь, ступайте к мосту Бунгобаси в Фусими[192] и спросите монаха-отшельника. Он читает молитвы и заклинания в дни, когда ждут восхода луны или встречают солнце[193], тем и пробавляется. А еще, говорят, он умеет предсказывать судьбу: возьмет у человека именную печатку, подсчитает количество черт и ворожит. Даже вывеску соответствующую изготовил.

Любопытно, какую судьбу нагадал он себе самому?

Пожилой кутила, сгоревший в огне любви

Что ни говорите, смешон тот, кто изображает, будто его с души воротит от дел любовных. С самой эры богов любовь есть высочайшее из доступных человеку наслаждений. Каким образом, вы думаете, появился на свет Конфуций или, скажем, Ванкю? [194]Говорят, что Будда Шакьямуни изволил родиться из подмышки, только люди сейчас не особенно в это верят. Впрочем, в духовных наставниках по-прежнему нет недостатка, но они зачастую совершают службы кое-как, спустя рукава, а от иных и вовсе за версту разит скоромным!

Жил в Столице сливовых цветов[195] купец, сколотивший большое состояние на торговле с Эдо. Всю жизнь он только и знал, что следить за делениями на шкале весов и никаких радостей не изведал. Так дожил он до восьмидесяти шести лет. Своих детей у него не было, поэтому на склоне дней он взял в дом приемного сына, и с тех пор ему не давала покоя мысль, что все его деньги, из которых он и малой толики не потратил на развлечения, перейдут в чужие руки.

И вот купец этот захворал, да так сильно, что казалось, вот-вот помрет. Чем его только ни пользовали, ничто не помогало, – стар уж был чересчур, и в конце концов вместо лекарств стали просто давать ему понемногу рисового отвара в раковине моллюска.

Однажды, когда у постели больного собрались все домочадцы, готовые выполнить любое его приказание, старик приоткрыл глаза и, точно в полусне, произнес:

– Огонь… Хочу видеть огонь…

«Не иначе отходит», – решили домочадцы и, отворив дверцу домашней божницы, зажгли светильник.

– Вот он, свет рая, – сказали они старику. – Скоро ваша душа попадет в этот благословенный край.

– Да нет, – простонал старик, – не о святом огне я толкую. Об огнях, которые зажигают ночью. На них хочу напоследок взглянуть…

Все недоуменно переглянулись. Кто-то спросил:

– Должно быть, вы имеете в виду огни, что зажигают над уличными ларьками во время десятинощных служб?[196]

– Нет. Огни в квартале Симмати[197], – ответил умирающий и, подозвав к себе приемного сына, прошептал: – Горько сознавать, что я ни разу в жизни не видел дзёро. Посмотреть бы хоть под конец, как они выглядят. Тогда можно будет и умереть спокойно.

Сын отправился в дом свиданий и тихонько рассказал о желании старика.

– Ну что же, – ответили ему, – любой человек может купить дзёро за деньги, так что не стесняйтесь, привозите своего батюшку.

Сын усадил старика в паланкин и бережно доставил в Симмати. В доме свиданий к старику тотчас вызвали самых лучших гетер – таю. Когда принесли сакэ и закуски, он оживился и сказал:

– Услуги этих красавиц я оплачиваю на месяц вперед. Буду выздоравливать здесь. – С этими словами – и кто только его научил? – старик вынул из-за пазухи то, чего люди жаждут больше всего на свете, и дал каждой женщине по пять или шесть золотых.

При виде такой щедрости все в доме свиданий радостно потирали руки: «Пожилой господин решил оставить по себе добрую память!» С тех пор его называли не иначе как «неслыханным богачом» и «благодетелем».

Спустя четыре-пять дней старик настолько разошелся, что пожелал возлечь на ложе с одной из таю. Нельзя сказать, что женщина очень этому обрадовалась, но ничего не поделаешь, пришлось, зажмурив глаза, подчиниться. Увы! – как ни старался старик, достичь цели не смог. Заплакав от досады, он с горечью произнес:

– Будь я лет на тридцать моложе, не отступил бы с позором. Может, есть где-то в лавке поблизости лекарство от старости? За одну пилюлю я готов заплатить тысячу каммэ!

Жаль старика, но всему на свете есть свой срок. Развлекаться в веселых кварталах следует до сорока лет, заводить тяжбы – до пятидесяти. А потом остается лишь ходить по храмам и думать о спасении души.

– Эх, прожить бы мне еще два-три года, – сказал как-то старик, – встретить здесь Новый год и праздник Бон[198], полюбоваться на ваши знаменитые пляски!

– Правильно! – рассмеялись таю. – Заберете их с собой на память, когда надумаете отойти в мир иной!

– А что, – согласился старик, – пожалуй, я останусь здесь до последнего часа. А когда умру, вы и отслужите по мне панихиду. То-то будет о чем вспоминать на том свете! – С этими словами он попросил одну из гетер приготовить лекарственный отвар, и хотя чашечка этого отвара обошлась ему не меньше чем в шестнадцать моммэ[199] серебром, старик и глазом не моргнул: даже болеть в веселом квартале было для него ни с чем не сравнимым удовольствием. Все о нем заботились, исполняли любую его прихоть – ведь за каждый день, проведенный здесь, он щедро платил.

Однако всякий человек смертен, и спустя какое-то время старик скончался. Хотя все к этому шло, куртизанки сильно горевали и искренне его оплакивали. В ту же ночь тело покойного предали огню в Дотомбори, а наутро даже пыли и пепла от него не осталось, к вечеру же и говорить о нем перестали.

Из сборника «Сопоставление дел под сенью сакуры в нашей стране»

Женщина, повергшая в слезы соловья

В давние времена жил в столице на улице Сэмбон-дори некий ронин, происходивший из знаменитого самурайского рода. Отлично владея воинскими искусствами, он к тому же слыл несравненным певцом, и его охотно принимали во многих знатных домах. Так он и существовал, ублажая своим пением сановных вельмож.

Однажды ронина пригласили во дворец одной высочайшей особы, где в тот вечер проводилось первое в году пение утаи. Там он заночевал, а когда на заре вышел в сад полюбоваться сливовыми деревьями, то увидел, что цветы на них распустились раньше обычного. Но еще больше пленило его пение соловьев. Особенно голосист был один, сидевший на верхней ветке ивы, – он отчетливо выводил свою звонкую трель, рассыпаясь всеми оттенками звуков. По словам хозяина дома, эта необыкновенная птица прилетала сюда каждый день. Как славно было бы ее приручить!

– Ваше желание нетрудно исполнить, – молвил ронин. – В западной стороне столицы живет искусный птицелов, мой добрый приятель.

Услышав об этом, хозяин чрезвычайно обрадовался такой удаче: как говорится, не успел подумать о переправе, а лодка уже тут как тут. Ронин сбегал за птицеловом, и тот сноровисто снял соловья с дерева, за что удостоился всяческих похвал и щедрых даров. С тем он и отправился восвояси.

На следующий день ронин зашел к приятелю, чтобы поблагодарить его за услугу, но из дома выбежала заплаканная жена птицелова и вцепилась в него с криком:

– Куда вы увели моего мужа? Его до сих пор нет!

– Ничего не понимаю, – удивился ронин. – Он должен был вернуться еще вчера вечером.

– Только вы знаете, где мой муж. Немедленно верните его! – не унималась женщина.

На ее крик сбежались соседи. Не разобравшись, что к чему, они сразу взяли сторону жены птицелова:

– Сосед ушел с вами. А раз его до сих пор нет, с кого же спрашивать, как не с вас?!

Против этого было трудно что-либо возразить, и ронину пришлось сказать, что они были во дворце одной высочайшей особы, но женщина ему не поверила и подала на него жалобу столичному градоначальнику[200].

Его высокородие вызвал ронина и учинил ему допрос, в ходе которого потребовал указать, к кому именно он отвел птицелова накануне его исчезновения. Однако в ронине взыграл дух самурая, и он отвечал:

– Ни к кому. Мы весь день проговорили в моем доме.

Казалось бы, чего проще было сказать правду, но ронин этого не сделал.

– Странно, – молвил градоначальник. – Недавно в присутствии соседей потерпевшей вы упомянули о какой-то высокопоставленной особе.

Но ронин и тут не открыл высочайшего имени. Это показалось градоначальнику подозрительным, и он вновь обратился к ронину:

– Стало быть, вина лежит на вас, однако признаться добровольно вы не желаете. Придется подвергнуть вас пытке.

Побледнев, ронин произнес:

– К чему таиться? Это я убил птицелова.

Тут женщина возопила:

– И как только земля носит таких злодеев! А еще прикидывался другом моему мужу! Из ненависти ли он совершил убийство или из алчности, ему не может быть прощения!

Утихомирив женщину, градоначальник спросил ронина:

– Где находится труп? – на что тот в полной невозмутимости отвечал:

– Сие мне неизвестно.

– Зачем же тогда вы признались в убийстве?

– Но ведь ваше высокородие пригрозили мне пыткой, если не признаюсь. А для самурая это бесчестье, которого не смыть во веки веков.

Так ответил ронин и был отпущен за недоказанностью вины. До окончания следствия его поместили под надзор чиновников из городской управы и даже вернули ему оба меча – большой и

малый[201], так что для него все обошлось благополучно. Градоначальник приказал своим подчиненным разыскать птицелова, после чего разбирательство дела должно было возобновиться.

Люди разбились на группы и немедленно приступили к поискам. Вскоре градоначальнику доложили:

– Окровавленный труп птицелова обнаружен за чертой города, на дороге Такэда.

В назначенный день потерпевшая вновь явилась в управу.

– Итак, по всей видимости, убийство птицелова – дело рук какого-то разбойника, – произнес градоначальник. – Покойного следует немедленно похоронить. Возмущение потерпевшей против подозреваемого вполне объяснимо, ведь он был другом ее семьи. Однако никаких оснований привлекать его к ответственности у меня нет. Полагаю, заупокойная служба поможет вдове смириться перед обстоятельствами. Насколько мне известно, детей у нее нет, а теперь она лишилась и супруга. Приношу ей свои соболезнования и надеюсь, что соседи не оставят ее своим вниманием и будут оказывать ей посильную поддержку и помощь.

Эти сочувственные слова тронули до слез не только вдову, но и всех находившихся в зале.

– Послезавтра, девятнадцатого числа, – продолжал градоначальник, – состоится поминальный молебен в честь моего покойного отца. По этому случаю я хотел бы передать вдове небольшую толику денег на погребение мужа. Пусть за ними придет кто-нибудь из ее родных или особо близких людей.

Женщина от души поблагодарила градоначальника, и на том все разошлись.

И вот ранним утром девятнадцатого числа в управу явился мужчина лет двадцати пяти и сказал, что пришел за деньгами. Когда о нем доложили градоначальнику, тот призвал его к себе и спросил:

– Кем вы доводитесь вдове птицелова?

– Я знакомый ее покойного мужа, – отвечал мужчина, – поэтому она и попросила меня об услуге.

– Не самое близкое родство, чтобы вы сочли себя вправе исполнить это поручение, – сказал градоначальник и учинил ему допрос с пристрастием. В ходе допроса выяснилось, что мужчина состоял в любовной связи с женой птицелова и по сговору с ней

совершил это убийство. Его признали виновным и приговорили к смертной казни.

Тень разрешает все сомнения

В старину жил в столице некий торговец лесом. Дом себе он построил с таким расчетом, чтобы не чувствовать в нем летнего зноя, и на одни стрехи извел столько кедрового дерева, что впору было задуматься о судьбе лесов на горе Кисояма[202].

Как сосна с молодой зелени тянется вверх, чая превратиться в могучее дерево, так и этот торговец с молодых ногтей заботился о процветании своего дела. Считается, что сосна живет тысячу лет, – видно, наш торговец надеялся прожить не меньше, ибо заготовил такую уйму всякой древесины, что хватило бы и правнукам его, и праправнукам. Даже когда ему перевалило за восемьдесят, он не хотел передавать хозяйство сыну и находил особое удовольствие в том, чтобы под Новый год подсчитывать свои барыши.

– Подумать только, – судачили о нем люди, – голова седая, на лбу волнами вздымаются морщины, спина скрючена, точно горбатый мост, а он все хлопочет, как будто иначе ему пришлось бы голодать. Умри он сейчас – сразу же угодит в адову огненную колесницу!

Пересуды эти в конце концов дошли до старика, и вот однажды, услышав бой барабана, возвещающий о начале богослужения, он словно очнулся и отправился в храм.

– Смотрите-ка, видать, все же вспомнил о загробном блаженстве, – потешались над ним.

Однако старик, похоже, всерьез задумался о спасении души и стал изо дня в день предаваться посту и молитве. Что же в этом плохого? Теперешняя его жизнь отличалась от прежней, как небо от земли или как облака от грязи под ногами. Все свое состояние в тысячу каммэ серебром он разложил по ящичкам и вручил сыну, сам же ушел на покой, избрав для уединения тихое местечко в Окадзаки[203] и построив себе скромное жилище из хорошего дерева – уж в этом деле он знал толк! – с откидными оконцами под крышей. Из дома открывался чудесный вид на горы. Старик не переставал радоваться, что проведет остаток дней в этом живописном уголке, и сокрушался лишь о том, что не удалился на покой раньше. Одиночество не

особенно его тяготило – двадцать лет назад он похоронил жену и за эти годы вполне свыкся с участью вдовца.

Сын старика был человеком богатым и без труда выполнял свой долг перед родителем. Что ни день, посылал отцу какое-нибудь лакомство и приставил к нему четырех или пятерых прехорошеньких служанок, чтобы было кому подать ему чай. Однако старик старался не обременять прислугу и даже постель стелил себе сам. Словом, вел жизнь монашескую, даром что не носил черной рясы. Глядя на хозяина, и вся челядь поневоле потянулась к благочестию.

Жила в доме старика стряпуха, неказистая на вид. Так вот, у этой стряпухи вдруг подозрительно округлился животик. Заметив это, прочие слуги стали ее осуждать и поддразнивать, а иные даже косо поглядывали на хозяина, – вот, дескать, старый греховодник! Но старик решительно отметал все подозрения и утверждал, что он тут ни при чем. В итоге стряпуха была с позором изгнана из дому, а когда подошел срок, благополучно разрешилась от бремени на постоялом дворе. Родила она мальчика и берегла его пуще зеницы ока.

Как только миновал период погружения в скверну[204], стряпуха с младенцем на руках явилась к своему бывшему хозяину, но ее даже на порог не пустили. Вне себя от обиды, женщина побежала к наместнику сёгуна[205] и подала жалобу. Наместник вызвал к себе старика, однако тот на все его вопросы отвечал, что знать ничего не знает и ведать не ведает. Тогда наместник велел обоим явиться к нему на следующий день, утром четырнадцатого числа.

С раннего утра у ворот его приемной собралась целая толпа любопытных. Когда прибыли истица и ответчик, наместник сёгуна произнес:

– Подобное случалось и в Китае. Как известно, ребенок, родившийся от отца, которому больше восьмидесяти лет, не отбрасывает на солнце тени. Если ваш младенец не отбросит тени, можно не сомневаться, что ответчик – его отец.

Малыша усадили на залитой солнцем площадке – и что же? Он не отбросил тени.

Старику стало невозможно отпираться, и он сказал:

– Да, это мой ребенок. Признаю. А скрывал я это потому, что было совестно перед людьми.

Женщина попросила наместника сёгуна решить вопрос о будущем ребенка, но тот ответил:

– Такие дети, как правило, живут не более ста дней. Если же вашему сыну суждено прожить дольше, вам придется подать повторную жалобу.

Выслушав решение наместника сёгуна, все удалились.

После этого в старике вдруг проснулось отцовское чувство, и он целыми днями ласкал свое чадо. Однако вскоре мальчик стал чахнуть и, как предсказывал наместник сёгуна, на девяносто седьмой день умер.

Приснившийся Будда

В давние времена жил в столице один ремесленник, часовых дел мастер, и видел он сны поистине необыкновенные.

Однажды под звон своих часов[206] он пробудился от сна бренного мира и устремил помыслы свои к загробному блаженству. С тех пор все в округе стали величать его не иначе как Сякаэмоном[207]. Вдобавок волосы у него были от природы курчавые[208], и это тем более оправдывало данное ему прозвище.

Долгие годы проживал он в наемном домике в южной части квартала Карасума, домовладелец же был последователем секты Икко, а потому не соблюдал постов[209] и вообще слыл отчаянным кощунником. Даже двадцать восьмого числа одиннадцатой луны, в день очищения и поста по случаю годовщины смерти святого Синрана[210], он либо отправлялся в гости к приятелям, таким же нечестивцам, как он сам, либо устраивал у себя дома пирушку и угощал всех сугияки[211].

Как-то раз домовладелец позвал к себе человек пять гостей. Вдруг бывший в их числе Сякаэмон смиренно потупился и сказал:

– Уже пятьдесят ночей кряду мне снится один и тот же удивительный сон, будто под вашей спальней закопана статуэтка Будды из чистого золота величиной около девяти сунов. Изваяна она самим Кобо Дайси[212]. Приблизившись к моему изголовью, Будда озарил меня своим золотым сиянием и молвил: «Знаю я, что вера твоя крепка, и ради грядущего блаженства ты должен выкопать меня из земли. Сделав это, ты спасешь весь род человеческий, избавишь всех страждущих от бесчисленных тяжких недугов». Вот какое было мне откровение. И выглядело все так, словно происходило не во сне, а наяву. Позвольте мне сегодня же начать раскопку, ибо не меня одного желает Будда одарить своей милостью, а весь род человеческий. Что же до плотников и носильщиков, то платить им за труды буду я.

Но для хозяина слова о Будде и его откровении были не более чем пустым звуком.

– Если бы сны сбывались, – рассмеялся он, ударив в ладоши, – я сам выложил бы тысячу золотых, лишь бы увидеть этого Будду.

Тут в разговор вступил один из гостей, человек с виду разумный:

– А по-моему, к словам вашего постояльца стоит прислушаться, – сказал он хозяину. – Отчего не позволить ему копать, тем более что все расходы он берет на себя?

Хозяин согласился, и вскоре вся мебель и утварь была вынесена во двор, деревянный настил подняли, в дело пошли заступы и мотыги. К вечеру вырыли яму глубиной в целых пять сяку, но никакой статуэтки Будды не обнаружили. Нашли только чайник с отбитым носиком, обгорелую головешку да раковину от моллюска. Яму снова забросали землей, настроение у всех было испорчено.

– А ведь я заранее знал, что так и будет! – в гневе воскликнул домовладелец. Сякаэмон же понуро побрел к себе, не пытаясь оправдаться.

Однако на следующий день он снова явился к домовладельцу и сказал:

– Нынешней ночью мне опять привиделся Будда, и я получил от него новое откровение: «Чтобы обнаружить меня, следовало копать ближе к юго-восточному углу и на два-три суна глубже. Жаль, что вам недостало терпения. Впредь копайте усердней!» Так велел Будда, поэтому дозвольте мне еще раз попробовать.

Хозяин опять согласился, и, когда вырыли яму, в ней и вправду оказалась фигурка Будды. Все исполнились благоговения, отмыли статуэтку от земли, и она засияла тусклым золотом. «И впрямь фигурка старинной работы», – подумал домовладелец и, обуянный жадностью, вскричал:

– Эта вещь моя!

Сякаэмон возмутился:

– Как же так? Я принял на себя все расходы, значит, Будда по праву принадлежит мне.

– Ничего подобного! – стоял на своем домовладелец. – Вы хотели копать под моим домом, и я пошел вам навстречу. Но чтобы отдать Будду вам, такого уговора меж нами не было!

Долго еще они препирались между собой и в конце концов обратились к столичному градоначальнику.

Выслушав обоих, градоначальник велел им наложить на фигурку свои печати и оставил ее у себя на три дня. За это время он собрал

златокузнецов со всего Киото и попросил их определить, как долго пролежала фигурка в земле.

– От силы лет пять или шесть, – ответили ремесленники, тщательно осмотрев золотую статуэтку.

Тогда градоначальник вызвал к себе Сякаэмона и домовладельца, а также пятерых городских старейшин и у этих последних спросил:

– Как давно был построен дом, под которым выкопана эта фигурка?

– Лет сорок назад, а то и больше, – был ответ.

– Итак, мы видим, что благочестие ваше показное, – обратился градоначальник к Сякаэмону. – На самом деле вы плут и негодяй. Вы рассчитали все заранее и, когда под домом вырыли яму, закопали в нее фигурку Будды, чтобы на следующий день ее там обнаружили и о вас пошла молва по всей столице. Не иначе вы действовали в сговоре с каким-нибудь продажным бонзой и задумали эту хитрость, желая нажиться на чувствах верующих. Сознавайтесь и не вздумайте лгать, – ведь я могу проверить каждое ваше слово!

Испугавшись, Сякаэмон не стал запираться. Он полностью признал свою вину и подтвердил, что на это преступление его толкнула нужда.

– От подобных мошенников, – заключил градоначальник, – людям один лишь вред. В особенности же непростительно то, что, преследуя свои корыстные цели, злоумышленник посягнул на святыню. За такое преступление полагается смертная казнь, но, поскольку он покамест еще не успел воспользоваться плодами своего обмана, я сохраню ему жизнь. В наказание же он должен взвалить на плечо мотыгу с привязанной к ее рукояти статуэткой Будды, взять в руку табличку с описанием его вины и три дня в таком виде ходить по городу. Пусть все узнают цену его благочестию! После этого он будет навсегда изгнан из столицы. Что же до владельца дома, то он ничем не лучше преступника, ибо затеял тяжбу из алчности. В наказание предписываю ему одеться в церемониальный костюм – хакама и катагину, – взять в руку табличку с описанием его вины и вместе с Сякаэмоном ходить по городу.

Так рассудил дело столичный градоначальник.

То, что услышала глухая

В старину на окраине столицы, в Китано, жил некий торговец сакэ, державший вдобавок еще и закладную лавку. За короткое время стал он богачом, дела его пошли в гору и дом оброс челядью.

Среди прочей прислуги жила в доме швея, женщина довольно смазливая. И вот с некоторых пор потянуло ее на недозрелые сливы, и всем стало ясно, что она брюхата.

Сколько ни допытывалась хозяйка, кто отец ребенка, та отказывалась назвать его имя. «Это уже ни на что не похоже!» – возмутилась хозяйка, и дело кончилось тем, что распутнице дали расчет и отправили ее обратно к родителям.

А спустя полгода хозяина внезапно хватил удар. Домочадцы забегали, заголосили, но, как известно, слезами дела не поправишь, и вскоре он скончался.

До чего же горевала его супруга! Детей у них не было, и она осталась на свете одна-одинешенька. Родственники покойного жили далеко, на его родине в Дэве[213]. Пришлось вдове созвать свою родню, чтобы подготовиться к похоронам.

И вот, перед самым выносом тела в дом ворвалась швея с грудным младенцем на руках и, невзирая на всеобщую скорбь, принялась кричать:

– Полюбуйтесь на наследника! Как видите, заботами хозяина он благополучно появился на свет! Вон, спросите старшего приказчика, он расскажет, как было дело.

– Что такое? – воскликнул приказчик. – Я понятия ни о чем не имею.

– Не имеете понятия?! А кто приносил мне от хозяина деньги на воспитание младенца?

– Полно вам, я даже не знаю, где проживают ваши родители!

Тут швея бросилась к приказчику и истошным голосом возопила:

– Да как вы смеете твердить, будто знать ничего не знаете, если вам хорошо известно, что это чадо вашего господина?! Берегитесь, Небо вас покарает!

Захлебываясь слезами, швея с такой силой тормошила приказчика, что с него слетела белая траурная накидка, а со лба упал треугольный венчик[214]. Тут уж всем стало не до похорон, а вздорная женщина побежала подавать жалобу градоначальнику.

Выслушав ее, градоначальник вызвал к себе приказчика и учинил ему допрос:

– Говорите прямо, приходится ли младенец сыном вашему покойному господину?

– Пожалуй, приходится, – отвечал приказчик. – Подробностей я не знаю, но могу засвидетельствовать, что в конце каждого месяца хозяин отправлял меня в Фудзиномори, где проживают родители этой женщины, и передавал для нее по пятидесяти каммэ серебром. Вот все, что мне известно.

– Ни с того ни с сего покойный не стал бы посылать этой женщине деньги, – молвил градоначальник. – Как явствует из показаний истицы, на расспросы хозяйки она не отвечала только потому, что отец ее ребенка – хозяин. В итоге ей пришлось взять всю вину на себя и вернуться к родителям. Что ж, ее слова звучат вполне убедительно. Исходя из этого, постановляю признать младенца сыном и наследником покойного. Мать ребенка отныне считается его кормилицей и пестуньей. Родительские права передаются вдове. Когда она пожелает удалиться на покой, ей будет назначено соответствующее содержание. Родственникам умершего и городским старейшинам вменяется в обязанность ежегодно справляться об имущественном положении семьи. Ведение торговых дел возлагается на главного приказчика. Как только наследник достигнет пятнадцатилетнего возраста, все имущество должно быть передано ему. До тех пор домочадцам следует беспрекословно подчиняться вдове. Если, паче чаяния, у вдовы возникнут сомнения относительно родства ребенка с ее супругом, она должна сообщить мне об этом. Покойного же следует немедленно похоронить.

Повеление градоначальника было в точности исполнено. Младенца назначили наследником, а покойного похоронили по всем правилам.

Несмотря на постигшее ее горе, вдова нет-нет да и предавалась сомнениям: а что, если этот младенец не сын ее мужа? «Долгие годы мы не имели детей, – размышляла она, – и муж с моего согласия брал в

дом миловидных наложниц. Ни одна из них не понесла от него. Так неужели он не поделился бы со мной радостью, если бы все было так, как утверждает швея?»

Эта мысль не давала вдове покоя, и в один прекрасный день она притворилась глухой. Оставив домашние хлопоты, она все свое время проводила подле домашней божницы и тщательно следила за тем, чтобы не выдать себя ненароком.

Незаметно подошел к концу год, наступила весна, и вот в один из дней недели весеннего равноденствия, в годовщину смерти хозяина, семья покойного вместе со всеми домочадцами отправилась на храмовое кладбище, чтобы возложить на могилу цветы и возжечь благовония. Склонив голову перед надгробьем, вдова вспомнила прошлое и прослезилась, а потом взяла малыша за руку и молвила:

– Под этим камнем лежит твой папочка. Не пожалей же водицы, напои его вдоволь.

Слова вдовы позабавили швею.

– Твой папочка, – сказала она сыну, переглянувшись с приказчиком, – стоит перед тобой в полосатой накидке, живой и здоровый. А ну-ка спроси эту глухую каргу: что за чепуху вы несете?!

«Глухая», разумеется, все это слышала и на следующий день спозаранку отправилась к столичному градоначальнику.

– Мне нисколько не жаль ни денег, ни богатства, и печалюсь я совсем о другом, – начала она. – Моему покойному супругу было бы горько узнать, что наследником его стал чужой ребенок. – И женщина поведала об услышанном накануне.

Градоначальник послал за швеей и приказчиком.

– Отвечайте, – обратился он к швее, – почему вы назвали приказчика отцом вашего ребенка? Вдова утверждает, что слышала это вчера из ваших уст на могиле ее мужа.

– Что за вздор! – вскричали в один голос швея и приказчик. – Все это заведомая ложь! Не иначе вдова, сговорившись со своей родней, решила нас опорочить, чтобы прибрать наследство к своим рукам. Оно и понятно – распоряжаться денежками по собственному усмотрению куда приятнее! Однако ж не только нам, но всему околотку известно, что в прошлом году, то ли в четвертом, то ли в пятом месяце, она оглохла. Какими только лекарствами ее ни лечили, одних глиняных тарелок Будде-целителю больше тысячи штук снесли[215] – всё без

толку. Когда надо было ей что-то сказать, записки писали. Как же могло случиться, что она ни с того ни с сего вдруг начала слышать?

Тут вдова рассмеялась.

– Все очень просто, – сказала она. – Не зная иного способа установить истину, я притворилась глухой, хотя и понимала, что обманывать людей – великий грех.

Швея и приказчик залились краской стыда и не смогли вымолвить ни слова в свое оправдание.

Градоначальник отменил свое прежнее решение и приговорил обоих к смертной казни. Вдова именем покойного мужа просила его помиловать преступников, однако он помиловал только швею, но в наказание велел ей надеть на голову глиняную чашу, взять в руки черпак и бамбуковую трубку для разжигания огня в очаге и в этом обличье простой служанки три дня просидеть на мосту у Пятого проспекта, где всегда многолюдно, – пусть все видят нечестивицу, посмевшую бросить тень на своего хозяина! Что же до ребенка, то было решено отдать его на воспитание родителям швеи с тем, чтобы впоследствии он принял монашеский постриг.

Вода из родника – последний дар умершему

В старину к западу от улицы Итидзё-дори в столице мало кто селился. Жили там двое престарелых супругов, с трудом сводя концы с концами. Детей у них не было, и будущее ничего хорошего им не сулило. Вступив в пору, когда и на день вперед загадывать не приходится, они добывали себе пропитание продажей бамбуковых веников, которыми торговали вразнос, ежедневно закупая этот нехитрый товар в Фусими. Со временем, однако, это занятие стало им не под силу, потому что в ногах уже не было прежней крепости, и старики совсем приуныли.

Но жизнь не настолько страшна, чтобы впадать в отчаяние. Позади лачуги стариков стоял заброшенный колодец, из которого выглядывали густые заросли плауна. И вот какой-то любитель искусственных садовых горок[216] решил эту растительность купить. Когда вытащили кусты наружу, разгребли тину и подняли со дна грязь, из земли вдруг забил чистый, холодный источник.

Вскоре известие об этом облетело всю столицу, и к старикам отовсюду потянулись люди за водой, приговаривая: «Вот лучшее лекарство от летнего зноя!» Источник прозвали «дедовым родником», и, получая плату за свою целебную воду, старики забыли про нужду.

К западу от жилища стариков стоял еще один дом. Видя, как благоденствуют соседи, хозяин его решил вырыть колодец на своем участке. Теперь источник забил на новом месте, а в «дедовом роднике» вода иссякла. Лишившись средств к существованию, старики горько сетовали на судьбу и досадовали на соседа, но сделать ничего не могли. А тот без зазрения совести торговал своей родниковой водой, разжигая в стариках зависть и злобу. Стали они думать, как бы отомстить соседу, отвадить людей от его колодца, и в конце концов придумали.

На следующий день, ни свет ни заря, старик напялил на голову красный парик, нацепил маску черта и в этом обличье затаился в зарослях бамбука, выглядывая оттуда всякий раз, когда кто-то приходил за водой. Слух о «чудище» быстро разлетелся по округе, люди испугались и перестали брать воду в этом колодце.

Хозяин колодца не мог понять, в чем дело. «Уж не козни ли это какой-нибудь лисицы или барсука?» [217]– подумал он, сговорился с родственниками и устроил засаду. Как только из зарослей бамбука показалось «чудище», они кинулись на него с палками и забили до смерти – старик даже рта не успел открыть. При этом каждый из них очень гордился собой: шутка ли, оборотня одолели! Но, когда рассвело, они увидели, что никакой это не оборотень, а старик-сосед, и пожалели о содеянном, да что толку?

Охваченная горем старуха обратилась к столичному градоначальнику с просьбой наказать убийц.

Изучив все обстоятельства дела, градоначальник сказал:

– Как бы то ни было, вторгаться в чужие владения в столь причудливом обличье, да еще среди ночи, никому не позволено, поэтому супруг потерпевшей в значительной степени сам повинен в собственной гибели. Ответчик же проявил себя как человек завистливый и алчный, начисто лишенный совести. Отобрать у стариков последние крохи может лишь законченный негодяй, и, хотя по видимости он не крал чужого добра, на деле он ничем не лучше вора. Поскольку покойный лишился жизни из-за воды, похоронить его следует на участке домовладельца, а воду из колодца использовать лишь для приношений на его могилу.

Таково было решение градоначальника. Домовладелец похоронил старика, как было велено, и с тех пор никто уже не брал воды из его колодца.

Стоит лишь набраться терпения – и дело уладится

В старину жила в столице одна сваха. С кем угодно могла она столковаться и потому получила прозвище Толковая. За все годы, что она подвизалась на этом поприще, ни разу не вышло у нее осечки.

Но однажды взялась она сватать некую девицу пятнадцати лет и при этом скрыла от ее родителей возраст жениха, а ему уже перевалило за тридцать пять. И вот, когда семьи жениха и невесты обменялись подарками и дело подошло к свадьбе, отец девицы неожиданно узнал, сколько лет его будущему зятю.

– Жених, что и говорить, человек состоятельный, – заявил он свахе, – только дочку я за него не отдам, ведь он на двадцать лет ее старше.

Жених же, со своей стороны, пригрозил свахе, что, если свадьба расстроится, он этого так не оставит.

Очутившись в столь незавидном положении, сваха подала прошение столичному градоначальнику, чтобы он разрешил этот спор.

Градоначальник вызвал к себе жениха, а также отца девицы, и обратился к последнему с такими словами:

– Если жених в чем-либо виноват перед вами, так и скажите. Из-за одной только разницы в летах я не позволю расстраивать свадьбу. Обмен подарками уже состоялся, и вы обязаны отдать ему дочь.

– Ведя со мною переговоры о свадьбе, – возразил отец, – сваха утаила от меня возраст жениха. Теперь же я знаю, что ему тридцать пять лет, следовательно, между ним и моей дочерью разница в целых двадцать лет. Будь он вдвое старше, это бы еще куда ни шло, а так они явно друг другу не пара, и я желаю вернуть жениху его подарки.

– Ну что ж, – сказал градоначальник, – в таком случае всем придется набраться терпения и подождать пять лет. К тому времени жениху исполнится сорок лет, а его нареченной – двадцать. Таким образом, он станет вдвое старше своей невесты, как того и желает ее отец.

О том, как выбор истину определил

Как-то раз в старину в одном из столичных переулков собрались ребятишки и, смастерив игрушечные колесницы, принялись изображать праздник Гион. Грохот от этих колесниц стоял такой, что было слышно на проезжей улице. И все бы ничего, если бы в руках у оставшихся без присмотра ребятишек не оказался самый настоящий короткий меч. Вот и случилось, что один из них, семилетний мальчуган, заспорив с приятелями из-за места в игре, пустил этот меч в ход и заколол им до смерти своего девятилетнего товарища.

Велико было горе родителей погибшего мальчика, и столь же велик был испуг родителей виновника его гибели. Старейшины квартала попытались уладить дело, сказав родителям погибшего:

– Вам следует явить великодушие и смириться, ведь речь идет о неразумном ребенке. Какой с него спрос?

Но те не уступали и твердили свое:

– Убийца должен понести кару!

Особенно упорствовала мать, вознамерившаяся искать справедливости у столичного градоначальника.

– Не надо этого делать, – уговаривали ее соседи. – Лучше позовите жрецов и монахов, похороните свое чадо, а потом примите постриг и молитесь за упокой его души.

Но родители убитого остались глухи к этим увещаниям и подали жалобу.

– Злоумышленнику всего семь лет, – возразил градоначальник, – и он вряд ли может отвечать за свои поступки.

– Как бы не так! – запротестовал отец истицы. – На то, чтобы убить человека, у него ума хватило! И вообще этот змееныш с самого начала был не таким, как другие дети!

Тогда градоначальник достал из ящичка заводную куклу, а рядом положил золотую монету.

– Предложим завтра мальчику эти вещи на выбор. Если он выберет монету, значит, уже вошел в разум, и тогда мы его казним. Если же отдаст предпочтение кукле – отпустим. Только так мы сможем

установить, виновен он или нет. Ответчики должны явиться завтра вместе со своим сыном. – Выслушав градоначальника, все разошлись.

Родители семилетнего мальчика созвали всю родню и принялись сообща готовить сына к предстоящему испытанию. Раздобыли где-то заводную куклу, точь-в-точь как у судьи, рядом положили золотую монету и принялись стращать ребенка: «Если завтра ты возьмешь денежку, тебя убьют!» В течение вечера повторили это раз сто, да к тому же еще и наутро предостерегли.

Наконец обе стороны явились к градоначальнику. Тот положил перед мальчиком куклу и золотую монету и сказал:

– Возьмешь куклу, останешься жив, возьмешь монету – погибнешь.

И что же? Ребенок взял монету. Родители убитого мальчика повскакали со своих мест и закричали:

– Ну, теперь-то вы видите, ваше высокородие, что перед вами сущий злодей и душегуб?!

Родители мальчика поникли от горя и зарыдали в голос.

Между тем градоначальник сказал:

– Итак, совершенно ясно, что перед нами неразумное дитя. Все вы видели, что мальчуган взял монету, хотя я предупредил его, что в этом случае он погибнет. А разве есть у человека что-либо дороже жизни? Посему постановляю считать этого мальчика невиновным.

Из сборника «Заветные мысли о том, как лучше прожить на свете»

Легче увидеть алые листья клена весной, нежели купить лангуста к Новому году

С давних времен к новогоднему празднику люди устанавливают в своих домах горку Хорай, украшают ее ветками сосны и папоротника. Но если посреди этой зелени не алеет лангуст, праздничное настроение неизбежно омрачается. Бывает, правда, что лангусты сильно дорожают, и тогда в бедных семьях и в домах со скромным достатком Новый год встречают без них.

Или, скажем, несколько лет назад не уродились апельсины дай-дай[218], и их продавали по четыре, а то и по пять бу[219] за штуку, поэтому беднота покупала вместо них плоды померанца. Но они хотя бы по форме и по цвету не особо отличаются от апельсинов. А заменить лангуста простой креветкой – все равно что надеть платье с чужого плеча. Тем не менее многие на это идут – как говорится, по одежке протягивай ножки.

Другое дело – люди богатые, живущие на виду. Кажется, даже ветер обрушивается на их дома с особой силой. Чтобы защититься от дождя, здесь простыми циновками не обойтись, поэтому стены обшивают досками, пропитанными вязкой смолой, и это не назовешь излишней роскошью. Нет для человека большей радости, чем жить вольготно, не отказывая себе ни в еде, ни в одежде. Но ради этого надо постараться да попотеть. Чем бы ни занималась семья из поколения в поколение, если молодой хозяин меняет заведенные отцом порядки, его вряд ли ждет успех. Как ни сметлива нынешняя молодежь, а сплошь да рядом чего-то недодумывает, допускает обидные просчеты. Негоже не прислушиваться к советам старших!

Под Новый год Осака напоминает ярмарку, где можно купить все, что душе угодно. Хотя последние шестьдесят лет отовсюду слышны жалобы, – дескать, торговля идет вяло, – товары в лавках не залеживаются. Взять хотя бы ступку. Казалось бы, купил ее раз – на весь век хватит, да еще и к внукам твоим перейдет, а между тем их делают и продают из года в год, изо дня в день, – того и гляди, весь горный камень переведется. Что же говорить о всяких мелочах: бумажных шлемах для праздника мальчиков, всевозможных

украшениях для встречи Нового года? А грошовые веера, которыми храмы одаривают прихожан, – ведь их убирают с глаз долой, даже не раскрыв коробки. Пустая трата денег, но люди словно не замечают этого. По пышности и великолепию Осака почти не уступает Эдо, здесь тоже люди живут на широкую ногу.

Раз уж без лангуста не украсить горку Хорай, каждый стремится его купить, пусть даже по баснословной цене. Поэтому в предновогодние дни во всех рыбных лавках лангусты идут нарасхват, и достать их не легче, чем какую-нибудь заморскую диковину. Ну, а в самый последний день года даже усов от них уже не сыщешь. Повсюду только и слышно: «Лангуста не найдется?» А ведь это то же самое, что по весне отправиться на поиски алых листьев клена!

В лавке рыботорговца Эра на улице Бинго-мати остался один-единственный лангуст. Торги начинаются с одного моммэ и пяти бу, но даже когда объявляются охотники купить его за четыре моммэ и восемь бу, продавец не желает уступить: нынче этот товар идет на вес золота. Слуга не смеет потратить такие деньги без разрешения и со всех ног мчится домой. Узнав, какую цену заломил торговец, хозяин хмурится.

– Я привык ничего не покупать втридорога, – говорит он. – Плачу всегда наличными и приобретаю все в положенный срок, когда цены самые низкие: дрова – в шестом месяце, хлопок – в восьмом, рис – до того, как начинают гнать сакэ, беленое полотно – после праздника Бон. Один только раз, когда отец умер, я поневоле переплатил бондарю за гроб[220] и до сих пор жалею об этом. Кто сказал, что к Новому году непременно нужен лангуст? Подождем, когда они будут в избытке и пойдут по три медяка за штуку. Тогда купим сразу двух и наверстаем упущенное. Я ничуть не обижусь, если в этот раз Тоситокудзин[221] не почтит нас своим посещением, – уж больно он привередлив! Неужто я стану выкладывать за лангуста такие деньжищи? Да будь он даже в десять раз дешевле, все равно это неслыханная цена!

Но хозяйка с сыном принимаются ему возражать:

– Что подумают о нас люди? Ведь нынче к нам в дом впервые пожалует зять с новогодними поздравлениями. Как можно поставить горку Хорай без лангуста? Ступай, купи его, сколько бы он ни стоил! – приказывают они слуге.

Тот снова отправляется в рыбную лавку, но лангуста уже успел перекупить приказчик оптовика с улицы Имабаси. Торговец запросил с него пять моммэ и восемь бу.

– Лангуст нужен к празднику, так чего ж мелочиться! – воскликнул приказчик, отсчитал названную сумму и сверх того еще двадцать медяков, схватил покупку и был таков.

Долго еще бродит слуга, в каждую рыбную лавку заглядывает, да все без толку. Обойдя несколько кварталов, он лишний раз убеждается в том, как велик город Осака.

Вернувшись домой, слуга рассказывает обо всем хозяевам. Хозяйка раздосадована, а хозяин усмехается:

– Ох, не стал бы я доверять этому оптовику! Видно, вскорости грозит ему разорение. А беднягу, который ссудил его деньгами, по ночам наверняка мучают кошмары. Ну, раз уж вы твердите, что поставить горку Хорай без лангуста нельзя, есть у меня одна придумка, да такая, что нашего лангуста не придется после праздника выкидывать.

Он делает заказ ремесленнику, и тот из алого шелка и картона мастерит превосходного лангуста. Обходится это удовольствие в два моммэ и пять бу.

– После праздника им смогут забавляться ребятишки. Вот что значит смекалка! Вместо четырех моммэ и восьми бу наш лангуст стоит всего два моммэ и пять бу, да к тому же еще и потом пригодится, – гордо изрекает хозяин, и все домочадцы с ним соглашаются:

– У нашего хозяина и впрямь семь пядей во лбу! Недаром он сумел нажить такое состояние!

В самый разгар этих славословий в дом заходит родительница хозяина. Она живет в отдельной пристройке и сама ведет свое хозяйство. Хотя ей минуло уже девяносто два года, глаза у нее видят хорошо и в ногах еще хватает крепости.

– Я слышу, вы рассуждаете о том, как дороги нынче лангусты, – говорит она. – Что ж, с вашей стороны было крайне легкомысленно не подумать об этом загодя. Разве можно этаким образом вести дела? Запомните, в годы, когда праздник начала весны предшествует новогоднему празднику[222], лангусты всегда дороги. Вы же знаете, что лучших лангустов вылавливают в Исэ, а это земля богов, которых чтут

не только во всех тамошних храмах, но и в домах простых людей. Неудивительно, что лангустов требуется несметное множество. Те лангусты, которые ежегодно поступают в Киото и Осаку, – лишь жалкие остатки от жертвоприношений богам. Памятуя об этом, я еще в середине месяца купила двух отличных лангустов, с настоящими, а не приклеенными усами, заплатив за каждого по четыре медяка.

Услышав это, все всплескивают руками:

– Как роскошествует старая госпожа! Купила двух лангустов при том, что ей вполне достаточно одного.

– Я ничего не делаю не подумавши, – произносит старуха. – В конце года принято обмениваться подношениями. Одна знакомая семья обычно приносит мне в подарок пять пучков полевого лопушника или же три, если он мясистый. Нужно чем-то их отдарить, вот я и решила отдать им одного лангуста. Таким образом, за лопушник стоимостью в один моммэ я уплачу всего четыре медяка. На ваше счастье, пока еще от них никто не приходил. Мы, конечно, родня, но счеты между нами должны вестись исправно. Если вам нужен лангуст, берите, но за это вы должны принести мне пять пучков лопушника. Ни на что другое я его обменивать не стану. Поймите, я говорю все это не из жадности, а чтобы поучить вас уму-разуму. В любой праздник, получив от кого-либо подарок, следует хорошенько прикинуть, сколько денег на него потрачено, и в ответ преподнести что-то с виду равноценное, но на самом деле более дешевое. Каждый год, получая в подарок от священника из Исэ бумажный амулет, связку кацуобуси[223], коробочку белил, календарь и пять пучков отборных зеленых водорослей, я подсчитываю их общую стоимость и, если набирается на два моммэ и восемь бу, жертвую храму три моммэ. Таким образом, я переплачиваю два бу, но ведь богиня храма Дайдзингу[224] не должна оставаться внакладе. Так я поступаю уже три десятка лет. Однако с тех пор, как я передала хозяйство вам, вы жертвуете храму целую серебряную монету. Сколь ни велико ваше благочестие, все равно это неразумно. Сама богиня вряд ли одобряет такое расточительство. Не случайно в храмах Исэ для пожертвований предназначаются особые монеты под названием «голубиный глаз»[225]. Один кан этих монет обходится всего в шестьсот монов. Так что сами боги заботятся о том, чтобы, посещая храмы, люди не шли на излишние траты.

Да, деньги правят миром! Из всех богов, почитаемых в ста двадцати храмах Исэ, больше всего пожертвований достается Эбису[226] и Дайкоку[227]. «Та-га – бог долголетия; Сумиёси – покровитель мореплавателей; Идзумо – соединитель судеб; Кагами-но мия заботится о красоте девичьего лица; Санно помыкает двадцатью одним младшим богом; Инари-доно защищает от разорения, он не позволит вашему состоянию выскользнуть из рук, подобно лисьему хвосту»[228], – так чирикают «храмовые воробушки»[229], зазывая паломников.

Всем этим богам люди приносят щедрые пожертвования, ведь каждый жаждет их покровительства. Прочие их собратья преданы забвению. По нынешним временам даже богам не так-то просто разжиться деньгами. Что же говорить о простых смертных?

Поздравительных амулетов, с которыми священники храмов Исэ каждый год обходят верующих, требуется несчетное множество, и за определенную мзду их пишет каллиграф. За одну штуку он получает по медяку и трудится весь год, а поскольку занятие это требует изрядной затраты душевных сил, больше двухсот медяков в день ему никак не заработать. Поздравление гласит: «Да снизойдет вечное спокойствие и процветание на народ, хранимый богами!»

И да поможет ему сие заработать на пропитание!

Мышь на посылках

Жил на свете один человек. Бережлив был до скупости. Тринадцатого числа последнего месяца года, в канун праздника, у него в доме затевали уборку. К этому дню люди покупают бамбук, чтобы его листьями сметать сажу со стен. Но скупец, не желая пускаться в лишние траты, отправлялся в семейный храм и там выпрашивал себе в подарок двенадцать стеблей бамбука – по количеству месяцев в году. После уборки он использовал их для починки крыши, а из веток связывал метелки, ничто у него зря не пропадало.

В прошлом году тринадцатого числа он был занят и вопреки обыкновению отложил уборку на последний день месяца. А когда стал разводить огонь под ванной, что делал только раз в году, в ход пошел всякий мусор, начиная с оберток от рисовых колобков, которыми лакомятся в пятый день пятой луны, и кончая листьями лотоса, сохранившимися с праздника поминовения умерших[230]. Скупец никогда ничего не выбрасывал, каждую мелочь подбирал, приговаривая: «В огне, что ни сунь, сгорит, вода все равно закипит». Уж кто-кто, а он умел во всем соблюсти свою выгоду и строил из себя великого умника.

Во флигеле позади дома жила старуха. Была она родной матерью скупца, а потому скаредности ее уж и вовсе не было предела. Когда во дворе растопили ванну, она бросила в огонь деревянную сандалию и принялась вспоминать былые времена:

– Восемнадцати лет от роду вошла я невесткой в этот дом. Сандалии лежали у меня тогда в сундуке с приданым. С тех пор я и в дождь, и в снег их носила. Пятьдесят три года минуло, а они всё были как новенькие, только подошвы малость пообтесались. Думала я, мне их на весь мой век хватит, да вот беда: одну сандалию утащил проклятый бродячий пес, а от второй, оставшейся, теперь мало проку. Как ни жаль, приходится ее сжечь. – Долго сетовала старуха, а потом еще пуще опечалилась и заплакала. – Жизнь наша мимолетна, как сон. Завтра тому ровно год исполнится. Ох, горе горькое!

Ее причитания услышал сидевший в ванне сосед-лекарь.

– В канун праздника радоваться надо, а вы горюете, – крикнул он ей. – Уж не покойника ли оплакиваете?

– Как ни глупа я, но не стала бы так убиваться из-за чьей-то смерти. А горюю я вот о чем. Год назад первого числа из Сакаи приехала моя младшая сестрица и подарила мне к празднику сверток серебряных монет. Как же я обрадовалась подарку! Положила деньги на полочку эходана[231], но в ту же ночь они пропали. Взять их мог только свой человек, знающий здесь все входы и выходы. Денно и нощно молилась я богам, чтобы вернули мне пропажу, да все без толку. Тогда я позвала монаха-ямабуси[232], и он пообещал: «Ежели во время моей молитвы гохэй[233] на алтаре зашевелятся и священный огонь погаснет, это будет означать, что моя молитва услышана, и в течение семи дней деньги сыщутся».

И верно, посреди молитвы заколыхались гохэй, пламя уменьшилось, а потом и вовсе погасло. «Воистину велика чудодейственная сила богов и будд, и мир наш еще не близится к закату», – подумала я и на радостях пожертвовала этому монаху сто двадцать медных монет, хотя обычно дают им не больше двенадцати.

Семь дней прождала я, но деньги так и не нашлись. Как-то раз я поделилась своим горем с одним человеком, а он и говорит: «Вот незадача! Да вы бросили деньги вдогонку вору! В последнее время среди монахов-ямабуси развелось немало плутов. Установят на жертвеннике какие-то приспособления, и куколки из белой бумаги исполняют танец Тоса[234]. Дело известное – такие фокусы еще раньше показывал жонглер Мацуда. Народ нынче пошел куда как ушлый, а попадается на самые простые уловки. Наверняка этот ваш монах приладил к жертвеннику кувшин с рыбой вьюном. Возглашая молитвы, он время от времени ударял по жертвеннику посохом и булавой[235]. Рыба с перепугу металась в кувшине и задевала о стержень, на котором укреплены гохэй, вот они и шевелились. Не ахти какая хитрость, но человек непосвященный глядит на это с благоговением. Почему погас светильник – тоже понять нетрудно. Видно, этот монах проделал в чаше для масла дырку и внизу поставил сосуд с песком. Песок постепенно впитал все масло, а без него, как известно, светильник гореть не будет».

Услышав это, я поняла, что потерпела двойной ущерб. До сих пор у меня ни одна медная монетка зря не пропадала, а тут вон как просчиталась – ведь деньги-то так и не нашлись. Вот и приходится встречать Новый год не с прибытками, а с убытками. А раз так, ничто в жизни мне больше не мило!

И, не стыдясь людей, старуха снова заголосила. Домочадцы, слышавшие ее стенания, заметно погрустнели. «Этого еще не хватало! Похоже, она подозревает в краже кого-то из нас», – подумали они, и каждый в душе поклялся богам, что его вины в пропаже денег нет.

Закончив уборку, они обыскали весь дом, а когда добрались до крыши, то между балками обнаружили сверток. Развернули его – и что же? – в нем оказались те самые деньги, о которых горевала старуха. Облегченно вздохнув, они сказали:

– Все, что не украдено ворами, рано или поздно находится. Видно, тут не обошлось без мышей. До чего же вредные твари!

Но старуха им не поверила.

– Сдается мне, мыши тут совсем ни при чем, – проворчала она, выбивая пыль из циновки. – Не иначе это проделка какой-нибудь двуногой мыши, так что впредь надо держать ухо востро!

Тут к ней подошел лекарь, только что закончивший купание.

– Подобное случалось и в древности, – сказал он. – Во времена тридцать седьмого государя Котоку[236], в последний день первого года эры Тайка[237], императорскую резиденцию перенесли из Окамото в провинции Ямато в Нагара-но Тоёсаки в Наниве[238]. За императорской семьей последовали и мыши. И вот что любопытно: они уволокли с собой весь свой скарб – вату, чтобы затыкать норки; бумажные тюфяки, чтобы прятаться от коршунов; талисманы против кошек; острые колышки, преграждающие дорогу хорькам; клинья под мышеловки, чтобы они не захлопывались; дощечки для гашения масляных светильников; крючки для перетаскивания кацуобуси. Мало того, они прихватили с собой еще и сушеных моллюсков «морское ушко», головки сушеных анчоусов, а также соломенные мешочки с толченым рисом. И все это они волокли в Наниву, а ведь туда целых два дня пути! От вашей же пристройки до главного дома рукой подать, так неужто они не могли перетащить туда сверток с деньгами?

Вот так, ссылаясь на древние анналы[239], ученый лекарь вразумлял старуху, но та по-прежнему не сдавалась.

– Спору нет, рассуждаете вы разумно, только ежели я чего не видела собственными глазами, того, значит, и не бывает на свете! – твердила она.

Все стали думать, как переубедить старуху, и в конце концов придумали: послали за дрессировщиком мышей Тобэем, который обучался своему ремеслу у самого Нагасаки Мидзуэмона[240]. Тот пришел и объявил:

– Мышка, которую я держу в руках, исполнит все, что я ей прикажу. Сейчас по просьбе одного молодого человека она отнесет любовное послание.

Мышь схватила протянутое ей письмо, огляделась по сторонам и вложила его в рукав кому-то из стоявших поблизости. Затем Тобэй бросил ей медную монетку и велел:

– Пойди купи рисовую лепешку! – Мышь тотчас же убежала и вскоре вернулась с лепешкой.

– Ну, теперь-то вы поверили? – обратились к старухе домочадцы.

– Увидишь такое и поневоле поверишь, что мыши могли утащить деньги. Что ж, подозрения мои рассеялись. Но раз вы терпите в своем доме таких вороватых мышей, извольте выплатить мне проценты с украденных ими денег. Как-никак они пролежали у вас целый год!

В канун праздника старуха не только вернула себе деньги, но еще и получила со своего сквалыги-сына пятнадцать процентов годовых.

– Ну, теперь-то я встречу Новый год с радостью! – воскликнула она, пошла к себе и улеглась спать.

Общество одного моммэ

Когда кто-то разбогатеет, говорят, что ему просто повезло. Пустые слова! На самом деле только смекалка да точный расчет могут обеспечить семье достаток и процветание. Без этого никакой бог удачи и богатства – ни Эбису, ни Дайкоку – не придет человеку на помощь.

К слову сказать, осакские купцы-толстосумы объединились в «Союз Дайкоку». Собираясь каждый месяц, они обсуждают, кого из князей и на каких условиях следует ссужать деньгами, в чем находят для себя куда больший интерес, нежели в пирушках и развлечениях. Для своих встреч они снимают залу в одном из буддийских храмов на улице Икудама-мати или Ситадэра-мати и с утра до вечера обмениваются мнениями. В обществе этом состоят одни старики, чьи дни уже клонятся к закату, но они не помышляют о загробном блаженстве, а думают лишь о том, как огрести побольше барышей и приумножить свое богатство.

Да, в мире нет ничего слаще денег. А чтобы иметь их в достатке, надо жить так: с двадцати пяти лет, пока находишься в расцвете молодости, не зевать, а учиться уму-разуму; с тридцати пяти лет, вступив в пору зрелости, зарабатывать и копить деньги; в пятьдесят лет, набравшись опыта, укрепить основу своего дела, а за год до шестидесяти передать хозяйство старшему сыну и удалиться на блаженный покой. Но некоторые старики, дожив до почтенного возраста, когда самое время ходить по храмам и думать о душе, по-прежнему обременяют себя мирскими заботами, не помышляя ни о Будде, ни о Законе[241]. А между тем любое богатство, даже в десять тысяч каммэ, после их смерти останется в этом бренном мире, с собой они смогут забрать только саван.

Среди стариков, входящих в «Союз Дайкоку», нет ни одного с состоянием меньше двух тысяч каммэ. Между тем несколько лет назад не столь преуспевающие их собратья, поднакопив деньжонок, объединились в «Общество одного моммэ». В него вошло двадцать восемь человек с состоянием в двести, триста, самое большее – в пятьсот каммэ. Постоянного места для ежемесячных собраний у них нет, встречаются они в какой-нибудь харчевне и заказывают себе

угощение на сумму, не превышающую одного моммэ. При этом и пьющие, и непьющие обходятся без сакэ; даже в развлечениях самым главным у них считается умеренность. Оттого и разговоры у них выходят мелочные да скучные. С утра и до захода солнца они советуются между собой, как лучше вести дела, прикидывают, кого из заемщиков можно без особого риска ссудить деньгами, да как сделать, чтобы деньги ни дня не пролеживали втуне.

Состояние свое они нажили, давая деньги в рост. И действительно, по нынешним временам нет предприятия более прибыльного, нежели ростовщичество. Но многие купцы только с виду преуспевают, а на самом деле сидят по уши в долгах. И когда такой вот купец, взявши большую сумму, не может ее вернуть, это приносит огромный убыток заимодавцу. Однако слишком осторожничать и подозревать всех без разбору тоже не дело, – этак и самому недолго прогореть.

– Давайте отныне действовать так, – предложил один из членов «Общества». – Прежде чем ссужать кого-либо деньгами, положим себе за правило обмениваться сведениями о наших заемщиках. Только чур придерживаться уговора и не хитрить друг с другом! Перво-наперво надо составить поименный список всех, кто постоянно обращается к нам за деньгами, и обсудить в подробностях, как на сегодняшний день обстоят их дела.

– Правильно! – откликнулись остальные, а ктото сказал:

– Начнем с такого-то, владельца такой-то лавки в квартале Китабама. Все его имущество, включая недвижимость, можно оценить в семьсот каммэ.

– Заблуждаетесь! Да у него долгов на восемьсот пятьдесят каммэ.

Столь серьезное расхождение в оценках всех встревожило.

– Дело нешуточное! Давайте выслушаем соображения обеих сторон. Для всех нас это важно!

– Я считаю, что этот купец богат, – начал первый, – по следующим причинам. В позапрошлом году, в месяц инея[242], он выдавал свою дочь за купца из города Сакаи, и свадебная процессия с приданым тянулась от Имамии до самых ворот аптекарской лавки «Фудзиномару» на улице Нагамати. Вслед за свадебным поездом шли дюжие, как на подбор, парни и тащили пять ящиков, в каждом из которых было по десять каммэ серебра. Поглядишь на это – точь-в-

точь процессия со священными ковчегами во время Летнего праздника[243]. Помимо дочери, у этого купца есть еще несколько сыновей. «Не будь у него больших денег, вряд ли он дал бы за дочерью пятьдесят каммэ», – подумал я и в третьем месяце прошлого года чуть ли не силком навязал ему в долг двадцать каммэ.

– Какая неприятность! – воскликнул его возражатель. – Из этих двадцати каммэ к вам вернется не более одного каммэ и шестисот моммэ.

Услыхав это, взявший слово первым изменился в лице, и, хотя он держал палочки в руке, еда не шла ему в горло.

– Эк я просчитался, – молвил он, чуть не плача, а ведь всей горькой правды он еще не знал. – Расскажите же, как на самом деле обстоят дела у этого торговца.

– Ну что ж, извольте. Зять этого торговца – мошенник, каких мало. Он настолько нуждается в деньгах, что готов платить ссудный процент наравне с театрами[244], а на таких условиях кто угодно даст ему в долг. Известно ли вам какое-нибудь другое ремесло, помимо театра, которое позволяло бы платить такой процент и при этом оставаться платежеспособным?

Один ящик из-под десяти каммэ вместе со всеми железными причиндалами обходится в три моммэ пять бу, так что всего за семнадцать моммэ и пять бу можно купить пять таких ящиков. А внутрь они напихали камней да черепицы, которых сколько угодно кругом валяется. Как известно, голь на выдумки хитра! Я так думаю, что обе эти семейки втайне сговорились между собой и устроили сие представление, чтобы пустить людям пыль в глаза. Да если бы я, открыв эти ящики, увидел в них настоящие тёгины, все равно не поверил бы своим глазам. В положении этого торговца дать дочери в приданое двести серебряных монет – и то немыслимо. А за вычетом одежды, утвари и прочего он мог бы расщедриться лишь на пять каммэ, не больше.

Будь я на вашем месте, на первых порах, год или два, я ссужал бы этому купцу понемногу, не более двух каммэ. Если бы все обошлось благополучно, в последующие пять-шесть лет эту сумму можно было бы удвоить. Давать же ему сразу двадцать каммэ следовало, лишь окончательно убедившись в его порядочности. Правильно я рассуждаю?

Все дружно закивали головами. Что же до потерпевшего, то он совсем сник и, когда подошло время расходиться по домам, был не в силах подняться на ноги от огорчения.

– До сих пор я ни разу не ошибался в своих расчетах, а тут оплошал, как последний дурачина, – пробормотал он и залился слезами, словно женщина. – Не присоветуете ли мне, как вернуть эти деньги?

На это его мудрый собрат произнес:

– Существует только один надежный способ заполучить эти деньги обратно. Думайте хоть тысячу дней и тысячу ночей, все равно ничего умнее не придумаете. При условии, что от вас последует вознаграждение в виде одной штуки шелка цумуги самого лучшего качества, я, так и быть, посоветую, что нужно сделать.

А тот ему в ответ:

– О чем разговор! Да я в знак благодарности помимо шелка готов поднести вам еще и ваты для набивки одеял. Пожалуйста, научите меня, что делать.

– Прежде всего вам следует покороче сойтись с вашим должником. Теперь уже недалеко до праздника лодок в храме Тэммангу[245]. Это очень кстати. Беседуя с ним, обмолвитесь ненароком, что ваша жена хочет полюбоваться этим красочным зрелищем с помоста на берегу реки. Двадцать пятого числа отправьте ее туда, и пусть она заведет с женой этого купца разговор о всяких домашних делах. Там же наверняка будут и его сыновья. Как только ваша жена увидит второго по старшинству сына, ей следует сразу же рассыпаться в похвалах: «Какие у него умные глаза! Не сочтите за лесть, но этот юноша – точно прекрасный павлин, рожденный в семье коршунов[246]. Его красота сияет подобно драгоценному камню. О, как бы я мечтала видеть вашего сына своим зятем! Только не подумайте, будто я говорю это потому лишь, что пропустила чарочку сакэ. Хвалить собственных детей не принято, и все же замечу, что моя дочь внешностью ничуть не уступает другим. Поскольку она единственное чадо в семье, отец готов дать за ней пятьдесят каммэ серебром. К тому же у меня есть и собственные сбережения – три с половиной сотни золотых рё, а также угловой дом в Нагабори. Даже если продать его по дешевке, за него дадут не меньше двадцати пяти каммэ. Да, я еще не упомянула о нарядах. В сундуке у меня лежат шестьдесят пять кимоно,

новехоньких, ни разу не надеванных. Кроме единственной дочери, мне некому их отдать. Моя дочь и ваш сын составили бы прекрасную пару!» При этом вид у вашей жены должен быть такой, как будто она всерьез забрала это себе в голову.

Так будет сделан первый шаг. После этого время от времени посылайте купцу и его супруге недорогие подарки. Они будут вынуждены отвечать вам тем же, так что внакладе вы не останетесь. Затем выберите подходящий предлог и пригласите их сына к себе. Попросите его помочь вам произвести учет в лавке. Пусть взвешивает монеты на весах, подсчитывает их общее количество, проставляет на них клеймо вашего дома и сносит в кладовую. Хорошо, чтобы этаким образом он потрудился у вас целый день.

Вскоре после этого разыщите кого-нибудь из людей, близких к их семье, и потихоньку пошлите за ним. А когда он придет, скажите:

«Моя жена, уж не знаю почему, вбила себе в голову непременно выдать дочь за их сына. Дело-то неспешное, но при случае спросите у них, как они на это смотрят. Могу сказать только одно: за кого бы мы ни выдали свою дочь, она получит в приданое тысячу серебряных тёгинов».

Когда, по вашим расчетам, эти слова дойдут до купца, пошлите к нему человека и велите передать, что вам срочно занадобились деньги, которые он взял у вас в ссуду. Будучи человеком жадным до богатства, он наверняка что-нибудь придумает, лишь бы их возвратить. Так что можете считать, эти деньги у вас в руках. И никаким другим способом вы их не выцарапаете.

Вот какой совет дал этот дока своему незадачливому собрату. На том все разошлись по домам.

Спустя несколько месяцев, как раз перед новогодним праздником, тот явился к своему мудрому наставнику и, радостно улыбаясь, сказал:

– Душевно вам благодарен. Последовав вашему бесценному совету, я на днях получил свои деньги сполна вместе с процентами. Право же, такой кладезь мудрости, как вы, – находка для нашего «Общества одного моммэ».

И, уже собравшись уходить, добавил:

– Да, помнится, я обещал преподнести вам штуку шелка цумуги. Быть может, на сей раз вы соблаговолите удовольствоваться этим?

При этих словах он разложил перед своим благодетелем штуку дешевой бумажной материи «камико».

– Что же до ваты для набивки одеял, то об этом мы потолкуем после Нового года.

Сказав ему так на прощание, он отправился восвояси.

Дом, где даже соврать нельзя даром

Под Новый год, когда мужчины, «лоб выбрив полумесяцем[247], с прической щегольскою», надевают нарядное платье и выходят на улицу, так и хочется сказать: вот и пришел радостный праздник! А между тем, хоть это и не всегда заметно со стороны, далеко не у всех из них праздничное настроение.

Взять хотя бы вон того незадачливого купца. Перед праздником он оказался в весьма стесненных обстоятельствах и потому решил не отдавать долгов. В последний день года, наспех позавтракав, он накинул хаори[248], заткнул за пояс короткий меч и обратился к жене, которая с утра уже была не в духе, с такими словами:

– В любом деле надобно иметь терпение. Погоди немного, все еще наладится, и ты у меня будешь разъезжать в паланкине, как прежде. А пока возьми немного утятины, что осталась с вечера, приправь ее сакэ и полакомись. Когда нагрянут первые сборщики долгов, отдай им все, что у нас есть, оставь только один кан мелочи для игры в «счастливую веревочку»[249]. А остальным скажи, что денег нет, пусть уходят ни с чем. Ложись в постель и отвернись к стене, чтобы их не видеть.

Наскоро отдав жене такие распоряжения, он вышел из дому. Да разве станут водиться деньги у такого человека? Изо дня в день он торговал себе в убыток и, хотя сам понимал, что так вести дела не подобает, ничего путного придумать не мог. Бедная жена его еще и матерью не стала, а уже успела состариться. Видно, такая уж злая судьба ей выпала.

И вот в канун Нового года, когда каждый медяк на счету, этот купец сунул в мешочек две или три золотые монеты, а также около тридцати моммэ серебром и отправился в чайный домик, где никогда прежде не бывал.

– Похоже, вы еще не расплатились с заимодавцами. Куда ни поглядишь, всюду разбросаны счета, – сказал он хозяйке. – Но в сумме ваши долги, верно, не так уж велики: каких-нибудь два-три кана. Да, в каждом доме свои траты. Мне, к примеру, в одну только мануфактурную лавку пришлось заплатить шесть канов пятьсот моммэ. Жена моя ужас как любит наряжаться, так и норовит меня

разорить. Уж лучше бы мне вовсе с ней развестись и тратить деньги на дзёро, но не тут-то было! В третьем месяце она понесла, и нынче утром – выбрала же времечко! – у нее начались схватки. В доме у нас все делается прямо по пословице: ребенка еще нет, а пеленки уже готовы. И кормилицу привели, и трех или четырех повитух позвали, и монаха-ямабуси пригласили, он уже читает молитву, чтобы непременно родился мальчик. Но этого мало – надобно еще раздобыть «пояс тысячи поколений»[250], раковинку коясугай[251], а также морского конька[252], которого роженицам полагается держать в левой руке. В соседней комнате наш домашний лекарь занят приготовлением зелья, ускоряющего роды. Да, я еще забыл упомянуть о ножках грибов мацутакэ[253]: их заблаговременно заказали, хотя я, признаться, понятия не имею, для чего они нужны. А тут еще явилась теща и всюду сует свой нос. Ну и суматоха у нас сейчас! К счастью, оставаться дома во время родов мне не полагается, вот я и забрел к вам. Конечно, для вас я человек новый, и вы можете заподозрить, что я пришел сюда в надежде скрыться от заимодавцев. Так вот, заявляю с полной ответственностью: в этой округе я никому не задолжал и медяка. Дозвольте мне побыть здесь, покуда не родится ребенок. Я за все расплачусь наличными. Ой, что я вижу? У вас тут на крюке висит совсем невзрачная макрель. Она мне не по вкусу. Вот вам золотая монета, немедленно купите другую!

– Какая радость! – воскликнула женщина, принимая от него подарок. – Я утаю эти деньги от мужа и куплю на них пояс для кимоно, о котором давно мечтаю… Ну, раз уж в конце старого года, – продолжала она с улыбкой, – нас изволил посетить такой щедрый гость, новый год наверняка будет счастливым. Однако такого благородного человека, как вы, не пристало принимать на кухне. Пожалуйте в залу!

– Только глядите, чтобы угощение было отменное, не то, что вы подаете другим! Я ведь ужасный привередник.

Просто смех разбирает при виде того, как хозяйка суетится, подогревая сакэ, налитое из только что откупоренного бочонка. Затем она принимается гадать посетителю.

– Вот уже три раза бросила заколку[254], а выходит все одно: у вас наверняка родится сын!

Так предсказания хозяйки и хвастливые слова гостя сливаются в единый поток хитроумного вранья.

Приятно накануне новогоднего праздника во весь голос затянуть песню, особенно когда тебе подыгрывает на сямисэне[255] куртизанка; это удовольствие можно себе позволить лишь в веселом заведении. «В печали и грусти проходят дни и месяцы жизни моей…» – поется в песенке, и правда, нашему купцу есть от чего печалиться и грустить. Не потому ли этот день кажется ему таким долгим? Обычно он жалел, что время в домах свиданий пролетает незаметно, нынче же – совсем другое дело.

Куртизанка, которую хозяйка вызвала к гостю, напустила на себя празднично-оживленный вид и, хотя радоваться ей было нечему, с улыбкой заговорила:

– Один за другим уходят годы. Как это печально! Прежде я всегда радовалась наступлению Нового года, думала – придет праздник, можно будет поиграть в волан[256]. Но вот мне уже девятнадцать минуло. Скоро зашью разрезы на рукавах, обзаведусь семьей, детишки станут называть меня матушкой. Всего только год осталось мне щеголять в фурисодэ.

Но у гостя, на ее беду, оказалась прекрасная память:

– Помнится, когда я последний раз пировал в заведении «Ханая» в столице, ты тоже говорила, что тебе девятнадцать. Но с тех пор уже, поди, лет двадцать минуло. Выходит, сейчас тебе тридцать девять лет, а ты все строишь из себя молоденькую и ропщешь на судьбу. Твое счастье, что ты не вышла ростом и поэтому выглядишь моложе своих лет.

Будучи выведена на чистую воду, женщина прикусила язычок и взмолилась:

– Ах, простите меня.

Прекратив на этом неуместный разговор о летах, они поладили между собой и сдвинули изголовья.

Но вскоре явилась какая-то старуха, – по всей видимости, мать этой женщины, – тихонько ее окликнула и, о чем-то пошептавшись с нею, с горечью произнесла:

– Вот так-то, доченька. Я пришла, чтобы взглянуть на тебя в последний раз. Из-за того, что мне не хватило каких-то четырнадцати или пятнадцати моммэ, я вынуждена утопиться.

Услыхав это, дочь разрыдалась, поспешно сняла с себя кособэ из дорогого шелка и, завернув его в фуросики[257], отдала матери. Не в силах спокойно смотреть на это, купец подарил старухе золотую монету.

Тем временем в чайный домик заглянули двое юношей, по виду слуги актеров Кабуки[258]. Услышав громкий голос довольного собственным великодушием купца, они без труда его отыскали.

– Так вот где вы прячетесь! – вскричали они. – Мы с утра уже несколько раз к вам наведывались, а вас все нет и нет. Хорошо, хоть здесь застали! – После недолгих препирательств они забрали у купца все деньги, что были при нем, а также хаори, меч и кимоно. – С уплатой остального долга мы, так и быть, подождем до пятого числа, – сказали они напоследок и удалились.

Очутившись в столь щекотливом положении, купец все же попытался выкрутиться.

– Когда тебя так просят о помощи, трудно отказать… Да, в последний день года нельзя отлучаться из дома, – пробормотал он и отправился восвояси.

А все принялись над ним потешаться:

– Ну и дурачина! Другого такого еще поискать надо!

Разумные советы о том, как вести хозяйство с выгодой

Согласно закону о разделе имущества, при женитьбе или замужестве детей надлежит поступать следующим образом. Если у вас, к примеру, имеется состояние в тысячу каммэ, то старшему сыну и наследнику вы отдаете свой дом и четыреста каммэ в придачу; второй сын получает три сотни каммэ и усадьбу; третьему сыну вы вручаете сто каммэ, жените его и отправляете жить к тестю. Если же у вас есть еще и дочь, то вы даете ей в приданое тридцать каммэ и на двадцать каммэ одежды и всякой утвари; при этом лучше всего пристроить ее в семью с меньшим достатком, нежели ваша. В прежние времена на приданое невесте принято было тратить сорок каммэ и сверх того давать за ней десять каммэ наличными. Нынче же деньги прельщают людей больше всего, поэтому неплохо в сундук для одежды класть серебряные тёгины, а сундук для домашней утвари набивать медяками.

Даже если девица настолько дурна собой, что не отважится сесть возле зажженной свечи, приданое в тридцать каммэ сделает ее в глазах жениха прекрасным цветком! Опытный сват из Киото принимается ее расхваливать:

– Что ни говорите, эта девушка – дочь богача и с малых лет жила в холе и довольстве. Личико у ней хоть и скуластое, но приятной округлости. Лоб выпуклый, будто нарочно создан для покрывала кацуги[259]. Ноздри, конечно, великоваты, зато дышит она легко и свободно. Волосы, нет спору, редкие, однако и это имеет свою выгоду: не так жарко летом. Талия, что и говорить, полноты изрядной, но ежели поверх платья надеть длинную парадную накидку свободного покроя, никто и не заметит. А то, что пальцы такие толстые да хваткие, даже хорошо – крепче будет держаться за шею повитухи, когда приспеет время рожать.

Представив таким образом самые заметные изъяны невесты в виде замечательных достоинств, сват продолжает:

– В подобных делах важен расчет. Если тридцать каммэ, которые принесет с собой невеста, вы отдадите в рост надежному человеку, то каждый месяц будете получать по сто восемьдесят моммэ, а на эти

деньги можно прокормить четверых. Решайтесь, ведь, став вашей женой, эта девушка сможет содержать на свои деньги не только себя, но еще и горничную, кухарку и швею, да к тому же будет всячески вам угождать. Из нее получится прекрасная хозяйка, домоседливая, покладистая и благонравная. А если вам захочется взглянуть на хорошенькую женщину, так для этого существуют веселые кварталы, там все до одной красотки. Когда бы вы туда ни заглянули, вечером или среди ночи, – вам всегда скажут: «Добро пожаловать». Проводить там время куда как приятно. Но утром, когда вы соберетесь уходить и вам выставят счет на кругленькую сумму, звон ваших денежек заглушит даже рассветные колокола. А это уже куда как неприятно!

В домах свиданий за маленькую чарочку сакэ берут по четыре бу серебром, а в чайных домах, где принято назначать встречи с мальчиками, чашка риса обходится в восемь бу. Это, конечно, очень дорого, но, как говорится, за горшок, что скоро бьется, втридорога берется, – для подобных заведений это вполне естественно, ведь дело-то у них рискованное. Среди посетителей немало таких плутов, которые норовят удрать, не заплатив по счету. Ни стыда у них нет, ни совести. Отчаявшись взыскать долг с такого человека, хозяин заведения в конце концов махнет на него рукой – мол, плакали мои денежки.

«Чтоб тебе в будущей жизни родиться в мире голодных духов![260] Пусть вся запеченная в винной подливе курятина, вся рыба, поджаренная на дощечках из криптомерии, – всё, что ты уписывал здесь с такой охотой, – сгорит у тебя на глазах! Тогда ты пожалеешь, что не платил по счетам!» Такие проклятия посылает на голову своего должника хозяин, стуча по жаровне щипцами для углей. На его злобном лице нет и следа того умильного выражения, с которым он накануне принимал в подарок от этого посетителя хаори из дорогого шелка.

Уж поверьте мне, в развлечениях нужно знать меру, разгул не доводит до добра. Согласен, семейная жизнь скучновата, но ее можно стерпеть, ведь в своем доме вы полноправный хозяин. Закусив на ночь чем придется: холодным рисом, вареным соевым творогом или вяленой рыбой, – позовете к себе старичка-постояльца и попросите его рассказать о «тыквенной тяжбе», которую в свое время рассудил Итакура-доно[261]. Потом без всякого стеснения уляжетесь в постель и

велите служанке растереть вам ноги. А если вам захочется чаю, жена немедленно его подаст и, пока вы не кончите пить, будет держать чашку, – вам за ней даже и руку протягивать не придется. Для своих домочадцев вы полководец, и, когда вы повелеваете своим войском, никто вам перечить не осмеливается. Стоит ли искать большего счастья?

Зная, что хозяин безотлучно находится дома, приказчики из вашей лавки не посмеют бегать в веселые заведения в Ясака и назначать тайные свидания на постоялых дворах близ Оикэ. Но без дела долго не просидишь, на досуге они будут перечитывать письма от эдоских оптовиков и наверняка обнаружат какое-нибудь свое упущение. Вот и отлично! Подмастерья, которые целыми днями крутят шпагат из ненужной бумаги, в свободное время, стремясь вам угодить, будут читать прописи[262], да так, чтобы было слышно в жилых комнатах; это и для хозяина полезно. Даже слуга Кюсити, который только и мечтает, как бы поскорее завалиться в постель, займется чем-нибудь дельным, – распустит, к примеру, рогожку, в какой доставляют рыбу, и совьет шнур для нанизывания монет. А служанка Такэ, зная, что по утрам у нее все из рук валится, еще с вечера приготовит репу на завтрак. За те часы, что вы дома, швея успеет обрезать столько узелков на шелке из Хино, сколько обычно обрезает за целый день. Кошка и та найдет себе дело: она станет зорким стражем у вас на кухне и, когда вблизи крюка, на котором подвешена рыба, послышится хотя бы малейший шорох, сразу подаст голос и отпугнет мышей. Если за один только вечер, пока вы дома, можно извлечь столько выгоды, то подумайте, каков будет прибыток за целый год! И пусть супруга не совсем вам по нраву, поразмыслив хорошенько, вы поймете, что посещение веселых кварталов – ненужная трата денег, и вас перестанет туда тянуть. Молодому хозяину полезно держать это в уме, тогда из него наверняка выйдет толк.

Так в конце года рассуждал бывалый столичный сват. Если слушать его долгие наставления хотя бы вполуха, все равно что-нибудь да западет в память.

К слову сказать, нынешние женщины с готовностью перенимают все, что видят, и во всем пытаются походить на куртизанок. Жены столичных мануфактурщиков, обращаясь к которым все почтительно говорят «госпожа», наряжаются так, что их можно принять за

куртизанок высшего разряда. Жены купцов, выбившихся из приказчиков, по виду зачастую неотличимы от банщиц. Ну, а женщины с еще меньшим достатком: жены портных или вышивальщиков, ютящиеся в тесных переулках, – выглядят точь-в-точь как потаскушки из чайных домиков. Смешно глядеть, как все они стараются походить на продажных девиц, каждая по своим деньгам! В сущности, обычная женщина не так уж сильно отличается от куртизанки. Только она, как правило, лишена обходительности, докучлива, неуклюжа. Писать красиво не умеет, пить сакэ с подобающим изяществом не обучена, даже песню спеть – и то не может. Одежда на ней сидит нескладно, движения у нее неловкие, и ходит она вперевалку. В постели способна говорить только о ценах на мисо[263] и соль. Салфетки «ханагами» использует по одному листочку – из бережливости. Об алоэ знает лишь, что это лекарство. Все в такой женщине вызывает отвращение. Взгляните хотя бы на ее прическу: будто такая же, как у куртизанки, но только глупец скажет, что эта прическа ей к лицу.

Среди мужчин, позволяющих себе развлекаться с дзёро, не сыскать ни одного простофили. Все они знают, как трудно зарабатывать деньги, и очень неохотно с ними расстаются. Никакая сила не заставит их рассчитаться с долгами или вернуть ссуду, даже если заимодавцы ходят за ними по пятам или – еще того хуже! – грозятся судом. Вместо этого они договариваются о новогодней пирушке с куртизанками в веселом квартале. Обходится это много дороже, чем в обычные дни, но уже тринадцатого числа последнего месяца они загодя оплачивают все счета. Оно и понятно: когда же еще веселиться, как не в праздник? Только неразумное это расточительство!

Некий преуспевающий купец с улицы Карасума, удалившись на покой, дал обоим своим сыновьям по пятьсот каммэ наличными. Младший брат постепенно расширил дело и за короткий срок стал обладателем состояния в две тысячи каммэ, – по крайней мере, так утверждают его родственники. Что же до старшего брата, то уже на исходе четвертого года с тех пор, как в его руки попало наследство, ему пришлось надвинуть на глаза бумажный капюшон и отправиться на улицу торговать пряностями.

«Если бы нынче выдалась лунная ночь, – размышлял он, бродя по городу, – разве рискнул бы я пойти торговать вразнос? А в темноте еще

куда ни шло. Недаром говорят: «Небо не покидает человека в беде!»

Вот так, нищим, встретил он Новый год, а когда, повинуясь привычке, добрел до дороги, ведущей в Тамбу, откуда рукой подать до веселого квартала Симабара, уже стало светать. И вспомнилось ему, как в былые времена приходил он сюда на рассвете и ждал, пока откроются знакомые ворота. Грустно ему стало – и сразу же заторопился он домой.

В нашем мире ничто не вечно – ни жизнь, ни дверные косяки

Многое в жизни пугает нас лишь поначалу, а привыкнешь – и страх проходит.

Дорога, ведущая к веселому кварталу Симабара, самому известному в столице, вьется среди рисовых полей; это та самая «тропа Сюдзяка», о которой поется в модных песенках. Осенью, когда созревает рис, в поле, чтобы уберечь посевы от птиц, ставят пугало, надевают на него старую плетеную шляпу и прилаживают к нему бамбуковую трость. Однако коршуны и вороны, привыкшие изо дня в день видеть широкополые соломенные шляпы с выжженным на них клеймом веселого заведения[264], принимают его за гуляку, в одиночку идущего в Симабару, и не испытывают страха. Обнаглевшие птицы даже садятся ему на шляпу, будто это не пугало, а обыкновенный искатель любовных приключений.

Казалось бы, нет в жизни ничего страшнее встречи со сборщиками долгов. И тем не менее некоторые злостные неплательщики даже в последний день года не считают нужным от них скрываться.

«С давних времен и доныне за неуплату долгов голову с плеч не сносят, – сказал себе один из них. – Добро бы у меня были деньги и я отказывался платить, а тут и рад бы заплатить, да нечем. Эх, если бы все совершалось по моему хотению, у меня в саду сейчас же выросло бы денежное дерево. Только откуда ему взяться? Ведь чего не посадишь, то не вырастет».

Расстелив на солнышке в углу сада старую циновку, он принес из дома поварские палочки и большой кухонный нож и, хорошенько наточив его, заговорил вслух:

– С таким трудом счистил ржавчину с ножа, а в доме нет даже завалящей рыбешки, чтобы им резать. Впрочем, к чему зарекаться? Может, прямо сейчас я выйду из себя, пущу его в ход и зарежусь. Да и то сказать, я уже достаточно пожил, мне пятьдесят шесть лет минуло и с жизнью расставаться не жаль. А толстопузый богач, отгрохавший себе дом на центральной улице, по воле злой судьбы умер совсем

молодым. Если бы он соизволил оплатить мои долги, то я – без обмана – вспорол бы себе живот и отправился к праотцам вместо него. Клянусь пресветлыми божествами Удзигами и Инари!

И он принялся размахивать кухонным ножом, словно одержимый лисицей. Тут на глаза ему попалась чернокрылая цесарка, с квохтаньем разгуливавшая по саду.

– Тебя-то я и возьму в спутники на тот свет! – крикнул он и одним махом отрубил ей голову.

Сборщики долгов, поджидавшие хозяина в кухне, не на шутку перепугались. «С таким сумасбродом лучше не связываться, – решили они. – Чего доброго, придерется к какому-нибудь не так сказанному слову, да и пустит в ход нож». Подойдя к очагу, над которым грелась вода для чая, кто-то из них сказал:

– Да уж, женушке этого вздорного господина не позавидуешь. Тяжкая выпала ей доля. Жаль бедняжку!

С тем они и отправились восвояси.

Недостойная уловка, к которой прибег хозяин, чтобы не расплачиваться с заимодавцами, себя оправдала. Он вмиг уладил свои дела, даже ни перед кем не повинившись.

На его беду, однако, среди сборщиков долгов оказался приказчик из лавки лесоторговца в Хорикаве. Лет ему было восемнадцать, от силы девятнадцать – только-только начал он выбривать волосы на висках. К тому же уродился он щупленьким, точно девушка. Зато духом был крепок. Пока хозяин дома запугивал его собратьев, он спокойно сидел у бамбуковой изгороди и, перебирая четки, повторял про себя молитву. Когда же все разошлись и шум поутих, он обратился к хозяину с такими словами:

– Я вижу, представление окончено. Мне остается только получить с вас долг и откланяться.

– Что?! – возмутился тот. – Люди постарше тебя, и те простили мне долги и ушли, а ты, молокосос, все еще околачиваешься здесь. О каком таком представлении ты говоришь?

– Сегодня у всех дел невпроворот, а вы разыгрываете сцены и морочите людей.

– Как-нибудь обойдусь без твоих поучений!

– А я все равно не уйду, покуда не получу с вас денег.

– Каких еще денег?

– Тех, что вы задолжали и не хотите отдавать.

– Да кто ты такой, чтобы взыскивать с меня долг?

– Уверяю вас, свое дело я знаю. Из всей нашей братии только я один могу стребовать деньги с самых упорных неплательщиков. А их ни много ни мало двадцать семь человек! Вот, загляните в эту тетрадь. Двадцать шесть человек уже заплатили, остались только вы. Пока вы не рассчитаетесь за доски, которые взяли у нас в долг на перестройку дома, они принадлежат нам. Если вы не заплатите сейчас же, я их заберу, и дело с концом.

С этими словами приказчик взял большой деревянный молоток и принялся сбивать дверные косяки. Тут хозяин не выдержал.

– Не допущу такого самоуправства! – вскричал он.

А тот ему в ответ:

– Ваши уловки по нынешним временам устарели. Видно, вы еще не знаете, как сейчас поступает наш брат. Сниму у вас все косяки – и мы в расчете. Такой у нас порядок.

Хозяину ничего не оставалось, как извиниться и вернуть свой долг сполна.

– Теперь, – молвил приказчик, – я могу оставить вас в покое. Но, честно говоря, ваш способ уклоняться от уплаты долгов давно уже вышел из моды. Что толку упрямствовать понапрасну? Вот мой вам совет. Договоритесь заранее со своей женой и в последний день года, как только появятся сборщики долгов, разыграйте с ней ссору. Пусть жена переоденется в уличное кимоно и крикнет вам: «Я готова хоть сейчас уйти из дома, но учтите: это кончится гибелью двух или трех человек, а с такими вещами не шутят! Что? Вы по-прежнему меня гоните? Да я и сама не желаю оставаться в вашем доме. Ноги моей больше здесь не будет!» А вы ей вслед: «Как мне хотелось умереть по-людски, полностью расплатившись с долгами и оставив по себе добрую память! Недаром же говорят: человек смертен, но слава его нетленна. Увы, теперь уже ничего не исправить. Сегодня – последний день моей жизни. О, горе!» При этих словах достаньте какие-нибудь старые бумажки и рвите их – листок за листком – с таким видом, будто уничтожаете важные бумаги. У любого сборщика долгов дрогнет сердце, и он удалится.

– Такое мне и впрямь в голову не приходило. Ну как, жена, воспользуемся этим мудрым советом на следующий год? – сказал

хозяин и обратился к приказчику: – Подумать только, годами вы совсем молоды, а разумом меня превзошли. Спасибо вам за науку. А теперь соблаговолите разделить с нами скромную трапезу.

Хозяйка ощипала убитую цесарку и сварила суп, а когда, накормив и напоив, гостя отправили домой, хозяин сказал жене:

– Ждать до следующего года нам не придется. Как только стемнеет, эти наглецы, сборщики долгов, опять сюда нагрянут.

В тот же вечер супруги разыграли ссору, и все случилось так, как обещал приказчик.

От кого это пошло – неизвестно, но с тех самых пор человека этого стали называть «Сварливцем с улицы Омия».

Золотые сны

«Даже во сне не забывай о делах!» – такое наставление даст вам любой богач. И правда, во сне человек видит то, что больше всего его волнует, оттого сновидения бывают и радостные, и печальные. Но самое досадное, когда во сне находишь оброненные кем-то деньги, ведь наяву такого – увы – не случается. Да и кто по нынешним временам станет терять свои денежки? Люди дорожат ими пуще жизни! Уж какая тьма народу стекается в храм на поминальную службу, присутствие на которой засчитывается за десять тысяч дней богомолья[265], или на праздник Тэмма-мацури[266], а незаметно, чтобы кто-нибудь обронил там хоть один медный грош. Как бы то ни было, деньги водятся лишь у тех, кто зарабатывает их своим трудом.

Жил на свете один бедняк. Трудиться он не желал, а только предавался мечтаниям, как бы в один миг разбогатеть. В свое время, когда он еще обретался в Эдо, ему довелось увидеть в меняльной лавке на улице Суруга-тё целую гору серебряных монет. Это зрелище так его потрясло, что даже по прошествии лет он не мог его позабыть.

Наступил канун Нового года.

– Вот бы мне сейчас эту груду серебра, – вздохнул он, растянувшись на ватном тюфяке. – А еще, помнится, в той лавке на подстилке из оленьей кожи лежали новенькие золотые кобаны, и занимали они ничуть не меньше места, чем я на своем тюфяке.

Размечтавшись, он незаметно уснул.

На следующее утро жена его пробудилась чуть свет и стала думать, где бы раздобыть хоть немного денег для встречи Нового года.

– Похоже, нынешний день не сулит нам ничего хорошего, – горестно проговорила она и выглянула в окно. И вдруг, к своему изумлению, увидела целую груду золотых кобанов, озаренных первыми солнечными лучами.

«Вот так чудо! Вот так везение! Не иначе это небесный дар!» – обрадовалась она и стала тормошить мужа.

– Что случилось? – сонно пробормотал он, и в то же мгновение золотая груда исчезла, словно растаяла.

Женщина только ахнуть успела:

– Какая жалость!

Она рассказала мужу о своем диковинном видении, и тот объяснил:

– С тех пор как я увидал в Эдо груды золота и серебра, эта картина не идет у меня из головы. И днем и ночью я только об этом и думаю. Должно быть, на короткий миг мой сон стал явью, вот тебе и привиделось золото. Будь моя воля, я хоть сейчас отправился бы в Саё-но Накаяму и ударил в «Колокол вечного ада»[267]. Ради того чтобы избавиться от нищеты в этой жизни, я променял бы загробное блаженство на геенну огненную. Куда ни поглядишь, для богачей везде рай, а бедняки маются, словно в аду, даже развести огонь в очаге им нечем. Эх, до чего же печальный у нас конец года!

Дурные помыслы овладели им с такой силой, что, когда он снова задремал, ему привиделось, будто сами бесы-мучители явились за ним в своей грохочущей колеснице и помчали его прямиком в ад.

А жена его еще больше опечалилась и принялась корить мужа:

– Никто на свете не живет до ста лет. Так не глупо ли тешить себя пустыми мечтами? Когда-нибудь, если наша любовь останется неизменной, нам, быть может, и доведется достойно отпраздновать Новый год. Я знаю, ты с горечью думаешь о моей тяжкой доле. Но если все останется по-прежнему, мы – все трое – умрем с голоду. К счастью, меня приглашают кормилицей в один дом, и ради нашего единственного ребенка я вынуждена согласиться. Обещай хорошенько заботиться о дочке, тогда мы еще можем надеяться на что-то в будущем. Покидая нашу крошку, я поступаю жестоко. Прошу тебя, не бросай ее!

И женщина горько заплакала, а муж до того расстроился, что не мог вымолвить ни слова и закрыл глаза, не смея взглянуть жене в лицо.

Как раз в это время в сопровождении какой-то старухи лет шестидесяти в дом вошла посредница по найму прислуги, жившая в окрестностях Сумидзомэ.

– Ну что, ты обдумала мое предложение? – обратилась она к молодой матери. – У тебя хорошие груди, поэтому можешь сразу получить вперед в счет жалованья восемьдесят пять моммэ. Вдобавок хозяин обещает четыре раза в год справлять тебе новую одежду. Скажи за это спасибо. Своей стряпухе, – девица она крепкая и рослая, – он платит всего тридцать два моммэ за полгода, а ведь она не только

готовить, но и ткать полотно умеет! Тебе же предлагают такие выгодные условия лишь потому, что у тебя много молока. Если ты не согласна, у меня на примете есть еще одна женщина, которая живет в верхней части улицы Кёмати, так что решай поскорее. Кормилица нужна уже сегодня.

Молодая женщина не заставила себя ждать с ответом:

– Я на все согласна, лишь бы моя семья не голодала. Не знаю, смогу ли угодить любимому сыночку этого господина, но служить буду преданно.

– В таком случае мы сейчас же туда и отправимся, – сказала посредница и, не удостоив хозяина ни единым словом, сбегала к соседям, взяла у них тушечницу и, заключив с кормилицей договор сроком на год, вручила ей сверток, на котором было написано: «Тридцать семь монет, а всего восемьдесят пять моммэ». Затем она проворно вынула из свертка восемь моммэ и пять бу и сказала:

– Это причитается мне за услуги. Не все ли равно, когда их получать, сейчас или потом? Любой другой на моем месте взял бы с тебя не меньше.

Покончив с делами, посредница стала торопить женщину:

– Ну, госпожа кормилица! Будет тебе прихорашиваться! Пошли!

На глаза у мужа навернулись слезы. С покрасневшим от плача лицом женщина склонилась над маленькой дочкой:

– Прощай, О-Ман! Твоя мама будет теперь жить в доме нового господина. Я приду повидать тебя после новогоднего праздника.

Вся в слезах, она побежала к соседкам попросить их присмотреть за ребенком.

Жестокосердая посредница не преминула заметить:

– Дети и без родителей вырастают. Кому суждено выжить, тот выживет, хоть бей его, хоть секи! Ну, прощайте, хозяин.

С этими словами она вышла из дому. Обе женщины последовали за ней.

Оглянувшись на дом кормилицы, старуха молвила:

– Сперва мой внучок остался без материнского молока, а теперь и эта бедная малышка.

Нисколько не щадя чувств матери, посредница изрекла:

– Ничего не поделаешь. Все беды происходят из-за денег. Да какое нам, в сущности, дело, помрет ее девчонка или нет?

Последний день года был уже на исходе. Покинутый муж предавался горестным раздумьям: «Я унаследовал от отца большое состояние, но не сумел с толком им распорядиться и был вынужден бежать из Эдо. Только благодаря любящей жене мне удалось найти пристанище здесь, в Фусими. И сейчас мы могли бы быть счастливы, встречая новогодний праздник вместе, даже если бы наше угощение состояло из одного чая. А как ждала этого дня моя бедная женушка! Даже купила две пары новых палочек для дзони[268]. Увы, одна пара тут явно лишняя!»

Он схватил палочки и с возгласом: «Теперь они не нужны!» – разломал их и бросил в огонь.

Среди ночи заплакал ребенок, и унять его не было никакой возможности. Хорошо еще, что прибежали соседки и посоветовали сварить кашицу из рисовой муки, добавить к ней сладких тянучек с соком кунжутного листа и покормить ребенка из бамбуковой трубочки. А одна из соседок покачала головой:

– Может, мне только кажется, но прошел всего день, а ребеночек уже вон как осунулся!

– Да уж, – отвечал отец. – Но что тут поделаешь?

В душе его поднялась такая злоба на самою себя, что он швырнул во двор щипцы для углей, которые были у него в руке.

– Вам, хозяин, не позавидуешь, – проговорила одна из женщин. – А вот жене вашей, надо сказать, повезло. Господин, к которому она нанялась, любит хорошеньких. Наша соседка непременно придется ему по вкусу, потому что очень похожа на его покойную супругу, особенно со спины.

Не в силах слушать такое, покинутый муж воскликнул:

– Деньги, которые она получила, лежат нетронутые! Уж лучше умереть от нужды, чем жить в разлуке! – И, схватив сверток с деньгами, выбежал из дому.

Так он вернул жену, и они вместе встретили Новый год. Хоть и в слезах, да вместе!

Даже боги иногда ошибаются

Каждый год в десятом месяце японские боги покидают насиженные места в своих провинциях и собираются в Главном святилище в Идзумо. Там они держат совет о ниспослании народу благополучия, решают, кого из новогодних богов счастья в какую землю направить, спешат вовремя завершить приготовления к празднику.

Получить назначение в Киото, Эдо и Осаку – главные города страны – могут лишь боги, превзошедшие других в добродетели. В Нару и Сакаи тоже отправляются лишь самые достойные, умудренные опытом боги. Немалыми заслугами должны обладать и те из них, кого посылают в Нагасаки, Оцу и Фусими. Нет такого места в стране, будь то призамковый посад, приморский городок, деревушка в горах или цветущее селение, куда не пожаловал бы свой бог счастья. Он не оставит своей милостью ни один малолюдный островок, ни одну убогую лачугу рыбака. Во все дома, где толкут моти[269] и ставят у ворот украшение из веток сосны и бамбука, непременно придет Новый год.

Однако любой из богов норовит оказаться поближе к столице, мало кому хочется встречать новогодний праздник в деревенской глуши. Да и то сказать, если есть выбор, каждый отдаст предпочтение городу.

Дни и месяцы нашей жизни мчатся с быстротой водного потока, годы же подобны волнам, набегающим на берег. Не успеешь оглянуться – и вот уже последний месяц года на исходе.

Жители города Сакаи в провинции Идзуми пекутся о своем благополучии и в хозяйстве рачительны, однако достатком своим не кичатся. Снаружи жилище богача как будто ничем не примечательно – обыкновенный дом с решетчатым фасадом, зато внутри там есть где развернуться. Дела свои богач ведет так, что суммы, записываемые в приходную книгу, год от года увеличиваются и перекрывают все расходы.

Если в его семье растет дочь, то, как только она переболеет оспой, он внимательно к ней присматривается и, убедившись, что

внешностью она нисколько не хуже других и со временем станет девушкой, по нынешним понятиям, достаточно привлекательной, начинает готовить одежду ей в приданое, хотя невесте всего-то пять годочков. Если же девочка нехороша собой и может в невестах засидеться, богач старается скопить побольше денег ей на приданое и, помимо торговли, принимается за ростовщичество. Подобная предусмотрительность необходима, чтобы избежать чрезмерных хлопот во время сватовства.

Богач привык о каждой мелочи думать заблаговременно, и дом его постепенно обрастает пристройками, крыша еще не прохудилась, а он уже меняет дранку, столбы еще крепкие, а он подводит под них каменное основание. Медный желоб на карнизе еще не нуждается в починке, а он из года в год следит за ценами на медь и покупает ее загодя на самых выгодных условиях. Шелковому кимоно ручного тканья, сшитому на каждый день, сноса не будет, потому что движения богача размеренны, степенны. В такой одежде он даже в будни выглядит нарядным, но поступает при этом вполне по-хозяйски. В наследство от отца ему досталась драгоценная утварь для чайной церемонии, которая передается в его семье из поколения в поколение, и, когда он приглашает гостей на чаепитие по случаю проводов старого года, о нем тотчас расходится молва: этот человек отличается изысканным вкусом. А ведь никаких дополнительных затрат для этого не требуется!

Если даже такой богач во всяком деле проявляет бережливость да расчетливость, то о купце с небольшим достатком и говорить не приходится. Вместо подушки он подкладывает под голову счеты и даже во сне не забывает, что близящийся конец года может принести ему либо барыши, либо убытки.

Вместо того чтобы любоваться алыми листьями осенних кленов, он глядит на дешевый красный рис в жернове, воображая, что цвет его ничуть не хуже. Окунями, которых в пору цветения сакуры вылавливают в море прямо у него на глазах, такой купец лакомиться не станет. Он живо смекнет: эта рыбка в большом почете у столичных жителей, так пусть раскошеливаются, – и каждый вечер будет отправлять в Киото большие корзины со свежевыловленными окунями. Даже молодь кефали он выставляет на стол только для гостей, сам ее не ест, отговариваясь тем, что уж очень она отдает

тиной. Жители столицы, окруженной горами, в изобилии едят свежих тунцов, в то время как здесь, неподалеку от моря, люди довольствуются мелкой прибрежной рыбешкой. Недаром в пословице говорится: «Маяк далеко светит, а у самого его основания темно».

В канун Нового года, едва стемнело, один из богов счастья незаметно проник в дом какого-то, как ему показалось, преуспевающего торговца, чтобы в его семье справить праздник. Оглядевшись по сторонам, он увидел, что, хотя полочка эходана и висит на положенном месте, светильники не зажжены и повсюду царит запустение. Но поскольку этот дом он облюбовал для себя сам, покинуть его и искать местечка получше было ему не с руки, к тому же там уже мог оказаться другой бог счастья. Поэтому он решил остаться и посмотреть, как здесь будут встречать Новый год.

Всякий раз, как раздавался стук в дверь, хозяйка вздрагивала от страха и каждому, кто приходил, говорила одно и то же:

– Хозяин еще не вернулся. Какая жалость, что вы опять обеспокоили себя понапрасну!

Незаметно миновала полночь. А едва забрезжил рассвет, у дома купца снова собрались заимодавцы.

– Ну что, вернулся хозяин? – грозно вопрошали они.

Тут вдруг откуда-то примчался приказчик и, насилу переводя дух, затараторил:

– Когда мы были уже на подступах к Скэмацу, на хозяина напали здоровенные верзилы, человек пять или шесть, и с криком: «Давай деньги, если жизнь дорога!» – потащили его в сосновую рощу. Но я сделал вид, что не слышу, и со всех ног побежал домой.

– Как ты мог покинуть в беде своего господина?! Презренный трус! А еще зовешься мужчиной! – воскликнула хозяйка и залилась слезами. При виде ее горя заимодавцы поспешили удалиться.

Тем временем совсем рассвело. Как только непрошеные гости разошлись, слезы на лице у хозяйки сразу высохли. Приказчик вынул из-за пазухи мешочек с деньгами и пробормотал:

– В деревне сейчас тоже дела идут туго. Вот, кое-как удалось наскрести тридцать пять моммэ серебром и шесть сотен монов медяками.

Да, послужишь в доме, где так лихо умеют обманывать, – и сам плутом станешь!

Хозяин все это время сидел, затаившись в углу кладовки, и в который уж раз перечитывал «Повести о карме»[270]. В одной из них рассказывалось о бедном ронине, который жил на почтовой станции Фува в провинции Мино. Впав перед Новым годом в жестокую нищету, он выхватил меч и заколол жену и детей. Дойдя до этого места, самого горестного во всей книге, купец совсем приуныл. «Когда так бедствуешь, остается только одно – умереть», – подумал он и от избытка чувств тихонько заплакал. Но тут до него донесся голос жены:

– Сборщики долгов разошлись!

У хозяина немного отлегло от сердца, и он боязливо выглянул из своего укрытия.

– Этот день стоил мне нескольких лет жизни! – проговорил он и тяжело вздохнул, вспомнив о былом своем благополучии. Затем он отправил приказчика за рисом и дровами, – и это в ту пору, когда в других семьях новогодний пир шел полным ходом. В первый день Нового года в доме купца на стол подали самую будничную еду и лишь наутро второго дня наконец-то приготовили дзони и принесли пожертвования буддам и богам.

– Вот уже лет десять, – оправдывался перед ними хозяин, – как у нас в семье Новый год празднуют на второй день. Поднос для священных приношений совсем старенький, но вы уж не обессудьте.

Однако даже в этот день семье нечем было ужинать.

Уж на что мудрым был бог счастья, но и он не мог предположить, что купец до такой степени беден. Насилу дождавшись окончания праздников, на четвертый день Нового года он выбрался из этого неприютного дома и направился в Имамию к Эбису-доно.

– Ох, и не повезло мне на этот раз, – посетовал бог счастья. – По ошибке я угодил в донельзя захудалый дом, хотя с виду он казался вполне благополучным, и там встречал Новый год.

Выслушав его печальный рассказ, Эбису молвил:

– Вам при вашем опыте не к лицу попадать впросак. Прежде чем остановить свой выбор на каком-либо доме, к нему надобно хорошенько приглядеться. В доме, где двери к празднику не вымыты, где хозяйка заискивает перед прислугой и где края циновок вытерлись от времени, не приходится рассчитывать на хороший прием. Велик город Сакаи, а таких убогих домов там отыщется всего четыре или пять. Вам и впрямь не повезло, коли вы угодили в один из них! А обо

мне славно позаботились купцы из разных провинций, – взгляните, сколько бочонков сакэ и окуней в связках натащили! Подкрепитесь как следует, прежде чем возвращаться в землю Идзумо.

С этими словами Эбису принялся потчевать своего незадачливого собрата, а потом оставил его у себя ненадолго погостить.

Обо всем этом стало известно от одного человека: рано утром в десятый день первой луны он явился на поклон к Эбису-доно и невольно подслушал разговор, который боги вели во внутреннем святилище храма.

Выходит, даже между богами существует неравенство, так что же говорить о нас, людях? А поскольку мы обитаем в суетном мире, где нет ничего постоянного, нам надлежит без устали заботиться о процветании унаследованного от предков дела и трудиться не покладая рук, дабы богу счастья, который посещает нас всего раз в году, не пришлось испытать в нашем доме ни малейшего неудобства!

Посиделки в Наре вокруг кухонного очага

Забавно устроен свет: когда изо дня в день видишь какого-то человека, со временем к нему привыкаешь и поневоле начинаешь его привечать.

Жил в городе Сакаи некий рыботорговец, который уже двадцать пять лет приходил со своим товаром в Нару. Торговал он одними лишь осьминогами, за что и получил прозвище «Хатискэ – продавец осьминогов». Решительно все знали его в лицо, и постепенно у него появились постоянные покупатели, так что он вполне мог прокормить семью из трех человек. И все же ему еще ни разу не удалось скопить к Новому году хотя бы пятьсот лишних медяков. Самая большая роскошь, какую он мог себе позволить в праздник, – это попотчевать своих домочадцев дзони.

Смолоду этот торговец привык жить с расчетом и ничего не делал просто так, за здорово живешь. Даже когда старуха мать просила его купить грелку для рук, он брал с нее плату за хлопоты. А о чужих уж и подавно речи нет. Случись кому-нибудь попросить его сбегать за повитухой, – он с места не двинется, покуда перед ним не поставят чашку политого чаем риса, а ведь в этом деле каждое мгновение на счету. Много на свете корыстников, но такого, как он, нечасто встретишь. Даже отправляясь по поручению молитвенной общины за полотном на саван для умершего собрата, он требовал вознаграждения за услуги. В народе о таких говорят: «И за счет покойника рад поживиться». Но, хотя думал он только о собственной выгоде, разбогатеть ему никак не удавалось. Видно, все-таки есть справедливость небесная.

Осьминога потому и зовут осьминогом, что у него восемь ног. Однако Хатискэ с самого первого своего появления в Наре повадился отрезать у каждого осьминога по ноге. Никто, на его счастье, этого не замечал, и плутовство сходило ему с рук, а отрезанные ноги он сбывал владельцу какой-то харчевни в городке Мацубара. Бывают же на свете такие ловкачи!

И все же недаром сказано: «Семьдесят пять раз сойдет, на семьдесят шестой попадешься!» Рано или поздно любой обман

обнаруживается. Под конец прошлого года Хатискэ совсем обнаглел и стал отрезать у осьминогов уже по две ноги. К счастью для него, в предновогодней суете этого опять никто не замечал. На улице Тэгай его позвали в какой-то дом, обнесенный плетеной бамбуковой оградой, и купили у него двух осьминогов. Хатискэ собрался уже было уходить, но тут хозяин дома, старик с бритой, как у монаха, головой, вдруг отвлекся от игры в го и, подойдя к нему, недоуменно прищурился:

– Что-то у ваших осьминогов подолы коротковаты. – Присмотревшись как следует, он понял, в чем дело. – Интересно, в каких это морях водятся такие недомерки? С самой эры богов ни в одной книге не упоминалось об осьминогах с шестью ногами. Выходит, все это время ты обманывал жителей Нары. Ну погоди, уж теперь-то я запомнил тебя в лицо!

– Нечего меня пугать! – огрызнулся торговец. – Я и сам не стану продавать свой товар таким лентяям, как вы. В последний день года развлекаетесь игрой в го!

Вскоре слух об этом происшествии облетел всю округу. На каждом углу только и судачили, что о «Хатискэ – продавце шестиногов». А поскольку Нара город небольшой, торговец навсегда потерял всех тамошних покупателей. И виною всему была его неуемная жадность.

К слову сказать, в Наре в канун Нового года куда спокойнее, нежели в Киото или Осаке. За купленное в долг люди здесь рассчитываются из тех денег, что имеются у них на руках, а остальное обещают вернуть при первой возможности; заимодавцы верят им на слово и больше не докучают перед праздником. Часам к десяти вечера все жители Нары заканчивают свои дела, и в каждом доме устраиваются новогодние посиделки в кухне. Там загодя устанавливают очаг ирори[271] и застилают земляной пол циновками, на которых рассаживаются все домочадцы, начиная с хозяина и кончая слугами. По местному обычаю, они вместе пекут круглые моти, используя при их разделывании особые бамбуковые кольца, и тут же ими лакомятся. До чего же приятно это зрелище семейного благополучия!

Бедняки, живущие на северных окраинах города, начинают свой праздник посещением дома преподобного Инабы, настоятеля обители Дайдзёин[272]. После этого они обходят весь город, возглашая у

каждого дома: «Богатства вам, хозяева, и всяческого изобилия!» – и всюду им подают рисовые лепешки и медяки. Если присмотреться, они напоминают тех, кого в Осаке зовут «изгоняющими беды»[273].

В первый день Нового года, чуть забрезжит рассвет, улицы оглашаются выкриками торговцев картинками с изображением бога Дайкоку, сидящего на мешках с рисом: «Покупайте мешки счастья, не упустите своего счастья!» На рассвете второго дня раздаются голоса: «Эбису, кому Эбису!» А на третье утро Нового года повсюду слышится: «Кто еще не купил Бисямона[274], подходите скорее!» Так три утра подряд зазывают покупателей продавцы богов счастья.

По существующему в Наре обычаю, в первый день года жители не ходят друг к другу с новогодними поздравлениями, зато отправляются на поклон в святилище Касуга-даймёдзин[275]. Ради этого собирается вся семья вплоть до самых дальних родственников, и чем она многочисленнее, тем больше к ней уважения. Где бы то ни было – богатые и знатные всегда вызывают зависть.

Производители беленого полотна, которым славится Нара, весь год поставляют его столичным мануфактурщикам, а деньги за него получают в конце года. Завершив свои дела в Киото, они в новогоднюю ночь возвращаются домой, в Нару, освещая себе путь факелами. Трудно вообразить, сколько тысяч каммэ стекается в Южную столицу в уплату за полотно. По прибытии в Нару поставщики прячут выручку в кладовую, а после праздников, пятого числа, начинают подсчитывать свои барыши. И так происходит из года в год.

В одной из глухих деревушек Ямато скрывалось четверо нищих ронинов. Отчаявшись раздобыть хоть немного денег для встречи Нового года, они решили напасть на купцов, когда те будут возвращаться в Нару. Но, как оказалось, в сундуках у этих толстосумов лежали огромные деньжищи – у кого тридцать, у кого пятьдесят каммэ, – а вовсе не та мелочь, которая требовалась им на выпивку. Поразмыслив, грабители не стали с ними связываться и отправились к Темному перевалу, чтобы там подкараулить какого-нибудь купчишку, возвращающегося из Осаки. Вскоре они увидели небольшого роста мужичонку с перекинутым через плечо свертком из рогожи.

– Глядите-ка, какой хитрец, – заметил один из грабителей. – Поклажа у него наверняка тяжелая, а он несет ее так, будто она ничего

не весит. Не иначе у него там спрятаны деньги!

Выскочив из засады, они отняли у путника сверток и поспешили скрыться. А тот закричал им вдогонку:

– К завтрашнему дню вам это не пригодится, ей-ей, не пригодится!

И верно, раскрыв сверток, четверо разбойников нашли в нем сушеную икру сельди. Вот те раз!

Ночь, когда хозяева меняются домами

В последний месяц года даже морские волны накатывают на берег Фусими с особой поспешностью. Двадцать девятого числа от тамошней пристани отплывала лодка, совершавшая свой обычный вечерний рейс в Осаку. Пассажиры давно уже сидели на местах и то и дело поторапливали перевозчика: «Отчаливай поскорее! Сколько можно ждать?» Перевозчик понимал, что перед праздником все спешат, и отвечал: «Я и сам знаю, что до Нового года осталось два дня. Сейчас поедем». Наконец он отвязал лодку от причала у моста Кёбаси и сел на весла.

В обычные дни пассажиры без умолку трещат: делятся сплетнями о куртизанках и их обожателях, распевают коута[276] и дзёрури[277], пересказывают потешные истории и прибаутки уличных лицедеев, декламируют отрывки из пьес. Нынче же стоит тишина. Лишь изредка кто-то, словно очнувшись от сна, произнесет слова молитвы или со скорбным видом заметит: «Жизнь и без того коротка, а все ждут не дождутся Нового года – ах, скорее бы! Но ведь это все равно, что торопить собственную смерть…» Остальные сидят мрачные, озабоченные, и хотя никто в лодке не спит, разговор не клеится. Вдруг один из них, по виду приказчик из какой-то лавки, во весь голос затягивает песню нагэбуси[278], выученную в доме свиданий, а в промежутках между куплетами гнусаво мурлычет себе под нос, подражая звукам сямисэна, и самодовольно покачивая в такт головой. До чего же неприятное зрелище!

Между тем лодка приблизилась к Малому мосту Ёдо и стала разворачиваться кормой, чтобы пройти под ним посередке, в том месте, где установлен сигнальный фонарь. Увидев на берегу водяное колесо, кто-то из пассажиров, человек, сразу видно, неглупый, воскликнул:

– Посмотрите на это водяное колесо! Если бы люди точно так же без устали трудились с утра до вечера, в конце года им не пришлось бы подсчитывать свои убытки. А то сидят весь год сложа руки и только перед праздником вскакивают, как ошпаренные, и хватаются за работу. Какой же от этого толк?

Все это он произнес с таким выражением, словно сделал важное открытие. Остальные с готовностью закивали.

– Вы совершенно правы, – поддержал его пассажир, живший в городке Хёго на Гостиничной улице. – Взять, к примеру, меня. Живя возле моря, я мог бы свободно промышлять рыбной ловлей и не знать нужды. Но дело у меня не заладилось, и за последние пятнадцать лет я ни разу не смог из собственных денег заплатить по счетам. В Оцу у меня есть тетка с материнской стороны. Каждый год я выпрашивал у нее семьдесят-восемьдесят моммэ и кое-как выкручивался. Сотни никогда не просил. Но на этот раз, как видно, терпение у нее лопнуло, и она заявила: «Больше не получишь от меня ни гроша». А я привык рассчитывать на теткины деньги, как на свои собственные, и теперь мне не на что встретить праздник.

– А я возил своего младшего брата в Киото, – вступил в разговор его сосед. – Там на Четвертом проспекте живет мой знакомый. Думал, он мне поможет пристроить юнца к труппе. Тогда, получив задаток, я смог бы расплатиться с заимодавцами. Я был уверен, что у братишки незаурядная внешность и со временем из него выйдет знаменитый актер. Каково же было мое разочарование, когда мне объявили, что уши у него маловаты и принять его в ученики нельзя. Оказывается, смазливых мальчуганов повсюду хоть пруд пруди. Каждый день в Киото привозят по двадцать, а то и по тридцать таких мальчиков в возрасте от одиннадцати до тринадцати лет. Посредник шепнул мне по секрету, что среди них даже есть отпрыски благородных семейств – сыновья врачей и ронинов. Видно, туго пришлось в этом году их отцам, раз они чадо свое готовы отдать в лицедеи. С теми, кто прошел отбор, заключают договор сроком на десять лет и назначают им жалованье от одного каммэ медяками до тридцати моммэ серебром. По красоте лица и изысканности манер никто не может сравниться с мальчиками из Камигаты. Вот и приходится нам с братом возвращаться домой несолоно хлебавши. Только на дорогу издержались.

Тут начал свой рассказ третий пассажир:

– В наследство от отца мне досталась мандала[279] кисти самого святого Нитирэна. Несколько лет назад один человек из Удзи упрашивал меня продать эту семейную реликвию, любые деньги предлагал, но мне было жаль с ней расставаться, и я отказался. Нынче же я попал в трудное положение и отправился в Удзи к этому человеку.

Но за это время он успел перейти в секту «Чистой земли» и даже не прикоснулся к свитку. Расчеты мои не оправдались, – уж и не знаю, что теперь делать. Раздобыть деньги мне негде, а без них домой лучше не возвращаться: ничего доброго встреча с кредиторами мне не сулит. Чем ехать в Осаку, направлюсь-ка лучше на святую гору Коя[280]. Вот уж посмеется надо мной Кобо Дайси[281], когда прочтет мои мысли!

Вслед за обладателем драгоценной мандалы заговорил еще один пассажир.

– Я торговый посредник, – сказал он, – и долгие годы поставлял рис в рассрочку товариществу киотоских ткачей. Комиссионных, причитающихся мне за труды, всегда хватало на то, чтобы без лишних хлопот встретить новогодний праздник. Ткачи рассчитывались за рис в конце третьего месяца, причем за каждый мешок платили не по сорок пять моммэ, как на рынке, а по пятьдесят восемь моммэ. До нынешнего года эти условия их устраивали, но теперь они посоветовались между собой и отказались покупать у меня рис. Лучше, дескать, встретить Новый год без риса, чем переплачивать по тринадцать моммэ за мешок. Мне ничего не оставалось, как выгрузить рис в Тобе и с пустыми руками возвращаться восвояси.

Кого из путников ни возьми, все обременены заботами. У каждого наверняка есть дом, а идти туда нельзя. К знакомым тоже не пойдешь, ведь и у них перед праздником хлопот полон рот. День еще можно кое-как скоротать в храме, рассматривая вывешенные там эма[282], но вечером деваться решительно некуда. Разумно поступают иные должники, заводя себе содержанку, чтобы найти у нее убежище в день расплаты с кредиторами. Но такое могут позволить себе лишь те, у кого хотя бы изредка водятся деньги. Бедняку это не по средствам. И все же существует множество способов увильнуть от кредиторов в последний день года.

Как-то раз одному человеку, беспечно распевавшему модные песенки в канун Нового года, сказали:

– Уж если вам даже в этот день петь охота, дела ваши наверняка обстоят наилучшим образом. Прямо зависть берет, глядя на вас!

А тот рассмеялся и говорит:

– Похоже, вы еще не знаете, как провести день накануне Нового года, чтобы и себе польза была, и товарищу. Между тем вот уже несколько лет мы с приятелями в этот день просто меняемся домами и

тем самым начисто избавляем себя от тревог и волнений. Как только являются сборщики долгов, каждый из нас напускает на себя грозный вид и кричит жене друга: «Имейте в виду, ваш муж задолжал мне гораздо больше, чем всем остальным. Кишки из него выпущу, а деньги свои получу!» Незваные гости сразу расходятся, понимая, что на сей раз им ничего не заплатят. Эта уловка – новинка последних лет. Пока еще мало кто о ней слышал, так что нам с успехом удается морочить сборщиков долгов!

Рисовые лепешки в Нагасаки

К последнему дню месяца инея китайские суда покидают порт Нагасаки, и в городе становится тихо и пустынно. Однако за установленный для торговли с иностранцами срок[283] купцы в Нагасаки успевают заработать достаточно, чтобы не знать нужды весь год. И бедный и богатый живут здесь вольготно, каждый в меру своего достатка, и никто не отказывает себе в необходимом. Поскольку все в Нагасаки покупается, как правило, за наличные, в дни уплаты долгов здесь не бывает ни шума, ни суеты. Даже накануне Нового года люди спокойно попивают сакэ, как и в обычное время. Прожить в этом городе легче, чем где бы то ни было еще.

В последний месяц года люди не мечутся здесь взад-вперед, как заведенные. Нет здесь и попрошаек, сэкидзоро, как в Камигате, и о приближении Нового года можно узнать разве что только из календаря. Следуя старинным установлениям, тринадцатого числа последнего месяца года жители Нагасаки прибирают свои жилища, сметают сажу со стен, а закончив уборку, засовывают бамбуковую метелку под стреху, где она и хранится до следующего года.

Рисовые лепешки в каждом доме готовят по-своему, как где заведено. Особенно занятны так называемые «столбовые» лепешки: последнюю порцию сбитого в ступе теста налепливают на главный столб-опору в доме, а в праздник Сагитё[284] пятнадцатого дня первого месяца года тесто снимают со столба и пекут из него лепешки. Вообще, какой из местных обычаев ни возьми, все любопытны. Под Новый год, например, жители Нагасаки прилаживают поперек кухни шест, именуемый «древом счастья», и подвешивают к нему всевозможные съестные припасы для праздника: свежих макрелей, сушеную мелкую рыбешку, насаженных на бамбуковые шпажки вяленых моллюсков, гусей, уток, фазанов, соленых окуней, соленые сардины, водоросли, треску, мясо тунца, лопушник, редьку и многое другое. Любо-дорого смотреть на эту картину домашнего изобилия. В предновогодний вечер на улицу выходят нищенки с разрисованными красной краской лицами. Каждая держит в руках глиняную фигурку Эбису или Дайкоку, а также поднос с рассыпанной на нем крупной

солью. «Прилив начался в той стороне, откуда в наступающем году пожалует бог счастья!» – возглашают они, ходя по домам с новогодними поздравлениями. В этот праздник с особой силой ощущаешь, что Нагасаки – город портовый.

Новогодние подарки по всей стране принято делать весьма скромные, в Нагасаки же и подавно; там подносят друг другу сущие мелочи: мужчинам – дешевые веера, которые идут по одному моммэ за полсотни, женщинам – по щепотке чайного листа в бумажной обертке. Что и говорить, подарки пустячные, но этому обычаю следуют все, и никому не придет в голову обвинить дарящего в скаредности. Свои нравы жители Нагасаки считают лучшими из лучших. «Нет краше места, чем то, где ты живешь», – гласит пословица. Неудивительно, что и приезжие купцы стремятся поскорее завершить свои дела в Нагасаки, чтобы встретить Новый год у себя на родине.

Жил в Киото один купец средней руки. Двадцать лет торговал он шелком-сырцом, закупая его в Нагасаки. На редкость бережливый и расчетливый, он никогда не выезжал из дома, не подкрепившись как следует, в путь готовился основательно и, пока добирался от Киото до Нагасаки, пешком ли, на корабле ли, ни гроша не тратил впустую. Многажды бывал он в Нагасаки, но так ни разу и не заглянул в веселый квартал Маруяма, а потому не имел ни малейшего представления о том, сколь пленительна гетера Киндзан, когда садится перед гостем, и сколь бела шея у красотки Катё. Даже ложась спать, он не забывал класть у изголовья счеты и не выпускал из рук расходной тетради. Об одном день и ночь помышлял: как бы обставить какого-нибудь китайского купца-простофилю да половчее провернуть сделку. Однако по нынешним временам обвести вокруг пальца китайского торговца не так-то просто: все они теперь знают по-японски и шустры весьма. Денег у них в избытке, а взаймы не дают, разве что под залог усадьбы, да и то неохотно: они знают, что куда выгодней пустить деньги на покупку дома и сдавать его внаем. Словом, на них руки особо не нагреешь. Но как ни сметливы китайцы, на легкую наживу им тоже рассчитывать не приходится, ведь и японских торговцев на мякине не проведешь.

Если бы одной смекалки было достаточно, наш купец давно бы уже разбогател, но в торговом деле потребна еще и удача, а она-то как раз обходила его стороной. Между тем многие его сотоварищи успели

сколотить себе огромные состояния, хотя стали наезжать в Нагасаки в одно время с ним. Теперь они посылают туда своих приказчиков, а сами предпочитают оставаться в столице, осматривая достопримечательности, любуясь вишнями в цвету или пируя с красавицами в веселых домах.

Как-то раз он спросил одного из этих счастливчиков: «Каким образом вам удалось разбогатеть?» И тот ответил: «В торговле нужна хватка. Я внимательно слежу за колебаниями цен на рынке и, если вижу, что в следующем году шелк, по всем вероятиям, поднимется в цене, закупаю сразу большую партию, а потом денежки сами плывут ко мне в руки. Тут, конечно, есть определенный риск, но не рискнешь – не разбогатеешь».

Ну, а наш купец все делал наоборот. Он тщательно прикидывал, сколько можно выручить за шелк, купленный в Нагасаки, если продать его в столице по такой-то цене, и в своих расчетах, как правило, не ошибался. Но ни разу не пошел он на риск, стремясь лишь к верной прибыли. И эта прибыль никогда не превышала его расчетов – уходила же она целиком на уплату процентов с денег, взятых в долг. Вот и получалось, что он работал не на себя, а на других, надрывался хуже батрака, даром терпел лишения.

Из года в год он встречал новогодний праздник в небольшой гостинице в городке Хасимото. Посторонним говорил, что поступает так, следуя давнему обычаю своей семьи. На самом же деле он попросту прятался от кредиторов. Иначе вопреки «обычаю своей семьи» с превеликим удовольствием справлял бы праздник в собственном доме в Киото, а не в захудалой гостинице.

И вот стал он присматриваться к тому, как живут люди вокруг, и однажды сказал себе: «С моей убогой торговлишкой особых убытков не понесешь, но и завидных барышей не получишь. Надо бы в нынешнем году взяться за какое-нибудь новое дело, изловчиться и набить деньгу».

С этим намерением он отправился в Нагасаки. Попробовал одно, другое, но ничего путного не добился. Как известно, деньги идут к деньгам, просто так они в руки не даются. И тут его осенило: «А что, если открыть балаган и показывать народу всякие диковины? Фокусы, которыми развлекают столичных жителей осакские и киотоские умельцы, теперь уже порядком приелись. Может, среди заморских

новинок что-нибудь сыщется?» После долгих поисков и расспросов он понял, что людей сейчас ничем не удивишь, разве только ящерицей «амарю»[285] и птицей казуар[286], но они и в Нагасаки большая редкость и достать их весьма затруднительно. Тогда он попытался выведать у одного китайца, нет ли у того на родине какой-либо диковины.

– Мне приходилось слышать о птице феникс и о громовиках, – ответил китаец, – но сам я никогда их не видел. Все, что в диковинку японцам, для китайца тоже редкость, взять хотя бы алоэ или женьшеневый корень. Но самая большая редкость в мире – это деньги. За ними я и отправился в такую даль, преодолевая морские бури и подвергая опасности свою жизнь. Запомните, нет на свете ничего желанней денег.

«Что верно, то верно», – подумал купец и с еще большим рвением принялся искать пути к богатству. Кончилось тем, что он купил у заморских торговцев в Нагасаки несколько редкостных птиц, чтобы по возвращении в Киото их показывать. Увы, он не был первым, кому пришла в голову подобная мысль, и затея его не увенчалась успехом. Из всех привезенных им птиц некоторое любопытство вызвал только павлин, и в итоге купцу с большим трудом удалось вернуть потраченные на него деньги.

Нет, уж лучше заниматься делом, в котором ты хоть сколько-нибудь смыслишь!

Вечерние торги накануне Нового года

Из года в год люди ропщут – мол, торговля идет вяло и жить на свете становится все труднее. Между тем случись какому-нибудь торговцу снизить цену товара с десяти моммэ до девяти моммэ и восьми бу, как в мгновение ока набежит толпа покупателей и в итоге товара разойдется на тысячу каммэ. Или же, скажем, приди кому-нибудь в голову выложить за какую-то вещь вместо девяти моммэ и восьми бу целых десять моммэ, как тотчас на прилавках появится на две тысячи каммэ такого товара. У торговцев в больших городах дело поставлено на широкую ногу. Во всем видна смекалка, ведь без нее с пользой не купишь, с выгодой не продашь.

Кто говорит, что деньги на свете перевелись, не видал, как живут богачи. Если и есть в этом мире что-либо в избытке, так это деньги. Поглядите, как разбогатели люди у нас в стране за последние тридцать лет. Дома, в старину крытые соломой, теперь имеют тесовую кровлю. Некогда поэты воспевали лунное сияние, струящееся сквозь обветшалую стреху у заставы Фува, ныне же там стоит особняк с черепичной крышей и белеными стенами. Внутри устроена кладовая, а в саду красуется амбар. Фусума[287] в гостиной покрыты не золотым или серебряным порошком, как прежде, ибо такой блеск не во вкусе нашего века, а тонким слоем золотой и серебряной краски, по которому нанесен рисунок тушью, – точь-в-точь как принято в столице.

В одной старинной книге говорится, будто женщины, добывающие соль на побережье Асиноя, не украшали себя даже гребнем.[288] Нынче же тамошние жительницы весьма пекутся о своей наружности. Они знают, что узор в виде сосновых веток по подолу уже устарел и новинкой считается рисунок из разбросанных по фону бамбуковых листьев, а у плеча непременно должны красоваться иероглифы «солнце на закате». Пока обитательницы столичных и осакских предместий донашивают кимоно с мелким узором из листьев папоротника и павлонии, в захолустных городках женщины щеголяют в нарядах, раскрашенных по последней столичной моде. Теперь уже кимоно с написанным на плече словом «кукушка» или с рисунком в

виде багряных листьев и вьющихся лоз по клетчатому фону кажутся старомодными и нелепыми, а как они пленяли взор попервоначалу!

Где бы человек ни жил, если у него есть деньги, он может позволить себе любую прихоть. Бедность же везде безотрадна, особенно в праздники. Как ни крутись, трудно справить Новый год, если за душой у тебя нет ни одного медяка. Оно и правда: коли полка пуста, сколько ни шарь, ничего не нашаришь. А раз так, всякому бедняку следует в течение года в чем-либо себя ограничивать. Если в день экономить на табаке хотя бы по одному медяку, за год, глядишь, набежит триста шестьдесят медяков, а за десять лет – целых три каммэ и шестьсот монов. Еще можно экономить на чае, дровах, мисо, соли – и тогда последний бедняк скопит за год самое малое тридцать шесть моммэ, а за десять лет – и все триста шестьдесят. Ну, а за три десятка лет, считая, конечно, и проценты, он сколотит целое состояние в восемь каммэ серебром, не меньше. Отсюда вывод: хозяйство следует вести с умом и экономить на всем, на каждой мелочи. Главное же – не пить; недаром с давних пор говорят, что от каждой чарки выпитого сакэ расцветает бедность.

Жил на свете один кузнец-бедолага. Сорок пять лет кряду он по три раза на день бегал в винную лавку с бутылочкой из-под жертвенного вина, которое подносят богу Инари в праздник зажжения костров[289], и брал себе сакэ на восемь медяков. Если за день этот кузнец выпивал две с половиной мерки на двадцать четыре медяка, получается, что за сорок пять лет он влил в себя не одну сотню бочонков сакэ и пропил целое состояние – четыре каммэ восемьсот шестьдесят моммэ серебром. Бывало, соседи примутся над ним трунить: кто, дескать, пьет, тот в нищете живет, – а он им отвечает как по писаному: «Из тех, кто не выпивает, тоже не всяк амбар наживает!» – и продолжает пить в свое удовольствие.

В последний день года кузнец с грехом пополам подготовился к новогоднему празднику, даже горку Хорай украсил, и вдруг обнаружил, что денег на сакэ у него не осталось. Какое уж тут веселье!

– Сорок пять лет, – сказал он жене, – я пью изо дня в день, а тут, вот те раз, даже горло промочить нечем. Этак мне и праздник не в радость.

Стали они с женой думать, как раздобыть немного денег, но взять в долг им было не у кого, а нести в закладную лавку – нечего. И вдруг

вспомнили про соломенную шляпу, которая спасала их от пекучего летнего солнца. Выгореть она еще не успела и даже не прохудилась.

– Вот то, что нам нужно! – обрадовался кузнец. – До лета далеко, а добро потому и добро, что выручает хозяина в трудную минуту. Продам-ка я эту шляпу, и дело с концом.

И кузнец поспешил на вечерние торги, где ежегодно пускалось с молотка подержанное имущество. Торги были в самом разгаре. Одного взгляда на собравшихся там людей было достаточно, чтобы понять: все они обременены долгами и обратиться за помощью им решительно не к кому. Хозяин торгов, жаждавший получить свои десять процентов комиссионных, отчаянно размахивал руками, выкликая цены.

Вещи, поступившие на торги в последний день года, свидетельствовали о горькой нужде их владельцев. Кто-то принес на продажу полотняное новогоднее кособэ для девочки лет двенадцати – желтовато-зеленого цвета, с крапчатым узором по подолу. Плотно подбитое ватой, на розовой подкладке и с еще не заделанными швами на рукавах, оно выглядело по-настоящему добротным и нарядным. «Кому кособэ?» – крикнул хозяин торгов. Кто-то купил его за шесть моммэ, три бу и пять ринов[290]. Одна только подкладка наверняка обошлась бывшему владельцу дороже.

Вслед за кособэ объявили торги на половину крохотной макрели, выловленной у берегов Танго. На нее тоже нашелся покупатель, тем более что стоила она всего два моммэ, два бу и пять ринов.

А вот москитную сетку так и не продали, хотя цена на нее выросла в ходе торгов с восьми моммэ до двадцати трех моммэ и пяти бу. Кто-то заметил:

– Нечего было выставлять эту сетку на продажу. Хозяину ее, видать, не так уж плохо живется, раз он до сих пор не отнес ее в закладную лавку и продержался до Нового года! – Это замечание было встречено дружным смехом.

Затем в руках хозяина торгов появился свиток из скрепленных между собой десяти листов вощеной бумаги с каллиграфическим текстом, под которым стояла подпись и печать исполнившего его мастера. Цену на свиток едва удалось поднять с одного до пяти бу.

– Да ведь этому свитку цены нет! – воскликнул хозяин торгов. – Посмотрите, здесь одной бумаги на три моммэ, не меньше!

– Бумаги там, может, и правда на три моммэ, – отозвался кто-то из толпы, – только вся она исписана. А кому нужна эта пачкотня? За нее и пять бу отдать жалко. Этот ваш каллиграф – исподних дел мастер, больше никто.

– Что вы хотите этим сказать? – не понял хозяин.

– А то, что так писать – все равно что исподники надевать. Любой мужчина нацарапал бы эти закорючки не хуже, – ответил тот же голос под хохот окружающих.

Не успел стихнуть смех, как для продажи с особой осторожностью, – товар-то хрупкий! – вынесли десять фарфоровых тарелок нанкинской работы, переложенных письмами известных куртизанок из Киото и Осаки.

«Вот это да!» – прокатилось по толпе, и хозяин принялся их зачитывать, но все эти послания были написаны в последнем месяце года, и потому ни любовных уверений, ни пылких признаний в них не было – одни только просьбы о денежном вспомоществовании: «Право же, неловко Вам докучать, однако…»

– И любовь, и всё на свете покупается за деньги, – произнес хозяин. – Не иначе владелец этих тарелок был большим кутилой, и каждое такое посланьице стоило ему не меньше серебряного тёгина. Эти выброшенные за ненадобностью письма, пожалуй, дороже самих тарелок!

Снова раздался смех.

Вслед за тарелками на торги выставили статуэтку Фудо вместе со всякой ритуальной утварью: булавой-гокко, блюдом для цветов, колокольчиком, посохом и жертвенником для возжигания священного огня.

– Ну и ну, – воскликнул кто-то, – даже это всесильное божество не смогло вымолить себе безбедное существование!

Наконец наступила очередь соломенной шляпы кузнеца. Нимало не смущаясь его присутствием, хозяин торгов крикнул:

– Если кого-то и впрямь стоит пожалеть, так это владельца этой шляпы! Наверняка он надеялся проносить ее не одно лето. Взгляните, как бережно она обернута старой бумагой. Итак, кто купит шляпу этого скопидома?

Вначале за нее предложили всего три медяка, но в итоге нашелся желающий заплатить четырнадцать медяков. Принимая выручку,

кузнец сказал:

– Клянусь богами, я купил эту шляпу в пятом месяце за тридцать шесть медяков и надел ее всего раз – в день «косин»[291]. – Это откровенное признание изрядно развеселило окружающих.

Когда торги подходили к концу, некий человек купил двадцать пять вееров, какие люди дарят друг другу в канун Нового года, а также коробку табака – всего за два моммэ и семь бу. Вернувшись домой, он открыл коробку и обнаружил на дне ее три золотые монеты. Вот какое счастье ему привалило!

Штора из кистей для чистописания – плод находчивого ума

Некий человек, вкусивший весь ужас встречи со сборщиками долгов в последний день года, решил впредь вести хозяйство по-новому и трудиться не покладая рук. Отныне он положит себе за правило платить за все наличными и не станет покупать в долг даже рыбы к столу. Все счета он будет оплачивать, как и положено, перед каждым из пяти главных праздников, не откладывая ничего на конец года и не дожидаясь, пока по его душу явятся мучители-кредиторы.

И вот наступил Новый год. Вопреки давнему обычаю его семьи, он в своем хозяйственном рвении провел ритуал сшивания новой счетной книги не десятого числа, как прежде, а уже на второй день нового года. Переучет в лавке назначил на третье число, хотя всегда делал это пятого числа. Так одним махом он превратился в расторопного и рачительного хозяина. Из дома он предпочитал вовсе не выходить, – ведь этак можно невзначай потратиться или встретить знакомого, а тот, не ровен час, затащит его куда-нибудь, и много драгоценного времени будет потрачено впустую. Если он и разговаривал с кем-то из посторонних, то исключительно о делах. «Поскольку в нашем мире трудно разжиться деньгами, – рассудил он, – главное – не допускать лишних трат». В третьем месяце, когда возобновляют договоры по найму прислуги, он рассчитал стряпуху и велел жене надеть передник и занять ее место на кухне. Сам он днем находился в лавке, отдавая распоряжения приказчикам, как и подобает хозяину, а вечером, заперев входную дверь, работал наравне со слугами, помогая шелушить рис. Ноги он мыл водой из колодца и даже в самые холодные дни не позволял себе роскоши согреть для этого воду. Однако, хоть он и выгадывал буквально на всем, богатство не шло к нему в руки. Видно, дух бедности преследовал его по пятам. В торговле он не ведал удачи, и постепенно дело его стало хиреть и таять, подобно льдинке под лучами солнца. Верно говорили в старину: «Черпаком в один сё[292] больше одного сё не зачерпнешь».

К слову сказать, недавно в здешних краях объявилась одна монашка. Бродя по городу, она показывала людям картинки с

изображениями ада и рая и до хрипоты распевала модные песенки. Хотя она отчаянно выпрашивала подаяний, ей редко удавалось наполнить доверху привязанный к поясу черпак в один сё. Все пекутся о загробной жизни, но делают это по-разному, каждый в меру широты своей души.

Между тем прошлой зимой монах Кокэй из обители Рюсёин отправился собирать пожертвования на восстановление сгоревшего храма в Южной столице, где стоит большая статуя Будды[293]. Он молча бродил по дорогам, ничего не прося, и принимал лишь добровольные подаяния. Тем не менее, хотя у него был такой же черпак в один сё, стоило ему ступить шаг, как в нем оказывался целый кан медяков, а через десять шагов набиралось уже десять канов. Некоторые жертвовали даже золото и серебро. Говорят, чудотворная сила Будды тем сильнее, чем больше жертвуют ему денег. Коли так, то наш век можно назвать веком расцвета буддийской веры. Поскольку этот сбор пожертвований был объявлен делом особой важности, приверженцы всех буддийских сект живо откликнулись на него. Даже жители городских окраин, и те внесли свои скромные пожертвования. Каждый из них дал всего лишь по медяку, но в итоге набралась внушительная сумма, равная двенадцати каммэ серебром. Если сложить эти монеты в столбец, на целый храмовый столп хватит! Отсюда вывод: надобно каждой денежке вести счет, ведь великое из малого складывается. Впрочем, тот, кто способен сколотить большое состояние, по природе своей отличен от всех остальных.

У одного человека был сын. В девять лет мальчугана отдали в школу, и он с самого первого дня стал собирать ручки от использованных кистей для чистописания – не только собственных, но и своих однокашников. И вот на тринадцатом году жизни он смастерил из них три шторы и продал по полтора моммэ за каждую. Так своими руками он заработал четыре моммэ и пять бу серебром. «А мой парнишка не промах!» – с гордостью подумал отец и рассказал об этом учителю каллиграфии. Выслушав его, тот, однако, не стал расточать мальчику похвалы.

– За долгие годы, что я обучаю детей грамоте, – сказал учитель, – через мои руки прошла не одна сотня мальчиков. Исходя из своих наблюдений, могу сказать, что ни одному из тех, кто, подобно вашему сыну, с юных лет проявлял недюжинную деловую хватку, не удалось

нажить большого богатства. Конечно, они не нищенствуют, но и не особенно преуспевают. Тому есть несколько причин. Не думайте, что ваш сын умнее всех. Есть ученики и пособразительнее. Один из них каждый день остается после уроков, даже не будучи дежурным, и подметает пол. Собрав клочки бумаги, брошенные другими детьми, он хорошенько их разглаживает и продает ремесленнику, изготовляющему ширмы. Это, пожалуй, выгоднее, чем мастерить шторы из использованных кистей, – мальчик имеет ежедневный доход. Другой мальчуган приносит из дома заведомо больше бумаги, чем ему нужно, и, когда у других детей во время урока она неожиданно кончается, охотно снабжает их своей за двойную плату. Представьте себе, каков его прибыток за год! Каждый из этих мальчиков подражает в оборотливости своим отцам, и отнести это на счет их собственной смекалки нельзя. Но есть среди моих учеников один, которому родители с утра до вечера внушают: «Сосредоточься на ученье, сынок, ни о чем другом пока не помышляй. Когда вырастешь, все, чему ты выучишься сейчас, тебе пригодится». И что же? Этот мальчуган не пропускает родительские слова мимо ушей и с утра до вечера сидит за книгами. Уже теперь он пишет лучше старших учеников. Не сомневаюсь, что в будущем он станет настоящим богачом. Почему? Да потому что сможет с таким же упорством трудиться ради процветания своего дела. Вообще говоря, редко преуспевает тот, кто бросает унаследованное от родителей занятие и хватается за что-то постороннее. То же можно сказать и о мальчиках, которые забывают, что главная их задача – прилежно учиться, и с малых лет исхитряются, стремясь заработать деньги. Ничего, кроме алчности, они воспитать в себе не могут. Что может быть постыднее для ребенка, чем нерадивость в ученье! Вот почему я не склонен хвалить вашего сына. Всему свое время: пока ты мал – рви цветы и запускай змеев, а вырастешь и войдешь в разум – начинай думать о том, как преуспеть в жизни. Прислушайтесь к словам семидесятилетнего старика. Будущее покажет, прав я или нет.

Предсказания старого учителя каллиграфии и в самом деле сбылись. Когда дети, проявившие в годы учения незаурядную деловую сметку, подросли и стали сами зарабатывать себе на жизнь, разбогатеть им не удалось. Тот из них, что мастерил шторы из использованных кистей для чистописания, изобрел особую обувь для

зимы – сандалии с деревянными набойками, однако мода на них долго не продержалась. Другой, что подбирал с пола клочки бумаги, придумал новый способ изготовления глиняных горшков для хранения масла: с внутренней стороны эти горшки покрывались особым составом на основе сосновой смолы и не впитывали в себя жир. Нельзя сказать, что на эту посуду совсем не было спроса, и тем не менее даже в Новый год он не мог позволить себе зажечь больше одного светильника.

Между тем третий мальчик, который в детские годы корпел над книгами и выглядел не слишком смышленым, обнаружил поистине выдающиеся способности. Он придумал, как предохранить растительное масло, что возят на кораблях в Эдо, от замерзания в холодную зимнюю пору. Оказалось, для этого достаточно добавлять в бочки с маслом по горошине перца. Это изобретение принесло ему немалую прибыль, и нынешний новогодний праздник он встретил состоятельным человеком.

Казалось бы, оба думали об одном и том же – как сберечь масло, только первый мыслил в пределах глиняного горшка, а второй – в пределах бочки. И впрямь великая разница!

Праведный Хэйтаро[294]

Еще в старину говорили: «Будду помянешь – добра наживешь». И по сию пору это так.

Из года в год в ночь перед Праздником начала весны в храмах секты Дзёдо-синсю читают проповеди, посвященные деяниям праведного Хэйтаро. Рассказывают, в сущности, одно и то же, но послушать эти проповеди приходят и стар и млад, и мужчины и женщины, ибо дело это благое.

Однажды случилось, что Праздник начала весны совпал с последним днем года. Впору было подумать, что наступило истинное светопреставление: сборщики долгов галдят, люди надсаживаются, изгоняя нечисть из своих домов, звон монет сливается с треском разбрасываемых бобов. Жуть, да и только! Здесь вполне к месту выражение «вязать черта в темноте»[295].

Стук барабана возвестил о начале вечерней службы в храме. Священник зажег светильники перед алтарем и стал ждать прихожан, но в положенный час их собралось всего три человека. Отслужив молебен, священник подосадовал в душе на людские нравы, после чего обратился к прихожанам с такими словами:

– Нынче последний день выплаты накопившихся за год долгов, и многим сейчас не до проповеди. Однако у старушек, давно уже передавших бразды правления в доме детям да внукам и проводящих дни свои в праздности, времени и сегодня предостаточно. А ведь не за горами тот день, когда Будда Амида призовет их к себе, и им придется поневоле отбыть в мир иной. До чего же неразумны людские сердца! Как это прискорбно! Читать проповедь для троих, пожалуй, не имеет смысла. Даже в таком деле, как служение Будде, следует воздерживаться от расточительства. Вашими пожертвованиями не окупить затрат на масло во всех этих светильниках, и я нанесу ущерб храму, если стану сейчас читать проповедь. Поэтому забирайте ваши приношения и расходитесь по домам. Вы пришли на службу в то время, когда все вокруг погружены в мирские заботы. На это вас подвигла искренняя вера, и Будда по заслугам оценит вашу преданность. Ваш благочестивый поступок будет занесен в Золотую

книгу[296] и непременно зачтется вам в следующей жизни. Поэтому не думайте, что вы впустую потратили время, посетив сегодня храм. Будда верен своему обету и не оставит вас своим милосердием и помощью.

Тут сидевшая перед ним старушка залилась слезами.

– Ваши благостные слова повергли меня в стыд, – сказала она. – Должна признаться, что не искренняя вера привела меня нынче в храм. Мой сын не умеет хозяйствовать с умом и наделал уйму долгов. До сих пор этот негодник кое-как умудрялся заговаривать людям зубы и не платить по счетам в положенный срок, но сегодня не смог ничего придумать. Вот он и говорит: «Ступайте, мамаша, в храм, а я подниму шум, дескать, вы куда-то пропали. Побегу к соседям, мы возьмем барабаны и гонги и отправимся вас искать. Пока суд да дело, глядишь, ночь минует и все само собой уладится. Уловка эта не нова, но, чтобы в новогоднюю ночь разыскивать не кого-нибудь, а заблудшую мамашу, до такого еще никто не додумался!» Дело, конечно, житейское, и все же попусту будоражить соседей в праздничную ночь – великий грех.

Вслед за старухой заговорил другой прихожанин:

– Никто не знает наперед своей судьбы. Сам я родом из Исэ, и в этих краях у меня не было ни родных, ни знакомых. И вот нанялся я в услужение к жрецу из храма Исэ, который ежегодно обходил верующих в Осаке. Таская за ним его поклажу, я присматривался к здешней жизни, видел, как процветает город, и решил, что, перебравшись сюда и взявшись за какое-нибудь ремесло, смогу прокормить семью из двух или даже трех человек. Мне повезло, и вскоре я свел знакомство с одной женщиной, вдовой бродячего торговца галантерейными товарами. Внешностью она была хоть куда: белолицая, крепкого сложения. Был у нее сынишка двух лет. Я рассудил, что, работая вместе, мы сможем жить припеваючи, а парнишка станет нам опорой в старости, и вошел в ее дом мужем-примаком. Но не минуло и полугода, как, ничего не смысля в торговых делах, я пустил по ветру скромное состояние вдовы и в начале двенадцатого месяца мы остались без денег. Жена ко мне совершенно переменилась. Нянча своего дитятю, она приговаривала: «Слушай меня, сынок, слушай внимательно. Твой папочка был хоть и неказист с виду, зато умом крепок. Он даже стряпать умел. А меня как холил: бывало, отправит пораньше спать, а сам до рассвета плетет из соломы

сандалии. Сам подолгу в старом ходил, а нам с тобой каждый год к празднику новое кимоно на вате справлял. Вот и это желтое кимоно – память о моем любимом муже. Никто нам его не заменит. Плачь, сынок, плачь по своему дорогому папочке, которого больше нет на свете!»

Горько было мне, примаку, выслушивать эти речи, но что поделаешь, приходилось терпеть. Тут я вспомнил, что на родине у меня осталось несколько должников: стребовав с них деньги, я смог бы расплатиться с заимодавцами. И я отправился в Исэ. Однако надежды мои не оправдались: должники успели разъехаться в разные края. Так и вернулся ни с чем. Захожу сегодня в дом, как раз перед ужином, и глазам своим не верю: рисовые лепешки сбиты, дрова заготовлены, поднос для приношений новогоднему богу счастья устлан листьями папоротника. «Не так уж, видно, плохи наши дела, – подумал я. – Недаром сказано, что боги не бросают человека в беде». Обрадовался я, что жена в мое отсутствие сумела исхитриться и все уладить. «Ну, здравствуй. Вот я и вернулся», – говорю, и она, с более приветливым видом, чем обычно, подала мне теплой воды вымыть ноги, потом заботливо поставила передо мной поднос с двумя тарелками. На одной лежало намасу[297] из сардин, на другой – соленые сардины, обжаренные в масле. Только я приступил к еде, как она спрашивает: «Ну что, привез деньги?» Услышала, что поездка моя кончилась неудачей, и давай кричать:

– Да как ты посмел явиться домой с пустыми руками? Ведь этот рис – всего одну мерку – я заняла с условием, что расплачусь за него в конце второго месяца. Если к тому времени у меня не будет денег, я пропала! Все платят за мешок риса сорок моммэ, а мы вынуждены платить девяносто пять! И все потому, что ты ни на что не годен. Когда ты вошел в мой дом, у тебя была лишь набедренная повязка, с тем и уходи, ничего не потеряешь! Пока светло, убирайся прочь!

С этими словами она выхватила у меня из-под носа еду и стала меня выпроваживать. На крик сбежались соседи, затараторили наперебой, вторя моей женушке:

– Да, не повезло вам, но ничего не поделаешь, такова уж участь мужа-примака. Ежели осталась в вас хоть капля гордости, уходите. Кто знает, может, еще найдете себе другое теплое местечко.

Так и выставили меня из дома. Я даже плакать не могу, до того тяжело у меня на душе. Завтра отправлюсь в родные края, а нынче мне негде переночевать, вот я и пришел в этот храм, хотя числюсь сторонником секты Хоккэ[298].

Когда эта исповедь – и грустная, и смешная – закончилась, третий прихожанин, вдоволь насмеявшись, рассказал свою историю:

– Положение мое таково, что даже вам я боюсь открыться, кто я и откуда. Останься я сегодня вечером дома, не вырвался бы живым от сборщиков долгов. В долг мне никто и медяка не даст, а выпить хотелось, да и продрог я изрядно. Стал я думать, как бы изловчиться и встретить Новый год, но ничего путного не мог придумать. И вдруг меня осенило. Я вспомнил, что вечером здесь соберутся прихожане послушать проповедь о праведном Хэйтаро. Как ни совестно в этом признаваться, я решил украсть оставленные при входе чьи-нибудь сандалии или сэкида[299], продать их и на вырученные деньги купить вина. К счастью для меня, не только в этом храме, но и во всех прочих сегодня посетителей негусто. Иначе я согрешил бы прямо на глазах у Будды.

Поведав о своей безотрадной участи, бедняга прослезился.

– Ну и ну! – всплеснул руками священник. – Подумать только, на какие греховные помыслы толкает людей нужда! А ведь в каждом из вас заключена природа Будды. До чего же печален наш мир!..

Пока священник предавался этим сетованьям, в храм вбежала какая-то женщина и, едва переведя дух, выпалила:

– Ваша племянница только что благополучно разрешилась от бремени. Я бежала всю дорогу, чтобы поскорее известить вас об этом.

Не успела она уйти, как явился некий мужчина и сообщил:

– Кудзо-плотник переругался со сборщиками долгов и удавился. Хоронить его будут сразу после полуночи. Родственники почтительно просят вас пожаловать к месту сожжения тела.

Священник еще не опомнился от двух этих известий, как прибежал портной:

– Кто-то украл белое кособэ, которое вы заказали мне к празднику. Если найти вора не удастся, я возмещу вам убыток деньгами.

Вслед за портным пришел человек, живший по соседству от храма, с восточной стороны.

– Простите за беспокойство, – сказал он, – но у меня только что обрушился колодец, и я прошу позволения брать воду у вас, пока не пройдут пять дней новогоднего праздника.

Наконец, в храм пожаловал молодой повеса, сын самого знатного из здешних прихожан. Он прокутил уйму денег, за что был изгнан отцом из дома, но мать упросила священника приютить бедное чадо у себя хотя бы на праздничные дни. Как же можно было ей отказать?

Обычно мы говорим: «словно священник в последний месяц года», – имея в виду человека, не обремененного никакими заботами. И напрасно – в нашем мире даже священнику под Новый год достается!

Бойко идет торговля в Эдо!

В наш век, когда в Поднебесной царят мир и благоденствие, все купцы устремляются в Эдо. Теперь здесь можно увидеть отделения торговых домов из всех провинций. Что ни день, по морю и по суше эдоским оптовикам доставляют бессчетное множество грузов. Золота и серебра в нашем мире хоть отбавляй, и достоин сожаления тот, кому не хватает ума прибрать к рукам хотя бы малую толику этого богатства.

С пятнадцатого числа последнего месяца года улица Торитё[300] настолько преображается, что можно подумать: вот она, ярмарка сокровищ. Люди подходят только к тем лавкам, где идет новогодняя распродажа, на обычные товары даже не смотрят. Чего здесь только не найдешь! Нарядно изукрашенные дощечки для игры в волан, позолоченные и посеребренные молоточки для гиттё[301] и еще много разных дорогих безделиц. Игрушечный лук со стрелами, например, стоит две золотые монеты, но покупают его не только для княжеских отпрысков – такую роскошь теперь могут позволить себе и горожане.

Посреди улицы бойко идет торговля с лотков, сюда ручьями стекаются медяки, а серебро сверкает, как снег.

По мосту Нихонбаси, с которого открывается вид на величественную гору Фудзи, беспрестанно снуют люди, и грохот от их подошв стоит такой, будто едут сотни телег.

На рыбный рынок в Фуна-тё по утрам привозят несметное количество рыбы и прочей морской живности. Можно подумать, ее не ловят, а выращивают на грядках, хотя страна наша со всех четырех сторон окружена морями.

К зеленным лавкам на улице Суда-тё в Канда подходят навьюченные редькой лошади. Редьки столько, что кажется, будто пришло в движение целое поле. А красный перец в корзинах! Глянешь на него – и такое чувство, словно ты находишься не на равнине Мусаси[302], а у подножья горы Тацута[303] во всем ее осеннем великолепии. В лавках на улице Фарфоровой и Солодовой темно от обилия диких гусей и уток, как будто туда опустились с неба дождевые облака. Пестреют разноцветными шелками киотоской выделки мануфактурные лавки на улице Хонтё. На тканях, предназначенных

для жен самураев, – картины всех четырех времен года. В таком наряде любая красавица станет еще прелестней. А хлопок, которым торгуют на улице Тэмма-тё! Его можно сравнить лишь со снегом в рассветных лучах солнца на горах Ёсино.

Вечером улица залита светом огней, которые зажигают в лавках. За один только вечер накануне Нового года можно истратить тысячу золотых! Таби[304] и сэтта обычно покупают в самую последнюю очередь, чуть ли не на рассвете. Однажды к этому времени во всех лавках их разобрали подчистую. Такое могло случиться только в Эдо – самом большом и многолюдном из всех городов Японии. Если вечером пара сэтта стоила семь-восемь бу, то после полуночи цена на них взлетела до одного моммэ и двух-трех бу, а на рассвете – уже до двух моммэ и пяти бу. Но и такая цена никого не остановила бы, только покупать было нечего.

В другой год раскупили всю рыбу и за пару маленьких окуньков просили восемнадцать моммэ. А когда не уродились апельсины дай-дай, их продавали по два золотых за штуку. И что бы вы думали? – все равно находились покупатели. Другое дело в Киото и Осаке: тамошние жители даже в праздник не станут переплачивать. Недаром говорят, что эдосцы живут по-княжески.

В последнее время, правда, торговцы из Киото и Осаки начали перенимать здешние нравы и уже не трясутся над каждым медяком. Даже золотые монеты не взвешивают с прежним тщанием. Если монета попадется неполновесная, стараются поскорее сбыть ее с рук и дело с концом. Все в мире находится в вечном коловращении, а уж деньги и подавно, так зачем зря беспокоиться?

Семнадцатого и восемнадцатого числа последнего месяца из эдоских почтовых контор в Камигату отправляются гонцы с золотом и серебром. Монеты блестят как новенькие, а ведь не счесть, сколько раз за год проделывают они этот путь туда и обратно. Если кто и трудится, не зная отдыха, так это деньги. Да, много их на свете, но даже в Эдо есть люди, встречающие новогодний праздник без единого золотого.

У самураев принято накануне Нового года обмениваться подарками. По дорогам снуют целые вереницы гонцов, спешащих доставить в срок новогодние подношения. Среди них – дарственная на меч, шелковое косодэ, бочонок сакэ, связка рыбы, коробка свечей. Смотришь на такую вереницу, и кажется, что благословенный

праздник никогда не закончится. У ворот домов выставлены новогодние украшения из сосны и бамбука. Одного взгляда на них достаточно, чтобы представить себя стоящим у подножия горы Тысячелетнего Благоденствия – Титосэяма. Над мостом Токивабаси встает солнце и заливает все вокруг щедрым, спокойным светом. Наступает праздник безоблачной весны.

Из сборника «Последний узор, сотканный сайкаку»

Домовладелица, чей длинный нос послужил причиной многих бед

Кем бы вы ни были, торговцем или ремесленником, не спешите покидать насиженное место в поисках нового пристанища! Ведь недаром говорят: «Даже камень согреется, если на нем просидеть три года». И верно, нет более жалкого зрелища, чем собранный для переезда скарб: кастрюльки и чайники еще и остыть не успели, а их уже грузят в повозку вместе с прочими пожитками.

К слову сказать, торговцы и ремесленники по большей части селятся купно: как известно, свой свояка видит издалека. Взять, к примеру, Второй проспект в Киото. Жители всех провинций знают, что там находятся лавки, торгующие украшениями из акульей кожи для мечей, лекарственными травами и книгами. В Карасума же с незапамятных времен продают шапки эбоси[305], так что исполнители кагура[306] из Исэ, прорицатели из Касимы, даже уличные музыканты и танцовщики – все, кому по роду занятий полагается надевать эбоси, приезжают туда за этими шапками.

«Иному не приходится кричать, чтобы быть услышанным», – речет народная мудрость, вот и этим торговцам не приходится зазывать покупателей – они сами стекаются к их лавкам.

В нижней части Киото, на Седьмом проспекте, в небольшом наемном домике жил один ремесленник. В весеннее и летнее время они с женой мастерили веера, а с конца осени до середины зимы ладили кимоно из бумаги, тем и кормились. Возвращаясь с богомолья из храмов, что находятся на Шестом проспекте, паломники наведывались в их лавку и покупали веера и кимоно на память. Немудрено, что со временем дела этого ремесленника пошли в гору и ему удалось скопить кое-какие деньги.

Но вот однажды его жена отправилась в гости к соседке, и за чаем, когда женщины, как водится, судачили о том о сем, она возьми да скажи:

– У нашей домовладелицы нос таких огромных размеров, что, приди кому в голову изловить тэнгу[307] с горы Атагояма, лучшей приманки не сыскать!

Кто-то из слышавших эти насмешливые слова передал их домовладелице, та ужасно разгневалась и подняла крик:

– Что же мне делать, если родители наградили меня таким носом? Не сама же я его себе налепила! Раз уж он вам так досаждает, возьмите да и переделайте его по своему вкусу. Не продавать же мне его, я ведь не продажная девка! Муж-кормилец и тот за все девятнадцать лет ни разу меня им не попрекнул, так что я на свой нос не в обиде. Отчего же он вам не дает покоя? Теперь уж как хотите, а переделывайте мой нос!

Соседки пришли в смущение и разом загомонили, пытаясь свалить всю вину на жену торговца веерами:

– Она постоянно возводит хулу не только на вас, но и на вашего супруга. То болтает, что рот у него чересчур велик, то будто ноги у него как палки, но если бы, дескать, он носил халат подлиннее, это было бы не так заметно. У этой женщины и впрямь злой язык.

Услышав такое, домовладелица распалилась еще пуще.

– Эй, хозяюшка! – крикнула она жене торговца веерами. – Нос у меня, как вы изволили заметить, непомерно велик и потому всякий раз цепляется за стреху над вашим крыльцом. Прошу немедленно освободить помещение!

В ответ постоялица расхохоталась:

– Как известно, Киото – город большой, и, если исправно платить за жилье каждый месяц, можно без труда приискать другой дом, где, к слову сказать, не протекает крыша, как у вас, да и у хозяйки нос умеренных размеров.

– Между прочим, – не осталась в долгу домовладелица, – в старину жила принцесса с таким же носом, как у меня. Звали ее Суэцумухана[308]. Но откуда вам, женщине подлого звания, об этом знать? Ведь вы, поди, и не слыхали о такой книге, как «Повесть о Гэндзи»!

– Да будет вам известно, – воскликнула жена торговца веерами, – что я родилась в семье придворного и когда-то ездила в коляске, запряженной волом!

– Вот насмешили! – не унималась домовладелица. – Всем известно, что вы дочь простого бондаря и уж если в чем-то и ездили, то разве только в гробу, изготовленном вашим батюшкой. На всякий случай имейте в виду, что у человека, не приученного к езде в коляске или в паланкине, с непривычки сразу начинает ломить поясницу.

– Кто просил вас выяснять чужие родословные? – возмутилась постоялица. – Занялись бы лучше своей собственной. Вы ведь хвастали, будто приходитесь единственной дочерью главному жрецу храма Идзумо. Отчего же тогда вы вышли замуж за бедняка? Или тамошний бог – соединитель судеб прогневался на вас за что-то? Да, кстати: когда-то на постоялом дворе «Фудэя» в Саге обреталась блудливая Коман по прозвищу Тэнгу. Говорят, она как две капли воды похожа на некую домовладелицу. Вот бы узнать, в какой части столицы проживает эта домовладелица!

– Ну всё, с меня довольно! – воскликнула домовладелица. – Чтобы духа вашего больше здесь не было!

Торговец веерами, слышавший эту перебранку, не на шутку забеспокоился.

– Теперь из-за твоего злого языка нам придется покинуть насиженное место, – принялся он выговаривать жене. – А для торговца переезд хуже разорения. Ступай и, пока не поздно, извинись перед хозяйкой.

– И не подумаю! – отвечала женщина с перекошенным от злобы лицом.

– Как ты смеешь мне перечить? – вскричал возмущенный муж. – Немедленно убирайся из дома в чем мать родила! Не жена ты мне больше!

– Хорошо, я уйду. Но за то, что ты меня гонишь, я всем расскажу, от чего скоропостижно скончалась твоя сестрица, – пригрозила женщина и стала собирать вещи.

При этих ее словах гнев мужа исчез без следа, и он заискивающим тоном произнес:

– Как ты могла поверить, что я расстанусь с тобой из-за такого пустяка? По правде говоря, мне самому опротивело глядеть, как задается наша домовладелица. Нам и впрямь лучше уехать отсюда.

Вскоре супруги перебрались на улицу Самэгаи, неподалеку от Пятого проспекта. Все бы ничего, если бы не полоумная старуха, жившая по соседству с ними с южной стороны. Временами на нее что-то находило, и она ни с того ни с сего хватала нож и носилась с ним по округе. «Жить в таком соседстве небезопасно», – подумали супруги и переселились в другой дом, напротив входа в храм Роккакудо. И что же? Оттого ли, что столбы, подпирающие крышу, были с самого

начала врыты не тем концом, или еще почему-то, но каждую ночь они слышали леденящий душу скрип, будто, того и гляди, обрушится потолок. Это повергало их в такой страх, что вскоре они решили переехать на улицу Сэмбондори на окраине города. Уж где было по-настоящему тихо, так это там, и первое время супруги были очень довольны. Однако немного спустя обнаружилось, что западный ветер приносит с собой дым с близлежащей пустоши, где сжигают трупы. Понятное дело, это пришлось им не по душе, и они снова переселились, на сей раз в верхнюю часть Симмати. Дом, который они себе подыскали, был недавно построен и стоял наособицу. Соседство тоже оказалось приятным. С северной стороны, в доме с решетчатым фасадом, проживал некий старик на покое, в прошлом торговец посудой. Держался он замкнуто и шумных знакомств не водил. А с южной стороны находились известные в столице винная и солодовая лавки.

– Наконец-то мы нашли то, что нужно! – радовались торговец с женой. Однако в первую же ночь из дома старика послышалось пение молитв в духе секты Сэндзю[309]. Старик вопил до рассвета, да так, что супруги едва слышали друг друга.

Мало того – из солодовой лавки на новоселов двинулось целое полчище тараканов, каждый величиной с цикаду. За недолгое время они обгрызли в доме всю деревянную посуду, залезли в кувшин с водой и в бутылку с соей, продырявили мешки с рисом, попортили одежду, бумажные ширмы и веера, обглодали рыбу, подвешенную на крюках в кухне, нагадили в корзинку, где хранилась соль, – одним словом, нанесли хозяевам неслыханный ущерб.

«Мыши в доме – что в стране разбойники», – написал некогда Кэнко-хоси[310], но узнай он об этом, наверняка написал бы так: «Тараканы в доме – что в стране пьяницы!» Едва дотянув до осени, супруги снова переехали. Так, не прошло и двух лет, а они девять раз сменили жилье, и от их сбережений остались лишь жалкие крохи.

В конце концов, послушавшись сводного брата жены, который проживал неподалеку от храма Ниитамацусима на улице Мацубара, супруги подыскали себе дом по соседству. Но, как назло, он располагался в дьявольском направлении[311]. К тому же в тот год это несчастливое направление совпало с местопребыванием божества

Кондзин[312], и торговец веерами пошел было на попятную, но братец возразил:

– В нашем мире и без того непросто прожить. Не хватало думать еще о каком-то несчастливом направлении! Положитесь во всем на меня.

Поддавшись на уговоры брата, супруги поселились в этом доме, но с тех пор у них окончательно все разладилось. С каждым днем торговля шла все хуже и хуже, и жизнь их пошла прахом, словно рассыпавшееся от ветхости бумажное кимоно.

Спустя какое-то время супруги решили пожить врозь, чтобы хоть как-то поправить свои дела. Муж уехал в городок Сираиси в провинции Муцу и нанялся подмастерьем к одному из тамошних изготовителей бумажных кимоно, а жена подалась в местечко Хирадоносима в провинции Хидзэн, мастерила веера и тем кормилась. Так они и разъехались в разные стороны, а все из-за того, что жена была невоздержанна на язык. Вообще, в чем женщинам надлежит проявлять особую осмотрительность, так это в словах.

Мужа предстоящая разлука сильно опечалила.

– Ну что ж, прощай пока, – сказал он жене, утирая рукавом слезы. – Когда-нибудь мы съедемся и снова заживем вместе.

Но женщина рассудила иначе:

– К чему связывать себя обещанием, если теперь нас будут разделять сотни верст? Выпиши-ка мне лучше разводную бумагу.

Между супругами вновь разыгралась ссора.

– Ах, так? – вскричал муж. – Нет чтобы потерпеть немного одной, так тебе сразу подавай другого мужа!

А жена в ответ:

– Только не прикидывайся, будто ты собираешься жить бобылем. Ух, проклятый, мало ему, что укокошил родную сестрицу и прибрал к рукам ее денежки!

Так, разругавшись насмерть, они и расстались. Верно говорится в пословице: «Расставшиеся супруги хуже чужаков».

Поистине страшно становится, когда подумаешь, что́ таят в себе людские сердца!

Торговец солью, прославивший святым

Неподалеку от храма Симмэй в Аватагути стояла бедная хижина, крытая бамбуком, и такая приземистая, что до края стрехи можно было рукой достать. Жили в ней муж и жена. Было им уже по шестьдесят лет, а детьми они так и не обзавелись. Одинокой была их старость.

Старуха добывала на жизнь мужским ремеслом – плела из соломы короткие сапожки и подвешивала их к бамбуковой решетке за окном. Погонщики лошадей, державшие путь из столицы в Оцу, раскупали их, и это служило подспорьем в утлом хозяйстве супругов. Что же до старика, то он каждый день ходил в Киото торговать солью вразнос. Так они и жили. День пройдет – и ладно, а о завтрашнем дне они не задумывались.

Воротившись домой, старик подкладывал в очаг мелких веточек, и они с женой ели сладкий картофель, запивая его зеленым чаем. Иных радостей они не ведали, но при этом не завидовали тем, кто живет в пышности и богатстве.

Время бежало для них незаметно, точно во сне. Под Новый год они не готовили рисовых лепешек, в праздник Бон не лакомились соленой макрелью, а перед праздником девятого месяца[313] не покупали ни каштанов, ни сакэ с лепестками хризантемы. Поскольку в течение года они ничего не брали в долг, им не было нужды расплачиваться с кредиторами и заимодавцами, и, хотя со стороны жизнь их казалась унылой и тяжкой, на самом деле жили они легко и беспечально.

И вот наступило восьмое число девятого месяца, канун праздника, когда принято платить по счетам. В этот день даже стук подошв на улицах совершенно особый. Столичные дамы и те, накинув на голову покрывало кацуги модной раскраски, бегут со всех ног, не заботясь о том, как выглядят со стороны.

Невзирая на суету, известный в столице торговец тканями, поставщик высочайшего двора, празднует окончание строительства своего нового дома[314], возведенного в середине улицы Накадатиури в верхней части Киото. Громадный домина, он тянется вширь на пятнадцать, а то и на шестнадцать кэнов.

Вокруг дома натянуты широкие занавеси, поставлены золоченые ширмы, настелены ковры. На земляной пол в лавке ставят все новые и новые подношения: бочонки сакэ и ящики с рыбой. Делать отметки об этих дарах в книге нет времени – приказчик только успевает их принимать.

На кухне хлопочут слуги, готовя праздничное угощение. Все женщины в доме нарядно одеты. Но вот уже и гости пожаловали. По кругу пошел поднос «остров счастья», уставленный закусками. Певцы, танцоры и лицедеи исполняют свои номера. Захмелевшие гости хохочут и галдят без умолку. Старший плотник в каригину[315] и шапке эбоси берет в руку гохэй, поднимается на крышу и возлагает на установленную там божницу лук и стрелы для защиты от демонов. Затем с помощью других плотников укрепляет коньковый брус, ритмично ударяя по нему молотком. Вслед за этим танцоры исполняют «Мандзайраку»[316], звучат многократные поздравления, и на улицу летят рисовые лепешки[317], которых по этому случаю заготовлено пятьсот восемьдесят штук. Подбирать эти лепешки кидается столько народу, что широкая улица в один миг становится тесной.

Пришедшие поглазеть на празднество думали про себя: «Вот это богач! Ишь какой домище себе отгрохал! Я бы и сам от такого не отказался и оставил бы его в наследство потомкам!» Те же, кто не мечтал о богатстве, спокойно проходили мимо, лишь мельком взглянув на дом. Но таковых было мало. В большинстве своем зеваки прикидывали, какими суммами исчисляется имущество хозяина, обращая сугубое внимание на размеры кладовых. Неразумная алчность, да и только!

Между тем еще двадцать лет назад хозяин этого дома занимался починкой бумажных фонарей и был настолько беден, что не всегда мог разжечь огонь в очаге. Откуда же взялось его богатство? Очень просто: он придумал наносить на бумагу состав из смеси вяжущего сока хурмы и слюды и стал мастерить фонари, которые можно использовать даже в дождливые ночи. На этом он и поднялся. Нынешнее его состояние оценивается в семь тысяч каммэ, не меньше. Неудивительно, что ему удалось породниться со знатным семейством, ведь в прежние годы даже в Киото не придавали особого значения происхождению жениха, если, конечно, он не промышлял таким малопочтенным делом, как изготовление бамбуковых бёрд для ткацких

станков или ручек для ушатов. Хоть и старая это истина, а как не сказать: в нашем мире только и света, что от денег.

В толпе, окружавшей дом богача, находился и старый торговец солью из Аватагути, только, в отличие от других, он не мечтал о таких же хоромах для себя, а просто остановился, чтобы послушать хорошее пение и поглядеть на искусные пляски. Когда толпа стала расходиться, он неожиданно увидел на земле синий полотняный кошелек в красную полоску.

– Кто обронил этот кошелек? – спросил он стоявших рядом.

– Это мой кошелек, давайте его сюда, – откликнулся какой-то бритоголовый мужчина лет пятидесяти.

– Хорошо, я вам его отдам, только прежде скажите, сколько в нем денег.

– Около сотни мэ [318]мелочью, – ответил мужчина.

Старик даже в лице изменился:

– Как не совестно вам в ваши годы пускаться на такие низкие уловки? Знайте же, что в кошельке находятся одни золотые кобаны, так что он принадлежит не вам! А настоящий владелец этого кошелька пусть придет за ним ко мне домой! – Старик подробно объяснил, как его найти, и отправился восвояси.

Вечером того же дня к нему явился приказчик из шелковой лавки «Хисия» и рассказал, что обронил кошелек со ста двадцатью золотыми кобанами, полученными от оптовика из западной провинции, и теперь не знает, как признаться в этом хозяину.

– Все верно, – молвил старик. – Здесь и расписка есть, так что кошелек, без сомнения, принадлежит вам.

С этими словами он протянул кошелек приказчику. Тот залился слезами благодарности и произнес:

– Попади этот кошелек в другие руки, я вряд ли когда-нибудь смог бы его вернуть и мне пришлось бы с позором бежать из Киото. Но теперь я могу с чистой совестью предстать перед хозяином. Позвольте же отблагодарить вас за услугу. – Приказчик вынул из кошелька пять золотых и протянул торговцу солью. Но тот и слышать не пожелал о вознаграждении:

– Эти деньги принадлежат не вам, а вашему хозяину. По какому же праву вы ими распоряжаетесь? Нет, я ни за что их не приму!

Приказчику ничего не оставалось, как убрать деньги в кошелек и откланяться. Однако добра он не забыл и с тех пор в дождливые, ветреные или снежные дни, когда старику было трудно идти в столицу, присылал к нему своего человека, и тот покупал у него по две мерки соли. Старик радовался, считая, что само Небо одаривает его своею милостью, и не подозревал, что все это подстроено приказчиком из шелковой лавки. Что же до приказчика, то со временем он отделился от своего хозяина и завел собственную торговлю, в которой ему неизменно сопутствовала удача. Видно, то была награда за его памятливое сердце. А недавно он изобрел способ наносить на шелковые кособэ рисунок тушью и благодаря этому неожиданно разбогател.

Во времена, о которых идет речь, в верхней части Киото проживал один известный врач. Знаменитости – народ своенравный, вот и этому врачу вдруг наскучило пользовать знатных особ, и он перебрался за черту города, в Аватагути. Выбрав участок на одной из тихих улочек, застроенных только с одной стороны, он обнес его красивой живой изгородью и в глубине построил дом. Двор его выходил на Токайдоский тракт, по которому проезжали со своими свитами князья, направляясь на службу ко двору сёгуна в Эдо или возвращаясь восвояси. Поскольку столичные жители освобождаются от необходимости падать ниц при виде князя, лекарь не отказывал себе в удовольствии усесться на самом приметном месте, мурлыча какую-нибудь песенку, и никто не мог его за это упрекнуть.

Как-то раз под вечер он стоял у ворот своего дома и глядел на дорогу. В это время из Киото возвращался торговец солью. Едва завидев его, врач поспешил скрыться в доме.

– Почему вы сбежали при виде торговца солью? – в недоумении спросили его домочадцы.

– Этот старец – истинный святой, – отвечал врач, – а при святом не полагается стоять в обуви. Встретить же его разутым мне тоже было неловко, ведь мы не знакомы. Поэтому я счел благоразумным вовсе с ним не встречаться.

– А почему вы назвали его святым? – полюбопытствовали домочадцы.

– Как, вы до сих пор ничего не знаете? – удивился врач. – Он нашел деньги и вернул их владельцу. Другого такого человека не

только в столице, но и во всей стране не сыщешь! Даже в Китае, наверное, не найти человека, возвысившегося до такой святости.

С тех пор все в его доме оказывали торговцу солью особое почтение, – так гласит молва.

О человеке, который торговал вразнос собственной смекалкой

На дне океана имеется отверстие под названием Вэйлюй[319]. В сие отверстие уходит вода, каковую денно и нощно приносят многочисленные реки, и поэтому он не переполняется.

У всякого человека есть рот, который можно уподобить отверстию Вэйлюй. Сколько пищи уходит туда в течение всей жизни! Способов прокормить эту ненасытную утробу существует бесчисленное множество, важно только не лениться. По нынешним временам каждый, кто трудится добросовестно, не щадя сил, и следует небесным установлениям, может заработать себе на пропитание. Какую провинцию ни возьми, жизнь что в призамковых, что в приморских городах бьет ключом и народу там видимо-невидимо, а значит, для любого сыщется какое-нибудь дело.

Посмотрите, как изменилось селение Фусими в провинции Ямасиро за последние семьдесят-восемьдесят лет, а между тем в переулках по обеим сторонам главной улицы до сих пор стоят старинные особняки. Теперь они изрядно обветшали, и обитатели их никаким особым трудом не заняты, но при этом как-то умудряются жить на свете. И впрямь верно говорят: там, где есть тысяча домов, худо-бедно прокормишься. Люди не дают друг другу пропасть. Однако народ нынче пошел умный и предпочитает занятия, о которых в прежние времена и не слыхивали.

В конце прошлого года, например, некий человек ходил по домам и за определенную мзду красил очаги в кухнях. Дело это оказалось довольно прибыльным, и на исходе нынешнего года уже другой крепкий детина стал предлагать свои услуги по части чистки котлов. За большой котел он брал по пять медяков, а за остальные, даже самые маленькие, – по два медяка. Вдобавок он еще нанимался промывать рис для лепешек, взимая с каждой мерки по два медяка, и для домов, где не хватало рабочих рук, это было хорошим подспорьем.

Или вот еще пример – один мастер-клеильщик вместо того, чтобы сидеть в лавке, стал бродить по городу, имея при себе все необходимое для работы: угольник, бамбуковую лопаточку, щетку и клей. За

бумажные панели, которыми покрывают нижнюю часть стены в гостиных, он брал по медяку с кэна, за оклейку сёдзи[320] – по два медяка, а за переклейку любого фонаря – по медяку, и при этом еще убирал за собой весь мусор. Когда кто-то покупал полочку для приношений новогоднему богу счастья, он тут же прибывал на место, захватив с собой петли и гвозди, и, выяснив счастливое для данного года направление, прилаживал ее куда следует. В наше время каких только услуг не предлагают, облегчая жизнь даже семьям с достатком ниже среднего.

Некий человек лет пятидесяти перекинул через плечо какой-то сверток и принялся обходить дворы, крича во весь голос: «Выведу блох у любой кошки!»

Услышав это, какая-то старушка, державшая двух кошек – белую и пеструю, – пожелала прибегнуть к его услугам. Договорились, что каждая кошка обойдется ей в три медяка, и умелец сноровисто приступил к делу. Поначалу он облил кошку горячей водой, а потом, как была, мокрую, завернул в волчью шкуру. Как известно, блохи не переносят сырости и все они, как одна, переползли в волчью шкуру. После этого оставалось лишь вытрясти шкуру хорошенько, и можно было браться за другую кошку. Достаточно проявить смекалку – и даже на таком, казалось бы, немудреном деле можно заработать.

Да, народ теперь пошел куда как ушлый и предприимчивый. Некий мужчина, уже в летах, пустился на такую уловку. Надев кожаные штаны, он заткнул за пояс короткий меч, повесил сбоку большой кошель и стал с умным видом расхаживать по городу, выкрикивая у каждого дома:

– Кто не может самостоятельно принять решение, доверьтесь мне! Если вы попали в трудное положение, я помогу советом!

Люди бывалые не обращали на него внимания, другие же настораживались и старались получше запомнить его в лицо, думая про себя: «Экая наглость! Подобных плутов еще не видывал свет!»

Между тем осенью прошлого года несколько приятелей отправились в лодке ловить бычков в устье реки Сангэнъякава в Осаке. Пойманную рыбу они тут же зажаривали вместе с головой и внутренностями и пускали на закуску. Изрядно захмелев, друзья стали состязаться, кто съест больше бычков. Один из них сгоряча запихнул в

рот рыбу целиком и в тот же миг почувствовал ужасную боль в горле. «В чем дело?» – всполошились остальные.

Оказывается, в брюхе рыбы находился рыболовный крючок вместе с обрывком нити длиною около двух сунов. Этот крючок и вонзился бедняге в горло. Как ни пытались его вытащить, ничего не получалось. Что же делать? В лодке стихли звуки барабана и сямисэна, и всех охватило смятение, точь-в-точь как в известной истории из «Записок от скуки» про монаха, который в подпитии надел на голову бронзовый котел-треножник, а потом не мог его снять[321].

Когда несчастного доставили домой, он был уже почти что при смерти. К нему сразу позвали врача, но и тот не сумел ему помочь. Пока домочадцы метались и думали, что бы еще предпринять, мимо проходил уже известный нам мастер давать советы. Узнав, в чем дело, он сказал:

– Не беспокойтесь, в один миг вытащу!

С этими словами он достал четки с мелкими бусинками, распустил их и принялся одну за другой нанизывать на торчащий обрывок нити. Потом связал концы нити между собой и стал легонько двигать ее вверх и вниз. Не успели домочадцы и глазом моргнуть, как крючок был уже снаружи. Все пришли в восторг от этой замечательной придумки.

Среди очевидцев находился человек, который всякий разговор норовил перевести на себя.

– Позвольте и мне испросить вашего совета, – обратился он к чудодею. – В последнее время дела мои идут шиворот-навыворот. За что ни возьмусь – одни убытки. Проведав об этом, никто из торговцев не желает ничего отпускать мне в долг, так что положение мое хуже некуда. День окончательной расплаты по счетам уже не за горами, а мне, как ни прикидывай, недостает целых двадцати каммэ, а то и больше. Подскажите, что делать.

– Нет ли у вас богатых родственников? Скажем, зажиточного тестя? Или, на худой конец, брата-монаха? У монахов часто водятся деньги.

– Нет, – ответил тот.

– Очень сожалею, но в таком случае ничем помочь вам не смогу, – сказал советчик и пошел прочь.

Своенравная фрейлина

Один мудрый человек, поднаторевший в житейских делах, говаривал так: «Всякому, у кого водятся деньги, надобно постоянно быть начеку, ибо воров среди бела дня в нашем мире не меньше, чем мышей темной ночью».

Но если, следуя этому совету, остерегаться всего без разбору, побоишься, пожалуй, разжечь в доме очаг, а уж о том, чтобы сесть на корабль, плавающий по открытому морю, и говорить не приходится. Между тем судьбы людские вершатся на небесах, и если кто-то погибает от молнии, значит, так ему было на роду написано.

Тем не менее люди стараются по возможности избегать опасностей и, как правило, всё же доживают до старости и умирают в своей постели. В замках князей и дворцах придворных вельмож имеются особые покои – на случай землетрясения или грозы. Крышу трехэтажного строения выкладывают медной черепицей, потолки затягивают плотной тканью, к стенам со всех четырех сторон подвешивают веточки мальвы, как на празднике Камо[322], плотные занавеси пропитывают особыми китайскими благовониями, защищающими от молний. Как только сверкнет молния, госпожа удаляется в это помещение, вокруг нее располагаются фрейлины и принимаются читать «Сутру бодхисаттвы Каннон»[323]. Все это помогает им уберечься от грозы.

Однако избежать смерти не в силах даже высокородные господа, восседающие на парчовых подушках. В положенный срок, хотят они того или нет, за ними приплывает ладья, перевозящая души умерших на тот берег. Вот и выходит, что человек не властен над смертью и никакие предосторожности тут не помогут. Но люди почему-то забывают об этом, предпочитая думать об удовольствиях.

В особенности это относится к придворным дамам. Все они происходят из знатных семейств и с младых лет, не ведая жизненных тягот, обучаются изящным манерам. С утра до вечера они услаждают себя игрой на кото и сложением стихов, любуются цветами вишни на заре и снегом в вечерних сумерках, восхищаются луной и алыми листьями осенних кленов. Все их помыслы устремлены к любви.

Предаваясь любовным утехам и возлияниям, они пекутся лишь о нарядах. Их жизнь протекает в мире грез, вдали от будничных треволнений. «Не зачерпнешь воды из ручья, не узнаешь ее вкуса», – гласит пословица. Придворные дамы общаются исключительно с благородными особами и не сталкиваются с людьми низкого звания, а потому не имеют понятия о трудностях и лишениях обыкновенной жизни. Им в голову не придет перед выходом из дома навернуть на ноги обмотки, чтобы подол кимоно не так скоро изнашивался.

В доме одного высокородного вельможи служила фрейлина по прозванию Угуису – «Соловей». Однажды, в двадцать четвертый день первой луны, когда зацвели сливовые деревья, госпожа отправила ее вместо себя в храм Китано[324] для участия в тамошнем празднике.

На обратном пути Угуису глядела в окошко паланкина, с любопытством наблюдая незнакомую ей жизнь. Вблизи квартала Нисидзин[325] сопровождавший ее челядинец вдруг спохватился, что, заплатив за представление кагура, забыл принести полагающиеся храму пожертвования. «Подождите, пожалуйста, я скоро вернусь», – сказал он и поспешил обратно в храм.

Угуису приказала поставить паланкин у ворот какого-то дома, из которого доносился стук ткацкого станка. Было слышно, как в кухне служанка что-то проворно толчет в ступке. Хозяйка, еще молодая женщина, расположившись на галерее, перебирала своими красивыми руками свежую зелень. Должно быть, она намеревалась приготовить дзони из остатков «зеркальных» моти[326] и попотчевать мужа. Муж с довольным видом растянулся возле нее, положив голову на порожек, как на изголовье.

– Ну вот, – заговорил он, – под Новый год мы благополучно расплатились по всем счетам и теперь можем дышать полной грудью. Разве не завидное у нас житье? Придворные, к примеру, вынуждены таскать на голове шапку-каммури[327] и кутаться в парадные одежды. Князьям тоже не легче: хочешь не хочешь, а носи на поясе мечи да обряжайся в камисимо[328]. Горожанину куда привольней! В старину какой-то поэт из благородных сочинил: «Для тебя, государь, молодые травы сбираю на весеннем лугу»[329]. А у нас в доме женушка перебирает молодую зелень, чтобы угодить своему муженьку, который любит сытно поесть. Плохо ли?

«Вот это и есть счастье», – с завистью подумала Угуису. Слова горожанина так глубоко запали ей в душу, что, воротившись во дворец, она сказалась больной и упросила госпожу отпустить ее на волю.

Очутившись на свободе, Угуису, не теряя времени, вышла замуж за какого-то горожанина. Все было бы хорошо, не находи бывшая фрейлина забавной саму мысль о том, что рисовые лепешки не растут в поле, а светильник не горит потому лишь, что в него не налили масла. Поскольку в житейских делах Угуису оказалась до крайности бестолковой, муж решил, что одной красоты для хозяйства маловато, и отправил ее обратно в родительский дом.

После этого она еще несколько раз выходила замуж, но столь же неудачно.

Спустя какое-то время к ней посватался владелец одной косметической лавки с Четвертого проспекта в надежде, что ее холеное личико послужит хорошей приманкой для покупателей. Но не тут-то было: Угуису посчитала, что сидеть в лавке и целыми днями расточать посетителям улыбки ниже ее достоинства. Кончилось тем, что и оттуда ее прогнали.

Испытав одно унижение за другим, Угуису вовсе утратила стыд и стала женой шута, подвизавшегося в одном из злачных заведений в квартале Хигаси-кавара. Поначалу супруги еще могли держать служанку, но потом впали в горькую нужду, а поскольку доход шута состоял лишь из чаевых, которые давали ему гости, выбраться из нищеты им не удавалось. Не было случая, чтобы они вовремя заплатили по счетам. В каждый из пяти больших праздников муж Угуису уходил из дому, стараясь избежать встречи с кредиторами.

Теперь Угуису уже не вспоминала о своем благородном происхождении, а от былой ее красоты не осталось и следа. Ходила она в старом, залатанном авасэ[330] из бледно-голубого шелка, едва спасавшем от холодов в месяц инея, а поясом ей служила простая бумажная веревка. Нечесаные волосы торчали у нее в разные стороны, чуть ли не по три недели кряду она не мылась, и прикоснуться к ней было столь же неприятно, как взять в руки гусеницу. Ногтей Угуису не стригла, зубы давно перестала чернить. Речь ее сделалась грубой, а голос – сиплым. Вот до чего она опустилась!

А уж на что диким стал ее нрав! Теперь она не видела ничего предосудительного в том, чтобы в одиночку бродить по ночным

улицам. Стоило какому-нибудь прохожему невзначай дотронуться до нее, как она принималась вымогать у него деньги, пуская в ход приемы, усвоенные от сборщиков долгов, и вскоре снискала славу мошенницы.

Едва ли честнее обходилась она с теми, для кого мастерила на заказ стеганые таби, крученые бумажные шнурки для подвязывания волос, плетеные пояса или обертки для благовонных свечей. Получив за них плату, она, вместо того чтобы отдать эти вещи заказчикам, продавала их, а вырученные деньги забирала себе. На эти заработки она и жила восемь или девять лет. «С этой женщиной опасно иметь дело», – предупреждали друг друга люди, но столица велика, и все сходило обманщице с рук.

– Должно быть, сам бог Удзигами не мог предположить, что жизнь этой женщины сложится таким образом. Обстоятельства меняют людей, и пока человек благоденствует, трудно угадать, что станет с ним потом. Если задуматься, она сама уготовила себе такую печальную судьбу, соблазнившись жалким счастьем простолюдинов и оставив благодатную службу во дворце. В нашем мире и мужчинам, и женщинам следует иметь лишь такого покровителя, который понимает обычаи и устои их семьи.

Так говорил человек, хорошо знавший Угуису.

Из сборника «Ворох старых писем»

И в столице все вышло не так, как я ожидал

Город Сэндай,
улица Хонтё, первый квартал,
в лавку «Могамия»,
г-ну Итиэмону

Нарочно наняв для этого случая гонца, спешу отправить Вам весточку. Как Вы поживаете, здоровы ли? А я вот крепко стосковался по родным краям. С тех пор как мне по молодости лет захотелось вкусить прелестей столичной жизни и я, не послушавшись Ваших предостережений, уехал из родного города, минуло уже восемнадцать лет, но былого я не забыл.

Интересно, что поделывает моя женушка? Верно, все еще дуется на меня за то, что я от нее сбежал. Между прочим, я трижды высылал ей разводную бумагу, но она зачем-то все еще хранит мне верность и отказывается выйти замуж за другого. А муж нужен женщине непременно, чтобы было кому ее содержать. Я же порвал с нею окончательно. И как только она ухитрилась прикипеть душой к такому бессердечному человеку? Прошу Вас, постарайтесь ей втолковать, что она должна подумать о себе и устроить свою судьбу, пока еще молода. Я, как-никак, в свое время доводился ей мужем и дурного не посоветую.

Если Вам любопытно, почему я от нее сбежал, знайте: из-за ее проклятой ревности. До того замучила она меня своими попреками, что даже видеть ее стало невтерпеж. Не будь я в положении мужа-примака, вытолкал бы ее вон из дома, а тут что поделаешь? Пришлось сбежать самому.

Поселившись в Киото, я открыл небольшую меняльную лавчонку на улице Каварамати, у Четвертого проспекта, а чтобы не мыкаться одному по хозяйству, нанял приказчика и стряпуху.

Зная, что на поприще менялы особенно не разбогатеешь, я старался выгадывать буквально на всем. Дрова в столице дороги, так что огонь в очаге мы разводили мелкими прутиками толщиной с палочки для еды, как последние скряги. Еды готовили ровно столько,

чтобы хватило на троих, никаких излишеств себе не позволяли. Кстати сказать, в подвесных кастрюлях, которыми здесь пользуются, и за четыре часа не приготовишь пищу, хоть целую охапку дров сунь в очаг.

Вообще, как посмотришь, до чего различаются между собой нравы и привычки людей в разных областях страны, просто диву даешься. Например, на той пище, что у вас за день съедает одна служанка, здесь с легкостью могут просуществовать пять женщин. У вас на медяк можно купить четырнадцать, а то и пятнадцать свежих сардин, и самая последняя прислуга позволяет себе за один присест отправить их в рот целый десяток, причем едят их жареными и вместе с головой. А в столице за этот же медяк вам дадут шестнадцать или семнадцать крохотных вяленых сардинок. Их обжаривают, приправляют соей и едят всего по три штучки, но при этом даже прислуга гнушается есть их вместе с головой.

Люди здесь приучены к изысканной жизни, а что до женщин, то нигде нет таких красавиц, как в Камигате. К тому же они еще и хлопочут по дому не покладая рук. Ну, а если говорить о бежавших влюбленных, женившихся наперекор родительской воле, то в этих семьях женщины работают наравне с мужчинами. И впрямь по нынешним временам жену иметь выгодно.

Вот и я, поразмыслив, решил жениться, приметив одну девицу вполне сносной наружности, отец которой торговал косметическими товарами и держал лавку на Храмовой улице. В отличие от прежней моей женушки она оказалась совсем не ревнивой и, сколько я ни развлекался на стороне, ни разу меня не попрекнула. Это даже показалось мне странным, и, пока я старался понять, в чем тут дело, она сама заявила, что терпеть меня не может и хочет со мной развестись. Для меня, мужчины, выслушивать такие речи было оскорбительно, и, не выдержав, я крикнул ей: «Пакостница ты этакая!» В ответ она принялась колотить посуду, делая вид, будто роняет ее на пол по нечаянности, а потом и вовсе прикинулась больной и по целым дням не вставала с постели. Бывало, попросишь ее нанизать медяки на шнур, так она вместо девяноста шести монет нанижет целую сотню, хотя для меня это прямой убыток. Или же возьмется солить овощи и забудет положить в кадку соль – вот и гниют у нее тыква и баклажаны. В фонаре, который горит всю ночь, она зажигала шесть, а то и семь фитилей, хотя вполне можно обойтись одним-двумя. Зонтик свой

всегда норовила сложить, не дав ему как следует обсохнуть. Увидев у ворот какого-нибудь бродячего певца, тут же несла ему деньги и рис. Словом, она была из тех, о ком говорят: «согрев ванну, моется в холодной воде». К чему ни притронется ее рука, куда ни ступит ее нога – везде одни убытки. «С такой женой недолго и по миру пойти», – подумал я и, пока не поздно, дал ей развод.

Наученный горьким опытом, я рассудил, что для успешного ведения хозяйства нужна женщина немолодая, и поделился своими мыслями с одним человеком. Тот вызвался подыскать мне подходящую супругу, и вскоре дело сладилось. Женщина эта доводилась дочерью хозяину постоялого двора для паломников по святым местам, что находится напротив храма Роккакудо. Овдовев, она вернулась под родительский кров. По словам свата, невесте только что исполнилось двадцать семь лет, но я прикинул, что года три или четыре он ей наверняка убавил, так что выходило лет тридцать с небольшим. Как бы то ни было, прельщенный ее приятной внешностью, я сразу же на ней и женился. Однако со временем, присмотревшись к своей молодой супруге, я понял, что она уже в преклонных летах. На всякий случай я решил расспросить соседа, посвященного в дела этой семьи, и узнал от него, что у моей жены имеется дочь тридцати шести лет. Даже если предположить, что она появилась на свет, когда матери было семнадцать, получалось, что моей женушке перевалило за пятый десяток. «Ловко же меня одурачили!» – подумал я, и с той поры престарелая супруга уже не внушала мне никаких чувств, кроме отвращения. А когда я увидел, как она, думая, что меня нет поблизости, тайком выдергивает из головы седые волосы, меня стало и подавно с души воротить, и я развелся с нею, невзирая на свадебные расходы.

После этого посватался я к женщине, которая, по слухам, некогда служила фрейлиной во дворце. Мало того что она была хороша собой, так еще и нрав имела добрый. Такая пришлась бы по душе любому. «С этой женщиной жизнь будет для меня сплошным праздником», – решил я и, не раздумывая, взял ее в жены. Вскоре, однако, выяснилось, что она ничего не смыслит в хозяйстве. Ладно бы еще она не различала делений на шкале весов – женщине благородного происхождения это простительно. А то, бывало, увидит перевернутую глиняную ступку, залюбуется и этаким восторженным голоском

произнесет: «Какое любопытное керамическое изделие! Ему нарочно придали форму горы Фудзи?» Или же, взяв в руки крюк, которым вытаскивают ведро из колодца, удивленно вскинет брови и спросит: «Что это, якорь от лодки?» Ну, а о мерке в пять го[331] и вовсе говорить не приходится – она ни за что не догадалась бы, каково ее назначение. С подобным воспитанием, решил я, в нашей убогой кухне ей не место, и, хотя расставаться с этой милой женщиной мне было жаль, пришлось дать развод и ей.

Вскоре один знакомый сосватал мне некую вдову. Помимо дома в Карасуме, у нее был еще один, который она сдавала внаем за семьдесят моммэ в месяц. Однако, как выяснилось, на шее у вдовы сидело девять человек нахлебников: престарелые дед с бабкой, а также не то младшая сестра, не то племянница с семьями. Уже с одним этим было трудно мириться, а тут еще я узнал, что покойный муж оставил ей долгов на двадцать три каммэ. «Этак за всю жизнь не расплатишься», – испугался я и покинул любезную вдовушку, разумеется, понесши соответствующие убытки.

Через некоторое время я прослышал, что у торговца подержанными вещами с улицы Такэя-мати есть дочь на выданье. Сват сообщил мне, что в приданое за ней дают три каммэ серебром и сверх того еще полный набор летней и зимней одежды. На радостях я сразу же вручил свату деньги, причитающиеся ему за услуги, и незамедлительно отпраздновал свадьбу. Но и на сей раз меня ожидало разочарование: по два, а то и по три раза в месяц моя молодая жена ни с того ни с сего мешалась в рассудке и, раздевшись догола, выбегала за ворота. Ничего не поделаешь, пришлось отправить ее назад к родителям.

Казалось бы, женщин здесь – хоть пруд пруди, а достойной супруги не сыщешь. За семнадцать лет жизни в столице я сменил двадцать три жены, и у каждой обнаруживался какой-нибудь изъян, так что поневоле приходилось разводиться. Поначалу у меня были кое-какие сбережения, но все они разошлись на свадебные расходы, и теперь я остался без гроша за душой. Снова искать себе жену мне уже не по средствам. Живу я сейчас в убогом бараке на задворках улицы Такэдадори в Фусими, а чтобы не пропасть с голоду, мастерю из бамбука каркасы для плетеных шляп.

Жизнь мне совсем опостылела, но ведь в этом мире и не умрешь по своей воле. Не думайте только, что, оказавшись в таком печальном положении, я решил вернуться к своей бывшей жене. Об этом не может быть и речи. Видно, брак наш с самого начала был несчастливым, раз у меня не осталось никакого чувства к этой женщине. Постарайтесь объяснить ей, какой я жестокосердый человек, и уговорите ее как можно скорее выйти замуж.

Но вообще-то, когда бедствуешь, все равно где жить – в столице или в деревенской глуши. А супруги на то и супруги, чтобы быть рядом, помогая друг другу. Если сравнить теперешнюю мою жизнь с прежней, то прежняя, при всех ее недостатках, мне куда милее. И то сказать, за все годы, проведенные в столице, я ни разу не полюбовался вишнями в цвету, ни разу не вышел прогуляться по вечерней прохладе. Не было случая, чтобы осенью я полакомился грибами мацутакэ из Саги, а зимой, когда выпадает снег, поел супа из рыбы фугу. О столичной жизни мне напоминал лишь грохот запряженных быками телег, возвращающихся в Тобу.

Приехав в Киото, я только и знал, что жениться да разводиться, вот и промотал все свое состояние. Стыдно признаться, да ничего не поделаешь. Только Вы уж, пожалуйста, никому об этом не рассказывайте.

Это мое последнее письмо к Вам. Считайте меня умершим и не берите на себя труд меня разыскивать. Если суждено мне выжить, постригусь в монахи и, возможно, когда-нибудь, скитаясь по стране, побываю в ваших краях.

Засим прощайте.

Писано Фукусимаей Кухэйдзи
в столице.

Ларец с завещанием, повергшим всех в растерянность

Г-ну Цусаки Дзиндаю
в собственные руки

Даже люди, постигшие законы судьбы, нередко теряются при виде кончины близкого человека, мне же, не наделенному подобной мудростью, тем более пристало предаваться скорби.

В прошлом месяце, двадцать девятого дня, упокоился наш старший брат Дзинрокуро. Ему дали посмертное имя Сюнсэцу Досэн, так что не преминьте и Вы совершить по нем заупокойную службу. До последнего часа брат вспоминал Вас и все пенял нам, домочадцам, за то, что отправили Вас торговать в далекий край Мацумаэ. «Будь Дзиндаю рядом, – повторял он, – мне было бы кому довериться».

Вплоть до самой кончины Дзинрокуро находился в сознании, собственноручно написал завещание и попросил пятерых городских старейшин скрепить его, как полагается, своими печатями. В завещании говорилось, что по прошествии семнадцати дней после его кончины нам следует в присутствии всех родственников открыть внутреннюю кладовую и произвести раздел оставленных ценностей. Причитающуюся Вам долю я высылаю с этим гонцом, так что не забудьте ее востребовать.

Относительно своего имущества покойный распорядился следующим образом. Дом вместе со всей утварью, а также триста пятьдесят каммэ серебром он отказал старшему сыну, Дзинтаро. Усадьба с домом в одиннадцать кэнов на той же улице и двести пятьдесят каммэ в придачу отошли второму сыну, Дзиндзиро. Земельный участок в провинции Идзуми и тридцать каммэ унаследовала старшая сестра покойного – монахиня Мёсан. Нам с Вами как младшим братьям он завещал соответственно пятьдесят и двадцать пять каммэ. Еще пять каммэ он отписал приказчику Куробэю. В общем, каждому из родственников и прислуги счел нужным что-нибудь оставить, так что все были тронуты его вниманием.

Единственно о ком в завещании не было упомянуто, так это о его супруге. На сей счет Дзинрокуро оставил отдельное распоряжение, в котором указывалось, что, поскольку она не проявляла должной заботы о его сыновьях, ей надлежит вернуться в родительский дом, забрав с собой сундук и прочее приданое. Годами она, мол, еще молода, и эти вещи могут ей пригодиться, коли вздумает повторно выйти замуж. А поскольку денег за ней в приданое не дали, он считает себя вправе по этому поводу не беспокоиться. Уехать же к родителям она должна в течение тридцати пяти дней после его смерти.

Тут старший сын, Дзинтаро, спокойно и вдумчиво возразил: «Поскольку дело идет не о ком-нибудь, а о законной супруге покойного отца, в этом единственном случае я позволю себе не посчитаться с его волей. Рядом с домом я построю для матушки отдельный флигель, где она сможет жить на покое, и вдобавок дам ей двадцать каммэ, чтобы она ни в чем не нуждалась». При этих словах все прослезились и стали хвалить Дзинтаро, – дескать, в его годы редко кто способен на подобное великодушие. А кто-то из старейшин заметил, что вдова должна быть довольна этим решением. Но та и не думала радоваться. Оставив недорезанной морскую капусту для постной трапезы, она сказала, постукивая ножом по кухонной доске: «Я – женщина, и мне не впервой терпеть унижения. Повинуясь воле покойного, я уеду жить к родителям. Денег же, о которых вы говорите, я не приму. Возможно, это прозвучит нескромно, и все же позволю себе заметить, что на протяжении последних пяти-семи лет мне не раз приходилось обращаться к родителям за деньгами на собственные нужды, и я вполне удовлетворюсь, если в порядке возмещения вы дадите мне какую-нибудь ничтожную сумму. В любом случае я сегодня же покину этот дом. Что же до повторного замужества, то у меня и в мыслях этого нет. Будущее покажет, что я говорю чистую правду». С этими словами она переоделась в уличное косодэ и, хотя прежде всегда разъезжала в паланкине, на сей раз, учитывая царящую в доме суматоху, отправилась пешком. Кто-то из родственников попытался ее удержать, – не след, мол, пороть горячку, – другие же посчитали, что ей и в самом деле лучше уйти. Разные у людей сердца – у кого доброе, а у кого и нет. Вот так посреди всеобщего горя вдова удалилась из дома, оглашая округу громкими воплями. После этого один из старейшин заметил: «Судя по всему, покойный был весьма недоволен

своей супругой, и все же с его стороны было несправедливо обойти ее в завещании. Вряд ли люди вас засмеют, если вы уделите ей малую толику наследства». Потолковав между собой, мы вместе с вещами отослали ей пять каммэ, благо они лежали в шкафу.

В назначенный день мы вскрыли кладовую и в присутствии всех родственников осмотрели ее, только ящиков с деньгами там не оказалось. «Вот те раз», – подумали мы и принялись обыскивать каждый уголок. Наконец на дне старого длинного сундука кто-то обнаружил ларец с долговыми расписками, к каждой из которых был прикреплен соответствующий ярлык. Как выяснилось, все свое огромное состояние брат пустил на ссуды разным князьям и вместо денег оставил нам в наследство их долговые расписки. Все прямо ахнули, – ведь бумагами этими сразу не воспользуешься, а к тому времени, когда придет срок получать по ним деньги, может произойти все что угодно. Из наличных денег оставалось лишь пять каммэ, которые мы отправили вдове. В итоге Дзинтаро оказался почти без гроша, и мне до сих пор приходится понемногу ссужать его деньгами в обмен на расписки, хотя для меня это весьма обременительно. Как быть с многочисленными работниками – ума не приложу. Денег на производство сакэ теперь нет, а бумаги с долговыми обязательствами в оборот не пустишь. Да, брат проявил непростительное легкомыслие, и теперь дети его вынуждены страдать. Причитающуюся Вам долю наследства приходится высылать все теми же долговыми расписками, – так посоветовали мне городские старейшины.

Дзинрокуро был человеком основательным и никогда не шел на рискованные сделки. Но тут, как видно, позавидовал киотоским ростовщикам, сколотившим огромные состояния на ссудах князьям, и последовал их примеру. С таким же успехом он мог просто выбросить свои деньги в мусорную яму. Да, чуть не забыл: помимо расписок от князей, среди бумаг брата было обнаружено долговое обязательство на тридцать каммэ от одного из театров, которому он оказывал покровительство. Похоже, он и сам понимал, что деньги эти пропащие, и никому его не завещал. И впрямь о размерах состояния человека можно судить лишь после его смерти. Мне и во сне не могло привидеться, что у брата совсем нет наличных денег.

Покойный отец наш, Досай, всегда говорил, что горожанин может ссужать деньги только в одном-единственном случае – под залог

усадьбы. Да и то в этих целях разумно использовать лишь треть от имеющихся денег. Раздавать же все деньги, каким бы надежным ни казался залог, ни в коем случае не следует. Так он нам втолковывал, и эти его слова я вспоминаю теперь, когда вместо денег мы остались с никому не нужными долговыми расписками.

Да, много печального в нашей переменчивой жизни, но и забавного тоже хватает. Недавно я узнал, что вдова Дзинрокуро успела найти себе нового мужа, хотя со смерти брата еще не прошло ста дней, и у них уже состоялась помолвка. Что ж, подобное нередко случается на свете, но могла бы хотя бы для вида подождать год. Добро бы она была из тех обездоленных женщин, которые пропитания ради вынуждены работать наравне с мужем. Те после смерти супруга впадают в такую нужду, что, позабыв о долге и приличии, сразу же выскакивают замуж за первого встречного.

Вскоре после того как вдова Дзинрокуро обнаружила перед нами свое истинное лицо, произошла следующая история. В один из дней мне докладывают, что от нее явился посыльный и хочет забрать сундук, стоящий в углу чулана. Когда после смерти брата мы отправляли вдове ее вещи, про него почему-то забыли. «Немедленно отдайте ей сундук, – распорядился я. – Мне противно держать его в доме даже лишний час».

Я сразу же отправил в чулан двух или трех служанок и велел им вынести сундук, но они не смогли сдвинуть его с места. Тогда за сундук взялись несколько дюжих парней, но и у них ничего не получилось. А поскольку он был заперт на замок да к тому же еще и опечатан, они отступились в полной растерянности, приговаривая: «Обычно в таких сундуках хранят бамбуковые распорки и деревянные распялки для выстиранной ткани, а сюда, поди, двадцать каменных жерновов запихнули!»

Тут подошел я. Гляжу – в крышке сундука проделано небольшое отверстие. «Странно», – думаю, без лишних слов взламываю замок, и что же? – сундук битком набит медными монетами. Видно, не один год эта плутовка их туда кидала. До чего же алчное создание! Находясь на полном содержании у мужа, она тайком припрятывала деньги, да еще в таком количестве! Но за всякое дурное дело приходит расплата, вот ее хитрость и выплыла наружу. По моим подсчетам, в сундуке этом не меньше восьмисот каммэ.

Брат наш Дзинрокуро жил на широкую руку, поэтому дела его и стали расстраиваться. Не иначе она уже давно вознамерилась покинуть своего супруга и начала загодя к этому готовиться. Какое вопиющее бессердечие! Подобных нечестивиц на свете немало, так что по нынешним временам надобно со всеми быть начеку, даже с собственной женой. А посыльному я сказал так: поскольку во время свадьбы сундук несли двое слуг, пусть и на этот раз за ним явятся двое молодцев, покрепче да поздоровее, чтобы ноша оказалась им по плечу. Видно, вдова усовестилась, – во всяком случае, до сих пор за сундуком так никто и не пожаловал.

Было бы славно, если бы до конца года Вы смогли воротиться домой. Жду Вас с нетерпением, много о чем хочется потолковать. А пока жду Вашего ответного письма.

Ваш брат Дзинтабэй

Писано в Оцу 22-го дня четвертой луны.

Мир, погрузившийся во мрак

Провинция Этидзэн, город Футю,
достопочтенному монаху Дзёгё

Как дикие гуси по весне возвращаются в землю Косидзи[332], так и я шлю Вам весточку о себе. Письмо это по моей просьбе написал мой близкий друг, священник, который долгие годы служит в храме Мёсиндзи. К слову сказать, он приходится родственником моей покойной жене, так что нас с ним связывают двойные узы – не только духовные, но и семейные. Мой добрый наставник помогает мне укрепить сердце в чаянии будущей жизни, за что я ему безмерно благодарен. Ныне он направляет стопы в свое родное селение Мураками в провинции Этиго и любезно согласился по пути наведаться в Ваши края и вручить Вам это письмо. Если он пожалует к Вам под вечер, предложите ему переночевать в Вашей хижине. Думаю, Вам будет полезно с ним побеседовать: его мудрые слова позволяют глубже осознать непрочность всего мирского.

Воистину, мы с Вами родные братья, и нам подобало до конца дней хранить привязанность друг к другу, как это заведено между людьми. Но я, вняв наветам жены, принудил Вас, своего младшего брата, уехать из столицы и принять постриг. Думая о том, сколько лишений Вам довелось претерпеть за эти годы, я не могу не испытывать горечи. И все же, как мне представляется, в конечном счете мое решение обернулось для Вас благом, ведь всем нам рано или поздно придется покинуть сей мир. К тому же Вам, человеку духовного звания, сподручно возносить молитвы об усопших наших родителях, а это дорогого стоит. Что же до моей жены, то, будучи, как и все женщины, существом неразумным, она наговорила про Вас недоброе, и потому, наверное, не дано ей было дожить до старости. Вот уже почти пять лет, как она скончалась. Так что, пожалуйста, не держите более на нее зла.

До сих пор я скрывал от Вас свою беду, но теперь решил откровенно обо всем написать. Я совершил злодеяние, за которое на меня обрушилась кара, поистине страшная кара.

Как Вы знаете, на Третьем проспекте в столице я держал винную лавку, а со временем помимо этого стал торговать еще и бумагой. Дело мое пошло в гору, в деньгах стеснения не было, и все складывалось для меня наилучшим образом. Единственное, что мне досаждало, так это мое жилище – низенький, темный домишко. И то сказать, он стоит еще с эры Гэнва[333], лет семьдесят, а то и больше. Вот, думаю, скоплю денег и перестрою его, как мне хочется, ведь нет для человека больших радостей, чем добротная одежда, сытная пища да просторный дом.

Вдруг в один прекрасный день в мою лавку пожаловал самурай, по всей видимости, отряженный каким-то владетельным князем за покупками, а при нем еще был сопровождающий с дорожным сундучком через плечо. Самурай спросил у меня бумаги «хосё»[334] среднего размера, я отсчитал ему триста листов и получил с него деньги. Перед уходом покупатель перекинулся со мной двумя-тремя словами о недавних театральных представлениях и за разговором позабыл свой кошель. Только он вышел, я взял кошель в руки, а он набит деньгами. Соблазнившись легкой поживой, я припрятал кошель, а сам сижу как ни в чем не бывало.

Тут вбегает самурай и говорит: «Я забыл у вас свой кошелек и вернулся за ним». – «О каком кошельке идет речь? – спрашиваю. – Я ничего такого не видел». А он стиснул зубы и отвечает: «Я точно помню, что оставил его здесь. В кошельке было сто восемьдесят три рё, двадцать четыре или двадцать пять золотых бу и шестьдесят мэ серебром. Эти деньги не мои – они принадлежат моему господину, который послал меня за покупками. Если моя оплошность откроется, для меня, самурая, это будет бесчестьем. Прошу вас, верните мне кошелек, я вовек не забуду, как вам обязан». Редко случается, чтобы человек с двумя мечами на поясе подобным образом унижался перед простолюдином. Но я уперся и стоял на своем, да еще сделал вид, будто его подозрения меня оскорбляют. Самураю ничего не оставалось, как уйти прочь.

Только не прошло и двух часов, как он снова вернулся, на сей раз с вороной в руке. «Если ты и теперь станешь отпираться, – говорит, – так и знай, тебе придется за это ответить!» Тут он выхватил меч, выколол вороне оба глаза и швырнул ее в мою сторону. С тем он и ушел. Я же, не боясь людского суда, продолжал твердить, что никакого

кошелька не видел. А спустя четыре или пять дней я узнал, что этот самурай покончил с собой, вспоров себе живот в Курodани.

Как только весть об этом разнеслась по округе, люди перестали со мною кланяться, и жить на прежнем месте я уже не мог. Я продал свой дом и перебрался в Сагано[335], где с помощью тамошних поселян в живописном месте построил себе хижину, чтобы усердными молитвами смыть с души этот тяжкий грех. Я обрил голову, облачился в рубище и дал себе зарок провести остаток дней в этой горной глуши. А поскольку детей у меня нет, ничто не мешало мне по собственному усмотрению распорядиться своей судьбой. Мало-помалу я стал освобождаться от пут суетного мира, и передо мной открылась дорога прозрения. Но однажды среди ночи ко мне нагрянула шайка лиходеев. Они так и назвались: «Мы – столичные разбойники». И как только им удалось меня разыскать? Перевернув мою хижину вверх дном, они забрали все деньги, что я копил на протяжении целой жизни.

Оставшись без гроша, я был вынужден ходить по округе и бить в гонг, выпрашивая у сердобольных людей по горстке риса, – этими подаяниями кое-как и перебивался со дня на день. «Что пользы в такой жизни? – подумал я. – Уж лучше умереть, уповая на лучшую участь в будущем существовании». Как-то раз ночью я отправился к озеру Хиросава и, выйдя на западный берег, принялся искать места поглубже, чтобы поскорее свести счеты с жизнью. Но тут из-за сосны появился тот самый самурай. Он вцепился в меня с такой силой, что я чуть не задохнулся, и произнес: «Значит, ты, мерзавец, решил утопиться? Я этого не допущу! Ты будешь страдать до тех пор, пока обида моя не иссякнет!» Что было делать? Пришлось возвращаться в свою хижину. Душу мою терзали ужас и отчаяние, жизнь походила на страшный сон.

Спустя три дня после этого, проснувшись на рассвете, я снова попытался покончить с собой, откусив себе язык. Но и на сей раз передо мной возник призрак самурая. Он крепко стиснул мою голову и сказал: «Сколько бы ты ни пытался лишить себя жизни, ничего у тебя не получится. Моя ненависть к тебе превратилась в страшного беса, так что жди, пока он явится за тобой в огненной колеснице!» Мне сделалось до того жутко, что кости заныли.

С тех пор чего я только ни измышлял, чтобы поскорее умереть, – все было тщетно. Казалось бы, раз жизнь твоя, ты и волен положить ей

конец, но не тут-то было. О таком страшном наказании мне никогда еще не доводилось слышать! Сколько ни раскаивался я в содеянном, прошлого не воротишь. Проклиная самого себя, я при жизни оказался низринутым в бездну преисподней. Раз так, решил я, подвергну себя еще и мучениям царства голодных духов – и перестал есть, но смерть ко мне по-прежнему не приходила. Перед каждым встречным исповедовался я в своих грехах, и из глаз моих текли кровавые слезы.

И вот однажды под вечер вдалеке послышался унылый крик ворон, спешащих в свои гнезда. Я и опомниться не успел, как они влетели в мою хижину и выклевали мне оба глаза. В тот же миг мир для меня погрузился во мрак. Теперь я уже никогда не увижу ни белых цветов сакуры на горе Арасияма[336], ни алых листьев кленов на горе Такао, ни луны, ни снега. Только уши мои слышат по-прежнему, и временами до меня доносится голос оленей с горы Окураяма, шум волн в реке Киётакигава да завывание ветра в соснах Тоганоо.

Люди, с которыми я водил дружбу в столице, больше не навещают меня, словно дорогу ко мне позабыли. Готовить пищу мне не на чем: для этого нужны дрова, а где я их добуду? Бывает, услышу, как деревенские ребятишки возвращаются с прогулки в горах, выхожу и пою им всякие потешные песенки. За это они делятся со мною собранными плодами. А чтобы утолить жажду, спускаюсь к ближайшей речушке. Худо-бедно, до нынешнего дня я дотянул, а что станется со мною завтра – не знаю.

Единственный, кто ни разу еще не покинул меня в беде с тех пор, как мы познакомились в столице, – это добрейший священник. Его рассказы о неумолимых законах судьбы приносят мне облегчение. Прошу и Вас, любезный братец, после моей смерти помянуть мою душу молитвой. Я по сию пору горько раскаиваюсь, что поступил против совести, присвоив себе чужие деньги, и довел человека до гибели. Сам же я все еще живу на свете, и смерть не идет ко мне, сколько ее ни призываю.

Засим прощайте.

Писано Дзисином в Сагано
в последний день третьей луны.

Дока-купец, равного которому не сыскать во всем Эдо

Г-ну Тюдзаэмону,
аптекарю

Нынче я отправляю своего приказчика по делам в Нагасаки и, пользуясь сей благоприятной возможностью, посылаю Вам письмо, а также отрез шелка цумуги в полоску для Вашей жены. Пусть сошьет из него платье на каждый день. По теперешним временам даже у нас, в Эдо, не принято рядиться в чересчур яркие одежды.

Спешу осведомиться о Ваших делах. Питаете ли Вы по-прежнему пагубное пристрастие к вину? Или с этим покончено? Имейте в виду, нет ничего страшнее похмелья да процентов с денег, взятых в долг. Право же, Ваш образ жизни недоступен моему разумению. В наше время для того чтобы разбогатеть, необходимо иметь рядом человека, способного ссудить Вас деньгами. Но Вы по легкомыслию не желаете этого понять.

Люди зачастую только кажутся умными, а на самом деле легко поддаются на обман. Все это так, однако обольщаться на сей счет тоже не следует. Вот Вы, к примеру, носите кимоно из дорогого шелка тонкой выделки, поверх него – накидку из черного шелкового крепа, да еще вертите в руках бамбуковую трость, хотя в Ваши молодые годы она ни к чему. У кого, спрашивается, Ваш щегольской вид может вызвать доверие, особенно в таком городе, как Сакаи?

Человеку с достатком ниже среднего следует держаться сообразно своему положению: прическу делать самую скромную, с гладко зачесанными на висках волосами; одеваться в простое полотняное кимоно, скажем, бледно-голубого цвета с гербом, нарисованным лаковой краской, которая облезает после первых двух или трех стирок; подпоясываться поясом, подбитым ватой, носить на боку кошель из грубой кожи и пользоваться веером, протершимся на сгибах. Каждый месяц двадцать седьмого и двадцать восьмого числа надо непременно посещать храм, загодя купив на три медяка сосновых веток и трав. Беднякам даже летом не зазорно носить кожаные таби и зимние

сандалии. Словом, выглядеть нужно так, чтобы окружающие думали: этот человек весь как на ладони.

Однако чтобы втереться в доверие к богачу, одного этого мало. Надобно еще сойтись с ним покороче, проведать раз, другой, когда он захворает. Постепенно в его доме к Вам привыкнут, а если зайдет разговор о том, какого врача лучше пригласить, не стесняйтесь и бойко, как свой человек, подайте какой-нибудь совет. Неплохо также послать больному гостинец, – скажем, рыбу, которая ему не повредит. Не забудьте и супруге его поднести какие-нибудь сладости. А дальше все пойдет своим чередом: больной поправится и непременно отблагодарит Вас за заботу. Тогда Вы явитесь к нему уже затем, чтобы выразить радость по случаю его выздоровления. Постарайтесь, улучив удобный момент, оказать ему услугу, – например, найти заемщика, готового взять ссуду под надежный залог. Так Вам удастся снискать расположение не только самого богача, но и его приказчиков. После этого Вы с чистой совестью сможете просить у него денег взаймы. Для первого раза возьмите небольшую сумму и верните ее точно в срок. В следующий раз попросите сумму покрупнее. Умело распорядившись этими деньгами, Вы возвратите ему в конце года две трети долга, а оставшуюся часть отдавать не спешите, пусть это будет предлогом для дальнейшего знакомства. И тогда уже смело занимайте столько денег, сколько Вам требуется. Пустив их на расширение своего дела, Вы за короткое время сможете сколотить порядочное состояние.

Главное для торговца – иметь источник, из которого можно свободно черпать деньги. Располагая скудными средствами, успеха не добьешься. Вам же явно недостает купеческой смекалки, и поэтому хозяйство Ваше не только не наладится, но постепенно совсем захиреет.

Когда все вы от меня отвернулись, мне пришлось бежать из Сакаи, не имея денег даже на дорогу. Я выклянчил в долг небольшую сумму у менялы с улицы Осёдзи, соврав ему, что собираюсь тайком от отца совершить паломничество в храмы Исэ. На эти деньги я кое-как добрался до Эдо, а что делать дальше – неизвестно, и обратиться за помощью не к кому. Спустя какое-то время я решил попытать счастья в торговле шинкованной морской капустой. В то время она была здесь в диковинку, к тому же Эдо – город людный, и затея моя удалась: за четыре-пять лет мне удалось скопить восемьдесят рё. После этого я

стал закупать морскую капусту в Мацумаэ и переключился на оптовую торговлю. Казалось, еще немного, и богатство поплывет мне в руки, но я понимал, что без больших денег ничего не достигну.

И тут я прослышал об одном враче, который пользовал всяких вельмож и толстосумов. Недолго думая, я притворился больным, пригласил этого врача к себе, терпеливо принимал прописанное им лекарство, а потом в знак благодарности вместо одного бу[337], полагавшегося ему за услуги, поднес целых пять рё и сверх того послал ему шелковой ваты, бочонок сакэ и рыбу. Получив столь щедрое вознаграждение, врач повсюду растрезвонил, будто денег у меня немерено. После этого все вокруг стали относиться ко мне с доверием, и торговцы отпускали мне в долг всё, что я пожелаю. Выбрав подходящий случай, я рассказал врачу, что нуждаюсь в средствах для расширения дела, и он согласился выступить за меня поручителем. С его помощью я получил ссуду в размере пятисот золотых кобанов.

С тех пор дела мои пошли в гору, и теперь, по прошествии двадцати четырех с лишним лет, я располагаю состоянием в девять тысяч рё, не считая недвижимости и прочего имущества. Это выяснилось в начале нынешнего года, когда я проводил у себя переучет. В нашем мире без денег состояния не наживешь. Эту истину и Вам полезно усвоить.

Вообще говоря, Эдо для торговца – наиблагодатнейшее место. Было бы хорошо, если бы Вы прислали сюда своих сыновей, пока они еще не приобрели дурных привычек. Если мальчишки не охочи до чужого добра, я обещаю, что лет через десять они вернутся к Вам, имея по три сотни рё на брата. Разумеется, можно заработать и больше, но это уже зависит от них самих.

У здешних торговцев в обычае держаться скромно. Вот я, к примеру, хоть и имею состояние в десять тысяч рё, всегда хожу в баню один, без прислуги, и сам несу банный халат, намотав его на шею. Жена моя не гнушается собственноручно подавать завтрак и ужин всей многочисленной прислуге. Казалось бы, не хозяйское это дело, но если каждый станет накладывать себе еды сколько захочет, за год убыток составит не менее пятидесяти рё. Оттого, что жена два раза в день поработает черпаком, руки у нее не замараются, и теми же руками она сможет потом возжечь благовония на домашней божнице.

А что толку, если Ваша супруга напялит на себя парадную накидку и усядется посреди комнаты, чванливо прищурив глаза? Сколько бы она ни строила из себя благородную особу, свои ноги-тяпки ей не переделать, они все равно выдают ее деревенское происхождение.

Поистине, нет на свете ничего горше безденежья. И лживость, и подобострастие, и вообще все пороки проистекают от бедности. Говорят, всяк в нашем мире наполовину мошенник. Вы же, судя по всему, – и того более. Такая жизнь недостойна мужчины. Подумайте хотя бы о детях и возьмитесь наконец за ум.

Мацумаэя Гондаю

Писано в Эдо 8-го месяца 9-го дня.

Бегство, приведшее к двум подносам

Г-ну Кикиэмону,
в лавку «Тадая»

Спешу поделиться с Вами своим горем: внука моего Тёитиро постигло страшное несчастье. И все по вине няньки, которую я взяла к нему этой весной. Не сообразила я, старая, предупредить ее, чтобы, возясь с ребенком, не втыкала в прическу гребней и шпилек с острыми концами!

Прежде эта нянька служила в доме одного богатого оптовика и там привыкла наряжаться куда более щеголевато, чем приличествует женщинам ее положения. Но я подумала, что за восемьдесят моммэ серебром в год и новую одежду к каждому сезону лучше держать в доме женщину приятной наружности, нежели какое-нибудь пугало, и наняла ее к внуку. Скромным видом она и впрямь не отличалась, но зато оказалась благонравной и работящей, а если с кем и водила дружбу, то лишь с людьми порядочными, так что я нарадоваться на нее не могла.

Но вот однажды, взяв на руки Тёитиро, она отвлеклась и не заметила, как край гребня коснулся его носа, а шпилька вонзилась ему в левый глаз. Оттуда хлынула кровь, и мальчонка так закричал, что казалось, сейчас испустит дух. Мы сразу принялись врачевать рану, и в итоге Тёитиро поправился, только ослеп на этот глаз. Уже от одного этого впору было прийти в отчаяние, а тут еще вслед за левым у него стал отказывать правый глаз. За какие грехи выпала мне такая кара, что мой единственный внук с малолетства стал калекой? Уродился он здоровым, крепким ребенком, ничуть не хуже других, и я надеялась, что, выросши, он станет мне опорой в старости. Увы, напрасно надеялась! А народ теперь пошел черствый, – завидев моего Тёитиро, люди тычут в него пальцем и потешаются: «Глядите, не иначе это побочный сынок слепого принца Сэмимару!»[338] Их насмешки приводят меня в ярость, но что поделаешь, приходится терпеть, а душа все равно болит.

До сих пор я ничего не писала Вам о матери Тёитиро, моей невестке, но теперь скрывать не стану, – она злодейка, каких еще не видывал свет. Завела себе на стороне мужчину и два с лишним года тайно с ним встречалась. Но, как известно, семьдесят пять раз сойдет, на семьдесят шестой – попадешься. Так и случилось: кто-то их заприметил, пошли слухи, и в конце концов об этом узнал Тёносин. Неловко хвалить своего сына, но скажу без ложной скромности: он повел себя достойно – хорошенько все обдумал и без лишнего шума, без ругани стал следить за негодяем, спутавшимся с его женой. А она каким-то образом проведала об этом и подговорила своего любовника убить Тёносина. И после этого у нее еще хватило наглости оплакивать покойника! Мне и в голову не могло прийти, что она повинна в смерти Тёносина, я жалела ее и вместе со всеми старалась утешить. Но она убивалась лишь для вида, чтобы отвести от себя подозрение. Эта паскудница даже обратилась к городским властям с требованием наказать убийцу. Она разжалобила своими слезами самого градоначальника, он провел расследование, но время шло, а обнаружить преступника не удавалось.

«Как печален наш мир!» – думала я, глядя на невестку, овдовевшую раньше срока. Тёитиро она родила уже после смерти мужа и, даже лаская малыша, не забывала о своем горе. На все это нельзя было смотреть без слез.

Тем временем ее полюбовник, опасаясь, что рано или поздно его найдут, ударился в бега. Пять дней он добирался пешком до переправы Кувана в Исэ, а там в ожидании попутного ветра зашел на постоялый двор, спросил себе чего-нибудь перекусить и незаметно задремал. Но не успел он увидеть первый сон, как ему принесли еду, которой славится эта местность: суп из устриц и жареных моллюсков.

«Проснитесь, проснитесь! – стали будить его служанки. – Кушать подано». Открыв глаза, беглец увидел перед собой два подноса. «Зачем мне два подноса? – удивился он. – Ведь я тут один!»

«Как же так? – возразили служанки. – Мы своими глазами видели, что вы вошли сюда вместе с каким-то господином. Куда же он пропал?»

Тот раскрыл рот от изумления, но хозяин постоялого двора подтвердил: «Совершенно верно, с вами был еще один господин». В ответ на вопрос гостя, как тот выглядел, хозяин подробно описал, что

лет ему на вид около тридцати пяти, что он полнотел, с курчавыми волосами и приплюснутым носом. На веке у него – след, как от чирья. Одет он был в авасэ из полосатого шелка и накидку цвета хурмы.

Тут гость опустил глаза, покраснел и, промолвив: «Я знаю, кто этот мужчина», – заплакал. «Отчего вы плачете?» – спросил хозяин, на что гость ему ответил: «Теперь мне все одно умирать, так что не стану таиться. Дело в том, что у себя на родине я убил человека по имени Тёносин, после чего бежал из тех мест, надеясь укрыться в какой-нибудь восточной провинции. Господин, которого вы описали, и есть убитый мной Тёносин. В тот вечер на нем была точно такая же одежда. Теперь его мстительный дух будет преследовать меня по пятам, мне от него нигде не спрятаться. А чтобы из-за меня не пострадали другие, я должен вернуться на родину, сознаться во всем и принять заслуженную кару».

Возвратившись в Ямато, он нашел в себе мужество явиться с повинной, и ему отрубили голову. Невестка поняла, что теперь и ей не избегнуть наказания, и утопилась в озере Сугата, тем самым полностью себя разоблачив.

Хотя Тёитиро и рожден этой злодейкой, в нем течет кровь моего сына. Помня об этом, я всячески берегла его и лелеяла. Но едва сиротке минуло два годика, как он ослеп на оба глаза. После всех этих несчастий жизнь стала мне немила, но как бросить внука на произвол судьбы? Ведь он живое существо. Вот я и подумала: чтобы в будущем он мог прокормиться, надо обучить его какому-нибудь искусству. Когда ему исполнится семь лет, хочу отправить его к Вам в Осаку. Пожалуйста, похлопочите за него перед каким-нибудь знаменитым дзато[339], чтобы он взял его в ученики. А я тем временем стану откладывать деньги, дабы впоследствии Тёитиро смог занять достойное место в гильдии слепых музыкантов.[340]

Умоляю Вас, сжальтесь над бедным сиротою и исполните мою просьбу.

Засим кланяюсь Вам.

Бабушка Тёитиро из Ямато

Писано 10 месяца 21 дня.

Трудная зима в горах Ёсино

В лавку «Итанья»,
г-ну Мохэю
в собственные руки

Известная пословица гласит: «Если дует ветер, то и за тысячу верст от него не укрыться». Как прежде, живя в Осаке, я дрожал на ветру, дующем с взморья, так и теперь, поселившись в горах Ёсино, мерзну от ветра, который свободно гуляет не только в сосновых ветвях, но и в полах моего бумажного платья. А согреться нечем – одинокому отшельнику трудно надолго запастись дровами. Где уж тут любоваться сверканьем выпавшего на землю белого снега[341], как сказано в одном старинном стихотворении! Теперь-то я сожалею, что не внял Вашим увещаниям и сгоряча принял монашеский постриг, возмечтав о загробном блаженстве.

Одно дело видеть Ёсино, когда там зацветает сакура, и совсем другое – жить здесь круглый год. Хоть и считается, что все в нашем мире изменчиво, как воды реки Асука[342], я ни в чем не вижу перемен: время здесь тянется медленно, и не проходит дня, чтобы я не сетовал на свою судьбу.

Впрочем, я здесь не один такой. Хижины отшельников, некогда крепкие и надежные, теперь обветшали и пришли в запустение. Их обитатели – точно волки в овечьих шкурах: с виду монахи, а помыслы у них самые низкие. Многие уже разбрелись кто куда, поселились в столице либо в деревнях у родственников и не вспоминают о своей жизни в скиту. Изваяния святых и будд остались в небрежении и одиночестве, словно сторожа в пустом доме. В праздник Хиган[343] и во время десятинощных служб перед ними некому поставить цветы и возжечь благовония, даже звуков гонга они никогда не слышат. Должно быть, несладко им прозябать на этой горе!

Конечно, среди всей непутевой братии изредка попадаются люди, всерьез посвятившие себя служению Будде. Они способны часами предаваться молитвенному созерцанию и не ленятся изо дня в день совершать предписанные обряды. Но в большинстве своем здешние

обитатели таковы, что от них за версту несет скоромным. Они подались в монахи лишь потому, что запутались в мирских делах и у них не оставалось иного выбора. Дни свои они проводят в праздности и суесловии. А то, бывает, соберутся вчетвером или впятером и давай резаться в карты[344]. Даже в посты они тайком объедаются форелью, что идет на нерест, и пьянствуют, а потом бранятся между собой или – еще того хуже – напяливают на свои бритые головы парики и подражают лицедеям. Слова о Будде и Пути для них звук пустой, а что скажут люди – их не заботит нисколько.

В последнее время мода на монашество распространилась и среди женщин. Не поладит иная из них со свекром и свекровью, или мужа своего возненавидит, или прелюбодеяние совершит – и, чтобы оградить себя от неприятностей, сразу принимает постриг. Много таких новоиспеченных монахинь прибегает сюда из столицы. Хоть и облачены они в рясы, красота их видна все равно, и они знай себе охорашиваются. Порой самые благочестивые монахи теряют из-за них голову и сворачивают со стези добродетели. А бывает и наоборот: какая-нибудь молоденькая черница с усердием, достойным похвалы, целодневно возносит молитвы, но за ней начинает волочиться какой-нибудь беспутный монах, и, во мгновение ока поддавшись соблазну, она покидает обитель и возвращается к жизни в миру. Таким примерам несть числа. Живя среди этого сброда, я остаюсь верен своему призванию, а если иной раз душа моя и оскверняется грехом и взор обращается к непотребному, то происходит это лишь потому, что покамест я еще не достиг истинной святости.

Причины, по которым я удалился от мира, Вам хорошо известны. После того как смерть-разлучница отняла у меня любимую жену и детишек, я, чтобы забыться, пустился в разгул с куртизанками и актерами, но вскоре почувствовал отвращение к суетному миру и понял, что всё в нем – тлен и непостоянство.

Скажу без ложной скромности: с тех пор я ни разу не свернул с праведной стези. Уверившись в том, что земная юдоль – лишь временное пристанище человека, я пришел к мысли, что, даже если кому-то суждено прожить сто лет, сиречь свыше тридцати шести тысяч дней, век его столь же быстротечен, как век бабочки, которая живет всего одну весну. Уподобив жизнь человеческую мимолетному сну, я полностью отрешился от мирской суеты.

И все же летом меня донимают комары, а в зимние ночи до костей пробирает ледяной ветер. Одним кипятком тут не согреешься, так что поневоле приходится нарушать запрет и перед сном выпивать понемногу сакэ. В остальном же я строго блюду пост, и теперь от одного запаха рыбного или мясного меня начинает мутить.

Без скоромной пищи вполне можно обойтись, но что по-настоящему невыносимо в монашеской жизни – так это одинокая постель. В связи с этим отваживаюсь обременить Вас просьбой: не могли бы Вы прислать ко мне сюда какого-нибудь юношу лет пятнадцати-семнадцати? Я не требую, чтобы внешность его была безупречна – красавец вряд ли захочет ютиться в горной хижине, – но желательно, чтобы он был по возможности упитан и носил изящную прическу. Если же при этом он окажется еще и белолицым, меня не смутит ничто – ни его корявый почерк, ни скверный выговор, ни даже придурковатость. Было бы прекрасно, если бы он походил на Рокусабуро, что служит у г-на Куроэмона в лавке «Бидзэнъя».

Сговариваясь с юношей, не преминьте указать, что я обязуюсь выдать ему два кимоно, одно зимнее и одно летнее, а также шелковый пояс и сверх того деньги на мелкие расходы. Заключите с ним договор сроком на пять лет при условии, что плата за весь этот срок составит пятьдесят моммэ серебром. В качестве задатка сразу же заплатите двадцать пять или тридцать моммэ, остальное я буду ежегодно выплачивать ему по частям.

По истечении срока договора он волен распорядиться собой по собственному усмотрению. Если захочет принять постриг, я уступлю ему свою хижину. Как вы знаете, никого из родни у меня не осталось, и со временем он сможет унаследовать все мое имущество вплоть до палочек для еды.

Да, от всех радостей бренного мира можно отказаться, только не от плотских, и понял я это лишь теперь, став монахом. При таком настрое оставаться на монашеском поприще бессмысленно, но я все же решил помучиться еще лет пять. Прошу Вас сохранить мою просьбу в тайне ото всех. Я позволил себе быть откровенным с Вами лишь потому, что считаю Вас своим названым братом.

Со следующей оказией пришлите мне, пожалуйста, двести моммэ из тех денег, что я у Вас оставил, – хочу приобрести кое-какие книги.

В последнем Вашем письме содержатся предостережения довольно странного свойства, но я на Вас не в обиде. Сюда и в самом деле забредают мальчики-лицедеи, однако я к ним даже близко не подхожу. На сей счет можете быть совершенно спокойны.

Вместе с этим письмом посылаю подарок для Вашей супруги: три пакетика с мукой из кудзу[345], коей славятся здешние края, а в круглой коробке – соленья из цветов водяного перца.

В скором времени я собираюсь наведаться к Вам, тогда и потолкуем обо всем обстоятельно. А покамест покорнейше прошу похлопотать о деле, которым я решился Вас озаботить.

Засим остаюсь преданным Вам,

монах Гамму
Писано в горах Ёсино 4-го месяца 19-го дня.

---

notes

Примечания

1

Мигель де Сервантес Сааведра. Хитроумный идальго Дон-Кихот Ламанчский. Часть Вторая. М.: Государственное издательство художественной литературы, 1955. С. 34. (Перевод Н.М. Любимова.)

2

О Японии, или Япан-острове. // Л. М. Ермакова. Российско-японские отражения. М.: Наука – Восточная литература, 2020. С. 314.

3

Все цитаты из японских источников, за исключением особо оговоренных случаев, даются в переводе автора статьи.

4

H. S. Hibbett. The Floating World in Japanese Fiction. Tokyo, 1975. P. 7.

5

K. P. Kirkwood. Renaissance in Japan. Tokyo, 1970. P. 30.

6

Перевод А. А. Долина. / Осенние цикады. Из японской лирики позднего средневековья. М.: Главная редакция восточной литературы, 1981. С. 254.

7

Н. С. Николаева. Человек в японской жанровой живописи конца XVI – начала XVII в. // Человек и мир в японской культуре. М.: Изд-во «Наука», 1985. С. 97.

8

G. B. Sansom. The Western World and Japan. New York: Alfred A. Knopf, 1951. P. 189.

9

Д. Кин. Японцы открывают Европу. 1720–1830. М.: Изд-во «Наука», 1972. С. 22.

10

Подробнее о творчестве Сайкаку-поэта см.: Дональд Кин. Японская литература XVII – XIX столетий. М.: Изд-во «Наука», 1978. С. 32–33.

11

Б. Л. Пастернак. Избранное. М.: Изд-во «Художественная литература», 1985. Т. 2. С. 307.

12

Hibbett. Op. cit. P. 35.

13

Русский перевод см.: Ихара Сайкаку. Любовные похождения одинокого мужчины. СПб.: Изд-во «Гиперион», 2021.

14

Перевод И. Л. Львовой. / Ихара Сайкаку. Избранное. М.: Изд-во «Художественная литература», 2002. С. 255.

15

В своей книге «Кукла-талисман» («Отоги боко») Асаи Рёи (1612–1691) пересказал на японский лад восемнадцать из двадцати двух новелл сборника китайского писателя XIV в. Цюй Ю «Новые рассказы у горящего светильника», в том числе и его «Записки о пионовом фонаре».

16

Ихара Сайкаку. Указ. соч. С. 253.

17

Б. Л. Пастернак. Указ. соч. С. 307.

18

М. М. Бахтин. Слово в романе. // Вопросы литературы и эстетики». М.: Изд-во «Художественная литература», 1975. С. 197.

19

У Кэнко-хоси (фрагмент CXXXIX) читаем: «Деревья, которые хочется иметь возле дома, – это сосна и вишня… Сливы хороши и белые и бледно-алые… Молодой клен прекрасен…» См.: Кэнко-хоси. Записки от скуки. М.: Изд-во «Наука», 1970. (Перевод В. Н. Горегляда.)

20

Ихара Сайкаку. Указ. соч. С. 330 (Перевод Н. Г. Иваненко.)

21

См.: Ихара Сайкаку. Указ. соч. С. 221–223.

22

Там же. С. 226.

23

Акутагава Рюноскэ. Собрание сочинений. СПб.: Изд-во «Азбука», 2001. Т. 1. С. 222.

24

Ри – мера длины, равная 3,927 км. *Сун* – мера длины, чуть больше 3 см. – *Здесь и далее примеч. пер.*

25

Сэцубун – праздник начала весны, отмечавшийся четвертого числа второго месяца по лунному календарю. В ночь на Сэцубун совершался обряд изгнания нечистой силы – люди разбрасывали бобы с криками: «Счастье в дом, черти – вон!» Во время этого праздника нищие ходили по домам и произносили молитвы и заклинания против несчастий, получая за это подаяния в виде риса или нескольких мелких монет.

26

Дунфан Шо – сановник китайского императора Уди, живший во II–I вв. до н. э. Одна из многочисленных легенд, связанных с его именем, повествует о том, как он похитил из волшебного сада Владычицы Запада Сиванму персик (в китайской мифологии – плод бессмертия), даровавший ему долголетие. В Японии Дунфан Шо был известен не столько как реальное историческое лицо, сколько в ипостаси сказочного долгожителя, мага и чародея.

27

Учение сердца (сингаку) – этическое учение, сформировавшееся во второй половине XVII в. в среде горожан. Сторонники этого учения проповедовали принципы «должного» поведения горожанина, среди которых значительное место занимали конфуцианские добродетели: верность высшему, сыновняя почтительность и т. д.

28

Ронин – самурай, по какой-либо причине оставивший службу у своего господина.

29

Мне положили жалованье, как и прежде, – пятьсот коку риса. – Дружинники-самураи получали довольствие от своих сюзеренов в виде рисового пайка. Один коку риса весил около 150 кг.

30

Таю – гетера высшего ранга.

31

Фурисодэ (букв.: «развевающиеся рукава») – праздничная одежда молодой незамужней женщины.

32

Известная старинная поговорка гласит: «Узы между родителями и детьми не прерываются на протяжении одной жизни; супружеские узы – на протяжении двух жизней; узы между господином и подданным – на протяжении трех жизней».

33

…он стал носить взрослую прическу, выбривая волосы углом на висках. – По достижении четырнадцати-пятнадцати лет юноши начинали делать взрослую прическу, подбривая волосы на висках.

34

Камигата – город Киото с его окрестностями и близлежащими провинциями.

35

Сютэндодзи – имя грозного демона, персонажа японских легенд. Первый компонент этого имени, «Сютэн», в буквальном переводе означает «Пьяница», отсюда его использование в шуточном прозвище одного из восьми пьяниц.

36

«*...Дунпо из Ямато...*» – Дунпо – знаменитый китайский поэт Су Дунпо (1036–1101). Его стихотворения о вине были широко известны в Японии. Ямато – старинное название Японии.

37

«…Кикубэй – Хризантемовая водка» – Хризантемовая водка – сакэ с плавающими в нем лепестками хризантемы. Его пили в Праздник хризантем, который отмечался девятого числа девятого месяца по лунному календарю.

38

Мелодия «Тысячекратная осень» – старинный напев, сулящий счастье и долголетие. Первоначально исполнялся в завершение придворных торжеств.

39

«Сима-э» – вид гравюры на дереве с применением штриховки для передачи светотени. Возник под влиянием европейской живописи.

40

…состязания лучников у храма Сандзюсангэндо… – Сандзюсангэндо – храм буддийской школы Тэндай (Опора небес) в Киото. В старину на галерее этого храма проводились ежегодные состязания лучников.

41

Хосино Кандзаэмон, Васа Дайхати – имена самураев, удостоившихся титула «лучший лучник во всей Поднебесной». В 1669 г. на состязании у храма Сандзюсангэндо Хосино Кандзаэмон установил рекорд, поразив цель восемью тысячами стрел. Этот результат превзошел Васа Дайхати в 1686 г.

42

…точно лучник, которому вручили золотой жезл… – На состязаниях лучнику, сумевшему поразить цель пятьюстами стрелами, вручался золотой жезл.

43

Го – настольная игра китайского происхождения.

44

…не больше пяти мерок. – Одна мерка (го) соответствует 0,18 л.

45

Итами – местность в провинции Сэтцу (ныне префектура Хёго), славившаяся производством сакэ.

46

Судья поднял свой веер… – Жест, символизирующий начало состязаний борцов сумо. Сумо – традиционный японский вид борьбы, известный с глубокой древности.

47

Храм Компира – знаменитый храм в провинции Сануки (ныне префектура Кагава), в котором чтят божество Компира, покровительствующее мореплавателям и рыболовам. Праздник этого храма отмечался в десятом месяце по лунному календарю.

48

Koto – старинный музыкальный инструмент, японская цитра.

49

Чайная церемония – своеобразное эстетическое времяпрепровождение. Приготовление чая и чаепитие обставлены сложным церемониалом, ведущим к внутренней сосредоточенности и молчаливому созерцанию. Возникшее из особого ритуального чаепития, практиковавшегося монахами, искусство чайной церемонии получило широкое распространение не только в привилегированных слоях японского общества, но и в городской среде.

50

Ножной мяч (кэмари) – игра, отдаленно напоминающая футбол; игроки подкидывают мяч из оленьей кожи в воздух и передают его друг другу так, чтобы он не коснулся земли.

51

Утаи – фрагменты лирических драм, исполняемых в классическом японском театре Но.

52

Четверокнижие – общее название книг конфуцианского канона: «Да сюэ» («Великое учение»), «Чжун юн» («Середина и постоянство»), «Луньюй» (изречения Конфуция) и «Мэн-цзы» (сочинения Мэн-цзы).

53

…поехал бы в столицу… – Несмотря на то что с начала XVII в. официальной столицей Японии стал город Эдо (ныне – Токио), в произведениях Сайкаку под словом «столица» («мияко»), как правило, подразумевается Киото, служивший резиденцией императоров и сохранявший престиж культурного центра страны.

54

Симабара – знаменитый веселый квартал в Киото.

55

Рё – весовая единица для золота, ок. 10 г. Во времена Сайкаку имели хождение золотые монеты *кобан* номиналом в 1 рё.

56

Хатиман – синтоистский бог войны, покровитель воинов.

57

Мариси – в японской буддийской традиции владычица небесных сфер, воплощение солнечного и лунного света. Почиталась воинами как защитница от поражений и дарительница воинской удачи.

58

Фудо («Неколебимый владыка») – один из пяти грозных защитников буддийского учения; изображается посреди языков пламени. Отсюда – «гореть мне огнем».

59

Китаяма – название гор, окружающих Киото с севера. *Тодзиин* – буддийский храм, воздвигнутый в XIV в. по приказу сёгуна Асикага Такаудзи.

60

Шакьямуни (Будда Гаутама) – индийский мудрец и проповедник IV в. до н. э., получивший имя Будды, т. е. Просветленного; основоположник буддийского учения.

61

Бодхидхарма (440?—528?) – буддийский монах; по преданию, в 475 (?) г. приехал из Индии в Китай и стал проповедовать там учение «чань» (яп. «дзэн»).

62

Толченые благовония (макко) из ароматической древесины аквиларии и сандала использовались во время буддийских богослужений.

63

Храм Тёмёдзи – храм буддийской школы Нитирэн-сю в Киото.

64

Вот уж когда святому Нитирэну полагалось сочинить свою молитву о спасении в водной бездне! – Согласно легенде, монах Нитирэн (1222–1282), основатель буддийской школы Нитирэн-сю, отправляясь в ссылку на остров Садо в 1271 г., написал молитву о спасении в волнах.

65

Нио – два царя, божества индийской мифологии, вошедшие в буддийский пантеон как боги-хранители и защитники учения Будды. Статуи царей Нио воинственного и грозного вида помещались по обе стороны ворот, ведущих в буддийский храм.

66

Веревка «симэ» – толстый жгут из соломенных веревок с вплетенными в них полосками белой бумаги. В соответствии с синтоистской традицией, используется для огораживания сакрального пространства. Комизм описываемой Сайкаку ситуации заключается в том, что в качестве святыни выступает лапа черта.

67

Ватанабэ-но Цуна (953–1024) – храбрый самурай, по преданию прославившийся тем, что отсек лапу черту.

68

«…чаек пролетный крик…» – цитата из пятистишия (танка) Минамото-но Канэмаса (конец XI в.). Перевод В. С. Сановича.

69

«Лишь в бухтах – бедные рыбачьи шалаши…» – цитата из пятистишия Фудзивара-но Садаиэ (1162–1241). Перевод А. Е. Глускиной.

70

Хакама – широкие штаны в складку, первоначально принадлежность костюма придворного и воина-самурая; впоследствии их стали носить и простолюдины в качестве церемониальной и праздничной одежды.

71

Киёмигата – название части морского побережья в нынешней префектуре Сидзуока.

72

Юи, Камбара – почтовые станции на дороге Токайдо.

73

Ягара – рыба из класса лучепёрых с длинным тонким телом, похожим на стрелу.

74

Небесный грот (Ама-но ивато) – Согласно японскому мифу, богиня солнца Аматэрасу, обидевшись на своего брата Сусаноо, скрылась в Небесном гроте, после чего мир погрузился во мрак.

75

Удзигами – синтоистский бог – хранитель рода и семейного очага. В феодальной Японии каждая семья поклонялась своему богу Удзигами, которым считался либо дух далекого предка, либо божество, особенно чтимое данной семьей.

76

Котацу – очаг в полу, отапливаемый древесным углем; над ним ставилась деревянная решетка в виде невысокого столика, покрытого одеялом.

77

Доно – гонорифический суффикс со значением «господин».

78

Хорай (кит. Пэнлай) – мифический остров в океане с горой Счастья. По даосскими поверьям, там обитают бессмертные. В старину на Новый год в японских домах устанавливали миниатюрную горку Хорай, украшая ее ветками сосны, листьями папоротника, рисовыми колосьями, лангустом, апельсином дай-дай и прочими символами счастья, изобилия и долголетия. У ворот домов ставили новогодние украшения (кадомацу) из веток сосны и стволов бамбука.

79

«Окатить жениха! Окатить жениха!» – В соответствии со старинным японским обычаем, в новогодний праздник новобрачного полагалось облить водой.

80

Симэ – здесь: новогоднее украшение в виде веревки из рисовой соломы с прикрепленными к ней апельсинами, водорослями, лангустами, листьями папоротника и другими символами счастья и долголетия. Вывешивалась над воротами или перед входом в дом.

81

Хиэйдзан – гора к северо-востоку от Киото, где располагался знаменитый монастырь Энрякудзи, главная святыня школы Тэндай.

82

Фумидзуки – название седьмого месяца по лунному календарю.

83

Дева из храма Тамацусима – Сотоори-химэ, возлюбленная императора Ингё (412–453), прославившаяся своей красотой и поэтическим даром. Почитается как одно из божеств синтоистского храма Тамацусима, находящегося неподалеку от бухты Ваканоура.

84

Бива – музыкальный инструмент, похожий на лютню. Имеет четыре или пять струн; был заимствован в VIII в. из Китая.

85

Сюньян – иное название реки Янцзы.

86

Бо Лэтянь (Бо Цзюйи; 772–846) – знаменитый китайский поэт.

87

Каннон (санскр. Авалокитешвара – букв.: «Внимающий Звукам Мира» или «Постигающий Звуки Мира») – согласно буддийским верованиям, бодхисаттва, помогающий людям обрести спасение. В народной религиозной традиции Японии – богиня милосердия.

88

«Сутра о Внимающем Звукам Мира» («Каннон-кё») – так в повседневном обиходе называлась XXV глава «Лотосовой сутры», повествующая о том, как бодхисаттва Каннон, принимая на земле разные обличья, чудесным образом спасает людей от неисчислимых страданий. «Лотосовая сутра» (полное название – «Сутра о Цветке Лотоса Чудесной Дхармы») представляет собой цикл проповедей, произнесенных Буддой Шакьямуни на горе Гридхракута.

89

Осуми – название одной из провинций на острове Кюсю.

90

В пятый день пятой луны отмечался праздник Танго-но сэкку (Праздник первого дня лошади), иначе именуемый Праздником ирисов или Праздником мальчиков. Расцветающие в это время года ирисы символизируют доблесть, стойкость и успех. Один из пяти главных сезонных праздников.

91

Катагину – церемониальная накидка без рукавов, надеваемая поверх кимоно.

92

Будда Амида (санскр. Амитабха – Будда Беспредельного Света) – согласно буддийским представлениям, владыка западного рая, в котором верующие возрождаются после смерти.

93

Тимаки – рисовые колобки, завернутые в листья ириса или бамбука, которыми лакомятся в праздник Танго-но сэкку.

94

... вырваться из мира бессловесных тварей. – Согласно буддийским верованиям, каждое живое существо в зависимости от кармы может возродиться в одном из шести миров: в аду, в мире голодных духов, в мире скотов (бессловесных тварей), в мире демонов асура, в мире людей и в мире небожителей. Первые три из этих миров именуются «тремя сферами зла», куда после смерти попадают грешники. Считалось, что совершенная по всем правилам молитва об умершем способна благотворно повлиять на его судьбу в следующем рождении.

95

Первый, пятнадцатый, а также двадцать восьмой день каждого месяца считались нерабочими. В эти дни полагалось соблюдать пост и посещать храмы.

96

Пять больших праздников – главные сезонные праздники, отмечавшиеся в первом, третьем, пятом, седьмом и девятом месяцах по лунному календарю.

97

Мататаби – съедобная лиана, излюбленное лакомство кошек.

98

Заклинания-дхарани – содержащиеся в священных буддийских текстах магические формулы, произнесение которых способствует исцелению от болезней, просветлению сознания, устранению последствий дурных поступков, совершенных как в нынешнем, так и в предшествующих рождениях.

99

Сайкайдо (букв.: Округ западного моря) – одна из семи крупных старинных областей Японии, общее название островов Кюсю, Ики и Цусима.

100

В повести Сайкаку «История любовных похождений одинокой женщины» упоминается о монахе по прозванию «Лесной дух Сандзякубо», который обманывал народ, утверждая, что умеет летать. Многие почитали его как божество. Был казнен по обвинению в мошенничестве в 1685 году.

101

Дзё – мера длины, равная 3,03 м.

102

Безводный месяц (минадзуки) – старинное название шестого месяца по лунному календарю.

103

Тё – мера длины, приблизительно равная 109 м.

104

…повернувшись в сторону запада… – Согласно буддийским верованиям, на западе, в бесконечной дали, находится «Чистая Земля» – буддийский рай.

105

…как это случилось в свое время с Шакьямуни на Орлиной горе. – Орлиная гора (Рёдзюсэн; санскр. Гридхракута) – гора, расположенная в Индии, место, где, по преданию, проповедовал Будда Шакьямуни.

106

…в восьми сферах Ледяного и Огненного ада… – Согласно буддийским представлениям и народным верованиям, существует два вида ада, каждый из которых состоит из восьми областей, – Ледяной ад, в котором грешников мучат холодом, и Огненный ад – геенна.

107

…в благословенном краю, усыпанном золотым и серебряным песком. – То есть в раю.

108

Царь Эмма (санскр. Яма, кит. Янь-ван) – в буддийской традиции Китая и Японии властитель загробного мира, вершащий суд над умершими.

109

Тюдзё-химэ – дочь придворного вельможи Фудзивара-но Тоёнари, жившая в VIII веке. Преследуемая злой мачехой, удалилась в монастырь, где, по легенде, за одну ночь соткала изумительной красоты мандалу, изображающую буддийский рай.

110

Цумуги – шелковая ткань типа чесучи.

111

Ивами – старинная провинция Японии, ныне соответствует западной части преф. Симанэ.

112

Какиномото-но Хитомаро (660?—709?) – один из наиболее знаменитых поэтов японской древности.

113

Бумагу пропитывали соком хурмы для прочности и для придания ей красивого коричневатого оттенка.

114

Каминадзуки («месяц отсутствия богов») – название десятого месяца по лунному календарю. Считалось, что в это время все японские боги собираются в провинции Идзумо, где находится одно из старейших синтоистских святилищ Японии.

115

«Покои в восемь оград» – брачные покои, которые, согласно древнему японскому мифу, воздвиг бог Сусаноо, спустившись с Равнины Высокого Неба на землю Идзумо, для своей жены Кусинада-химэ.

116

Тайное учение – учение буддийской школы Сингон (букв.: Истинное слово), придававшей особое значение тайным обрядам и молитвенным практикам.

117

Кимоно с рукавами, разрезанными под мышкой, полагалось носить лишь девушкам не старше восемнадцати лет.

118

«Остров счастья» – аксессуар свадебной церемонии, деревянный поднос на ножках, украшенный карликовой сосной, бамбуком, фигурками журавля и черепахи и прочими эмблемами счастья и долголетия.

119

Под пятью желаниями в буддизме понимаются: стяжание богатств, плотское вожделение, желание есть и пить, желание славы и желание сна.

120

Тикудзэн – название провинции на востоке острова Кюсю.

121

Сторонники учения Нитирэна (см. примеч. на стр. 65) были известны своей нетерпимостью по отношению к приверженцам других буддийских сект.

122

Симоса – название японской провинции, расположенной к северу от полуострова Босо на о-ве Хонсю.

123

Кадзуса – провинция, располагавшаяся на полуострове Босо; граничила с провинцией Симоса.

124

Бумага «сугихара» – сорт японской бумаги; по качеству считался одним из лучших.

125

Девадатта – согласно буддийской мифологии, величайший грешник, заклятый враг Будды, при жизни низвергнутый в ад. В посвященной Девадатте главе XII «Лотосовой сутры» утверждается, что путь спасения открыт для всех живых существ и в конечном счете достигнуть святости может даже закоренелый злодей.

126

Сякухати – продольная бамбуковая флейта, в древности заимствованная из Китая.

127

Праздник встречи двух звезд (Танабата) – отмечался седьмого числа седьмого месяца по лунному календарю. Согласно китайской легенде, в этот день раз в году встречаются влюбленные друг в друга звезды – Ткачиха (Вега) и Пастух (Альтаир), разделенные Небесной рекой (Млечным Путем). В день Танабата было принято писать на листьях тутового дерева или на полосках бумаги стихи на тему праздника и пускать их по воде.

128

Мотоюи – шнурок из плотной бумаги, используемый для закрепления волос в прическе.

129

…отслужил положенный срок при дворе сёгуна в Эдо… – В эпоху Токугава феодальным князьям (даймё), а также некоторым их вассалам полагалось посменно находиться при дворе сёгуна в течение года (так называемая система «санкин котай»).

130

Тидзими – тонкий шелковый креп, производством которого исстари славилась эта местность.

131

Обряд камиоки («отпускание волос»). – В старину маленьких детей брили наголо, так как считалось, что отросшие волосы притягивают к себе болезни, и лишь по достижении трех лет им начинали отпускать волосы. В середине одиннадцатого месяца по лунному календарю совершался особый обряд: голову ребенка обматывали белой тканью или покрывали белой шапочкой, которые символически обозначали седые волосы, тем самым желая ему дожить до глубокой старости.

132

…впервые надели… хакама. – Имеется в виду церемония «хакамаги-но гёдзи», во время которой на мальчиков, достигших пятилетнего возраста, впервые надевали хакама.

133

Традиционно флейта *сякухати* считалась мужским музыкальным инструментом. С XV века она стала неотъемлемым атрибутом странствующих монахов, которым позволялось свободно перемещаться по стране.

134

Исиямадэра – один из старейших буддийских храмов в провинции Оми, где, по преданию, Мурасаки Сикибу создала одну из глав своего знаменитого романа «Повесть о Гэндзи» (нач. XI в.).

135

Ицукусима – живописный остров, расположенный к юго-западу от Хиросимы; там находится одно из старейших синтоистских святилищ.

136

Яката – квартал в Кумамото, где располагались самурайские усадьбы.

137

В горах Кумано (современная префектура Вакаяма) находились три знаменитых синтоистских храма, служивших традиционным местом паломничества.

138

Залом ветки на дереве или привязанный к стволу стебель мисканта (сусуки) служили знаками, указывающими путникам дорогу в горах.

139

Пылая желанием мстить, как пылает гора Асама… – Асама – действующий вулкан в центральной части о-ва Хонсю. Здесь Сайкаку обыгрывает стихотворение из антологии «Госэнсю»: «Когда пылает гора Асама, что в Синано, дымка, курящаяся над горою Фудзи, утрачивает свое очарование».

140

Го-Фукакуса – японский император, находившийся на престоле с 1247 по 1259 г.

141

Первый год эры Ходзи – 1247 г.

142

Флейта-жаворонок – вид флейты, звучание которой напоминает пение жаворонка.

143

Мацумаэ – прибрежная часть полуострова Осима (юго-западная оконечность о-ва Хоккайдо), где к середине XIV в. появились первые японские поселения, а в начале XVII в. образовалось княжество Мацумаэ, находившееся в вассальной зависимости от сёгунов Токугава.

144

Слепой рассказчик. – В феодальной Японии князья (даймё) брали к себе на службу рассказчиков, в обязанности которых входило развлекать своих господ разного рода историями: военными, сказочными и пр.

145

Кэн – мера длины, равная 1,81 м.

146

…во времена семнадцатого императора Нинтоку… – Здесь Сайкаку допускает неточность: речь идет о шестнадцатом по счету императоре Нинтоку, который, по преданию, правил на протяжении восьмидесяти семи лет, с 313 по 399 г.

147

Император Тэмму – сороковой по счету император Японии, правивший с 673 по 683 г.

148

Упоминание о двенадцатирогом быке встречается в летописно-мифологическом своде «Нихон сёки» («Анналы Японии», VIII в.).

149

Император Момму – сорок второй японский император, находившийся у власти с 697 по 707 г.

150

Четвертый год эры Кэйун – соответствует 707 г. по европейскому календарю.

151

Сяку – мера длины, равная приблизительно 30 см.

152

Чистая Земля – буддийский рай, находящийся к западу от нашего мира.

153

Сэппуку (вспарывание живота) – ритуальное самоубийство; то же, что харакири.

154

Аото Фудзицуна – государственный деятель XIII в., прославившийся мудростью, справедливостью и бескорыстием. Саэмон-но дзё (старший офицер левой дворцовой гвардии) – почетный дворянский титул.

155

Князь Ходзё Токиёри (1227–1263) – регент при сёгуне (сиккэн) и фактический правитель Японии в середине XIII в.

156

...на Журавлином холме, название которого сулило ему тысячелетие немеркнущей славы. – Считалось, что журавль живет тысячу лет.

157

Акэти Мицухидэ (1528–1582) – известный японский полководец.

158

…взяла свое любимое зеркало… разбила его… – Разбитое зеркало – символ расторжения помолвки или супружеских уз.

159

Южная столица – одно из обозначений древней столицы Японии, города Нары. Находится к югу от столицы Хэйан (Киото), отсюда название «Южная столица».

160

Араки Мурасигэ (1535–1586) – владетельный князь, правитель земли Сэтцу.

161

Эдзо – старинное название острова Хоккайдо.

162

Удзуки – название четвертого месяца по лунному календарю.

163

Киёмидзу – храм буддийской секты Тэндай в провинции Сэтцу (ныне префектура Хёго).

164

Соответствует 1570 г. по европейскому календарю.

165

Битва у реки Анэгава – битва, в которой объединенные войска Оды Нобунаги и Токугавы Иэясу разгромили коалиционные силы феодальных домов Асакура и Адзаи.

166

Император Бурэцу (правил с 499 по 506 г.) – двадцать пятый по счету японский император, известный своей жестокостью.

167

Земля Акицусу (или Акицусима) – одно из поэтических наименований Японии. Согласно преданию, легендарный император Дзимму, взирая с вершины одной из гор Ямато на простертую внизу землю, уподобил ее двум стрекозам, совершающим брачный полет. Отсюда – название Акицусу: «акицу» значит «стрекоза».

168

…как белый скакун перелетает через расселину. – Образное выражение, обозначающее бег времени. Восходит к изречению известного китайского философа IV в. до н. э. Чжуан-цзы: «Жизнь человека… проносится так же стремительно, как перелетает через расселину белый скакун».

169

Мокугэн-кодзи. – Слово «кодзи» присоединялось к именам благочестивых мирян, выполнявших обеты без пострижения в монахи.

170

Двенадцатислойные одежды (дзюни хитоэ) – традиционное парадное облачение знатной дамы; состояло из двенадцати шелковых кимоно, надетых одно поверх другого.

171

По всей видимости, имеется в виду Гао Яо, справедливый судья, мудрый помощник легендарного китайского правителя Шуня, жившего, согласно мифологическому преданию, в XXIII веке до н. э.

172

…выбросила свой гребень. – Считалось, что гребень, оставленный на ночь в волосах, может стать причиной разлада между любящими.

173

У Даосюань (Даоцзы; 680–740) – знаменитый придворный художник, живший во времена династии Тан (608–906), известный мастер пейзажной живописи и буддийской иконографии.

174

…нечто подобное случилось с одним знаменитым китайским каллиграфом… – Имеется в виду Вэй Дань, приближенный вэйского императора Минди (226–239), славившийся каллиграфическим мастерством. Для того чтобы по приказу императора выполнить каллиграфическую надпись под сводами дворца, он был вынужден подняться в корзине на высоту 25 чжанов (приблизительно 75 м). Как гласит предание, Вэй Дань вернулся на землю седым.

175

Черня зубы, брызгает краской на дайкокубасира… – Замужние женщины в старину покрывали зубы черным лаком. Дайкокубасира – главный опорный столб, находящийся в центре японского дома.

176

…велел принести табличку с посмертным именем штукатура. – После смерти человек получал особое, посмертное имя, которое писалось на специальной поминальной табличке. Эти таблички хранились на домашней божнице.

177

…всем казалось, будто наступил канун Нового года. – Перед Новым годом в старину было принято подсчитывать доходы, расплачиваться по счетам, отдавать долги и т. д.

178

Праздник Гион – праздник синтоистского храма Ясака-дзиндзя в Киото, отмечавшийся в шестом месяце по лунному календарю. Существенным элементом праздника служили процессии нарядно изукрашенных ковчегов, на которых помещались предметы, почитаемые храмом священными. Украшением ковчегов нередко служили куклы, изображавшие японских богов, исторических деятелей или известных литературных персонажей.

179

Вслед за колесницей, увенчанной лунным серпом… – Лунный серп олицетворял божество луны Цукиёми-но микото.

180

Го Цзюй – один из персонажей китайской книги XIII в. «Двадцать четыре примера сыновней почтительности», получившей широкое распространение во времена Сайкаку. Не имея возможности прокормить одновременно престарелую мать и младенца-сына, Го Цзюй решил избавиться от ребенка, заживо закопав его в землю. Копая яму, он обнаружил в земле котел с золотыми монетами, дарованными ему Небом в награду за сыновнее благочестие.

181

Земли Оу – старинное название нескольких провинций, расположенных на севере острова Хонсю.

182

…из недр произрастают золотые цветы… – В краю Митиноку (провинция Муцу) добывали золото.

183

Го-Нара – сто пятый по счету японский император, правивший в XVI в.

184

Второй год эры Тайэй – 1522 г.

185

Кособэ (букв. «малые рукава») – шелковое кимоно с укороченными рукавами. Первоначально служило нижней одеждой аристократов, но к XVII в. получило широкое распространение как разновидность повседневного платья.

186

Хики – мера измерения тканей, равная 21,2 м.

187

Дзёро – собирательное название жриц продажной любви.

188

Сибая-мати – веселый квартал в городе Оцу.

189

Карасума – одна из главных улиц Киото, пересекающая его с севера на юг.

190

Каммэ (или кан) – мера веса, равная 3,75 кг или тысяче *моммэ*. Во времена Сайкаку в обращении находились золотые, серебряные и медные монеты. В отличие от золотых монет, которые, как правило, принимались по номинальной стоимости, серебряные монеты взвешивались. За один золотой (рё) давали 60 моммэ серебра или 4 каммэ медных монет (монов). Существовала и более мелкая мера веса – *бу*, равная десятой части моммэ (0,375 г).

191

…был повесой эдоской закваски… – то есть настоящим повесой, поднаторевшим в любовных делах.

192

Фусими – селение, расположенное к югу от Киото (ныне входит в черту города).

193

«Ожидание луны» (цуки-мати) и «ожидание солнца» (хи-мати) – особые календарные даты, когда люди собирались вместе, устраивали застолье и приглашали монахов, которые произносили молитвы о хорошем урожае, благополучии в стране и в доме, а также заклинания против злых сил, бед и напастей. В эти дни обращение к богам считалось особенно действенным.

194

Ванкю (Ванъя Кюэмон) – богатый осакский горожанин, живший в XVII в. и прославившийся своими любовными похождениями. Описанию его жизни посвящена книга Сайкаку «История Ванкю Первого» («Ванкю иссэй-но моногатари»).

195

Столица сливовых цветов – старинное поэтическое название города Осаки.

196

Десятинощные службы – богослужения, проходившие в храмах буддийской школы Дзёдо (Чистая Земля) на протяжении десяти ночей, начиная с шестого числа десятого месяца по лунному календарю. В это время вблизи храмов открывались ночные ларьки, в которых велась оживленная торговля.

197

Симмати – знаменитый веселый квартал в Осаке.

198

Бон – праздник поминовения умерших, справляемый ранней осенью. Считалось, что в этот праздник души умерших на несколько дней возвращаются под родной кров. Чтобы осветить им дорогу, на домах и домашних жертвенниках зажигали фонари, для них готовили угощения, в их честь устраивали пляски и различные увеселения. Многие из этих обычаев сохраняются и поныне.

199

Моммэ – мера веса, равная 3,75 г. См. примеч. на стр. 189.

200

Столичный градоначальник (мати бугё) – государственный чиновник, в ведении которого находились не только административные, но и судебные дела. В компетенцию мати бугё наиболее значимых городов: Эдо, Киото и Осака – входило разрешение исков как уголовного, так и гражданского характера.

201

…вернули ему оба меча – большой и малый… – Ношение на поясе двух мечей – большого и малого – было привилегией самураев.

202

Горы Кисояма в нынешней префектуре Нагано славились своими кедровыми лесами.

203

Окадзаки – живописный пригород Киото.

204

Как только миновал период погружения в скверну… – По обычаю, восходящему к синтоистской традиции, в первые десять дней после родов женщина считалась «погруженной в скверну».

205

Наместник сёгуна (сёсидай) – должность, сопоставимая с генерал-губернаторской. Главной обязанностью наместника сёгуна в Киото было наблюдение и контроль за императорским двором, но одновременно он отвечал за поддержание порядка в городе, осуществляя полицейские, судебные и карательные функции.

206

Судя по всему, речь идет о механических часах со звоном (дзимэйсё), с которыми японцы познакомились во второй половине XVI – начале XVII в. благодаря португальским и испанским торговцам.

207

...стали величать его не иначе как Сякаэмоном. – Первый компонент имени, «Сяка», означает «Шакьямуни».

208

Вдобавок волосы у него были от природы курчавые… – Как правило, Будда Шакьямуни изображается с головой, покрытой крутыми спиралевидными завитками. Эта деталь его облика восходит к индийской легенде, повествующей о том, как однажды, погруженный в мысли о спасении человечества от страданий, Будда не заметил, что сидит под лучами палящего солнца. Тогда улитки забрались ему на голову и своими прохладными телами защитили его от зноя.

209

…был последователем секты Икко, а потому не соблюдал постов… – В отличие от других сект, сторонникам секты Икко не возбранялось употреблять в пищу мясо. Икко – одно из ответвлений буддийской секты Дзёдо.

210

Синран (1173–1262) – буддийский вероучитель, основатель школы Дзёдо-синсю (Чистая Земля и Истина).

211

Сугияки – мясо рыбы или птицы, поджаренное на дощечке или в ящичке из криптомерии и пропитавшееся ароматом этого дерева.

212

Кобо Дайси (774–835) – посмертное имя буддийского монаха Кукая, основателя школы Сингон (Истинное слово).

213

Дэва – провинция на севере острова Хонсю.

214

Треугольный венчик – закрывающая лоб треугольная повязка из белой бумаги; в старину надевалась на голову покойному, а также его близким во время похоронной церемонии.

215

…одних глиняных тарелок Будде-целителю больше тысячи штук снесли… – По поверью, глухой может вернуть себе слух, если пожертвует храму Будды-целителя связки мелких камешков или глиняной посуды (тарелок, пиал и пр.). Выдолбленные в камешках или тарелках отверстия, в которые продевался шнур, символизировали желание обрести уши, отверстые для звуков.

216

…любитель искусственных садовых горок… – Декоративное садоводство как самостоятельный вид искусства было в древности заимствовано из Китая, но обрело в Японии свои особые, оригинальные черты. Создатели искусственных садов стремились воспроизвести в миниатюре естественный природный пейзаж – горы, леса, водоемы и пр.

217

«Уж не козни ли это какой-нибудь лисицы или барсука?» – Лисицы и барсуки считались в народе оборотнями и колдунами, способными морочить людей и напускать на них порчу.

218

Дай-дай – разновидность горького апельсина. Его название заключает в себе благопожелательный смысл («дай-дай» означает «поколение за поколением»).

219

Бу – мера веса, равная 0,375 г. Составляет десятую часть моммэ.

220

...переплатил бондарю за гроб... – В давние времена бондари в Японии нередко делали и гробы.

221

Тоситокудзин – новогоднее божество, дарующее благополучие и удачу.

222

…когда праздник начала весны предшествует новогоднему празднику… – По лунному календарю праздник начала весны (риссюн) может совпадать с Новым годом, предшествовать ему или следовать после него. Даты обоих праздников являются переходящими и падают на конец января – середину февраля по нашему стилю.

223

Кацуобуси – особым образом ферментированное, подкопченное и высушенное мясо тунца; используется в приготовлении супов и многих других блюд японской кухни.

224

Богиня храма Дайдзингу – Аматэрасу (Озаряющая Небо), верховное божество синтоистского пантеона. Ей посвящен главный храм в комплексе Исэ.

225

«Голубиный глаз» – свинцовая монета с отверстием посередине, имевшая хождение только в храмах Исэ.

226

Эбису – один из семи богов счастья, покровитель рыбаков и торговцев. Изображается с большим морским окунем (тай) в левой руке и удочкой, перекинутой через правое плечо.

227

Дайкоку – один из семи богов счастья, податель благополучия и богатства. Изображается сидящим или стоящим на двух мешках с рисом; на левом плече у него мешок с сокровищами, в правой руке – молот, символизирующий удачу.

228

...Инари-доно защищает от разорения, он не позволит вашему состоянию выскользнуть из рук, подобно лисьему хвосту... – Инари – синтоистский бог урожая; во времена Сайкаку ему поклонялись еще и как богу-покровителю торговли. В храмах бога Инари устанавливают парные изображения лисиц, которые считаются его посланницами; отсюда сравнение «подобно лисьему хвосту».

229

«Храмовые воробушки» – так называли монахов, сопровождавших паломников по храмам.

230

…начиная с оберток от рисовых колобков, которыми лакомятся в пятый день пятого месяца, и кончая листьями лотоса, сохранившимися с праздника поминовения умерших. – В пятый день пятого месяца по лунному календарю отмечался праздник Танго-но сэкку. Рисовые колобки, завернутые в листья ириса или бамбука, – традиционное праздничное лакомство. В праздник поминовения умерших (Бон) для душ умерших родственников готовили угощение на листьях лотоса.

231

Полочка эходана – устраивалась в домах для приношений новогоднему богу счастья.

232

Монах-ямабуси (букв.: «спящий в горах») – горный отшельник, аскет, практикующий тайные буддийские обряды. Во времена Сайкаку о ямабуси шла дурная слава как о мошенниках и обманщиках.

233

Гохэй – ритуальные полоски из особым образом сложенной белой, золотой или пятицветной бумаги, которые прикрепляются к жезлу (нуса) и используются во время обрядов и заклинаний.

234

Танец Тоса – танец, сопровождавшийся ударами в гонг и барабан и пением буддийских молитв.

235

Медный посох с прикрепленными к его навершию кольцами и булава-гокко (бронзовый жезл с симметричными зубцами) – ритуальные предметы, используемые адептами школ эзотерического буддизма.

236

Тридцать седьмой император Котоку. – Находился на престоле с 645 по 654 г.

237

Эра Тайка – 645–650 гг.

238

Нанива – старинное название города Осаки.

239

Здесь содержится ироническая отсылка к древнему летописно-мифологическому своду «Нихон сёки» («Анналы Японии»), в XXV свитке которого имеется запись: «Государь перевел столицу в Нагарано Тоёсаки, что в Наниве. Старые люди говорили друг другу: “Крысы бежали весной и летом; то было предзнаменование переноса столицы”». (Перевод А. Н. Мещерякова.)

240

Нагасаки Мидзуэмон – знаменитый дрессировщик времен Сайкаку, живший в Эдо.

241

...ни о Будде, ни о Законе. – «Закон» – здесь: основы буддийского учения.

242

Месяц инея – одиннадцатый месяц по лунному календарю.

243

…точь-в-точь процессия со священными ковчегами во время Летнего праздника. – Имеется в виду праздник, отмечавшийся в шестом месяце по лунному календарю осакскими храмами Тэммангу и Сумиёси. Тэммангу – синтоистский храм, в котором чтят божество Тэндзин (посмертное имя Сугавара-но Митидзанэ, поэта, ученого и политического деятеля второй половины IX в. После смерти был обожествлен и считается богом-покровителем города Осаки). Сумиёси – храм, посвященный синтоистским богам – повелителям морской стихии и покровителям мореплавателей.

244

...готов платить ссудный процент наравне с театрами... – Во времена, о которых идет речь в рассказе, театральные труппы часто разорялись, поэтому им назначали самый высокий ссудный процент – до 30 процентов и более.

245

Праздник лодок в храме Тэммангу. – Праздник храма Тэммангу состоял из двух частей: шествия по улицам города и процессии лодок со священными ковчегами на реке, протекающей в центре Осаки. Это красочное зрелище привлекало множество зрителей, для которых на набережных сооружались специальные помосты.

246

…точно прекрасный павлин, рожденный в семье коршунов. – Выражение, используемое для похвалы ребенку, который превзошел красотой своих родителей.

247

«…лоб выбрив полумесяцем…» – Имеется в виду старинная мужская прическа «сакаяки»: волосы надо лбом выбривались полумесяцем, а на висках укладывались валиками. В рассказе цитируются слова из популярной детской песенки.

248

Хаори – накидка, укороченное верхнее кимоно.

249

«Счастливая веревочка» – одно из новогодних развлечений. Участники этой игры по очереди тянули спутанные в пучке веревочки; вытянувший меченую получал приз.

250

«Пояс тысячи поколений» – символ легких и многочисленных родов.

251

Раковинка коясугай – разновидность ципреи, по виду напоминает птичье яйцо. Средство народной магической медицины, помогающее при родах.

252

Морской конек – символ плодовитости и легких родов.

253

Ножки грибов мацутакэ – использовались как болеутоляющее средство после родов.

254

«Вот уже три раза бросила заколку…» – Один из способов гадания: на циновку бросали заколку для волос и в направлении ее острия подсчитывали количество петель до края циновки, по этому числу предсказывали судьбу.

255

Сямисэн – японский трехструнный музыкальный инструмент, на нем играют с помощью костяного плектра. Получил широкое распространение в XVII в., особенно среди обитательниц веселых кварталов.

256

Игра в волан (ханэцуки) – традиционное новогоднее развлечение девочек и девушек. Прямоугольные дощечки для подбрасывания волана нарядно украшались с тыльной стороны.

257

Фуросики – квадратный платок, в который заворачивают вещи.

258

Кабуки (букв.: «искусство пения и танца») – один из видов классического театрального искусства Японии, возникший в XVII в.

259

Кацуги – верхняя накидка, которую в старину надевали знатные дамы, выходя на улицу. Шилась таким образом, чтобы верхняя ее часть покрывала голову.

260

…в мире голодных духов. – Обитатели мира голодных духов (гаки-кай) испытывают неутолимый голод: стоит им увидеть пищу, как она превращается в огонь.

261

Итакура-доно – Итакура Кацусигэ (1545–1624), наместник сёгуна в Киото, прославившийся мудрыми судебными решениями. Здесь речь идет о тяжбе из-за наследства, которую он разрешил, основываясь на форме тыквы-горлянки, оставленной умершим отцом своим сыновьям в качестве прощального подарка.

262

…читать прописи… – В прописях того времени встречалось немало образцов деловой переписки, содержавшей полезные сведения о ведении хозяйства.

263

Мисо – паста из перебродивших соевых бобов; употребляется для приготовления супа и в качестве основы для многих японских блюд.

264

…широкополые соломенные шляпы с выжженным на них клеймом веселого заведения… – Желая остаться неузнанными, посетители веселых заведений закрывали лицо широкополой плетеной шляпой.

265

…на поминальную службу, присутствие на которой засчитывается за десять тысяч дней богомолья… – Такого рода службы проводились преимущественно в храмах буддийской секты Дзёдо.

266

То же, что праздник храма Тэммангу (см. примеч. на стр. 242).

267

...отправился бы в Саё-но Накаяму и ударил в «Колокол вечного ада». – В храме бодхисаттвы Каннон, стоявшем вблизи горной дороги Саё-но Накаяма, находился «Колокол вечного ада». Согласно поверью, если ударить в этот колокол, то в нынешней жизни обретешь счастье и богатство, но зато в будущей попадешь в Огненный ад.

268

Дзони – суп с кусочками рисовых лепешек и овощами, традиционное новогоднее угощение.

269

Моти – лепешки из пропаренного и отбитого в ступе риса, традиционное новогоднее лакомство.

270

«Повести о карме» – один из популярных во времена Сайкаку сборников назидательных повестей, иллюстрирующих буддийский закон кармы.

271

Ирори – открытый очаг в полу.

272

Дайдзёин (Павильон Великой колесницы) – буддистская обитель в г. Наре. В первый день Нового года, на рассвете, бедняки стучались в ворота дома ее настоятеля, возглашая праздничные приветствия, и получали традиционное угощение – вино и рис.

273

«Изгоняющие беды» (якухараи). – Так называли нищих лицедеев, которые в новогоднюю ночь ходили по дворам, произнося молитвы и заклинания против несчастий, за что получали от хозяев несколько мелких монет.

274

Бисямон – один из семи богов счастья. Изображается в облике грозного воина с буддийской пагодой в одной руке и копьем в другой. Во времена Сайкаку его почитали как бога-защитника и подателя удачи.

275

Касуга-даймёдзин – один из старейших синтоистских храмов в древней столице Японии г. Наре.

276

Коута (букв.: «короткая песенка») – лирические песни, распространенные в кварталах любви; исполнялись под аккомпанемент сямисэна.

277

Дзёрури – здесь: песенная баллада.

278

Нагэбуси – одна из разновидностей коута.

279

Мандала – род буддийской иконы, символическое изображение буддийского космоса.

280

Гора Коя – находится к югу от Осаки; там расположены храмы и монастыри буддийской школы Сингон.

281

Кобо Дайси (774–835) – буддийский вероучитель, основатель школы Сингон. Ему приписывалась способность читать мысли людей.

282

Эма – деревянные таблички с различными изображениями и надписями, подносимые храму по обету.

283

...за установленный для торговли с иностранцами срок... – В соответствии с правительственным указом, выпущенным в 1634 г., иностранным кораблям позволялось находиться в порту Нагасаки не более пятидесяти дней.

284

Праздник Сагитё – праздник проводов новогоднего божества. В этот день рядом с домом разводили костер, в котором сжигали новогодние украшения и пекли рисовые лепешки. Считалось, что съеденные в этот день рисовые лепешки уберегают от болезней.

285

Ящерица «амарю» – большая ящерица с длинным узким телом, похожая на «свернувшегося дракона» Амарю (кит. Паньлун).

286

По-японски казуар называется «хикуйдори» – «птицей, пожирающей огонь». Согласно одной из версий, это название связано с имеющимися на шее казуара алыми выростами-сережками, напоминающими языки пламени. Впервые казуары были завезены в Нагасаки голландцами в 1663 г.

287

Фусума – раздвижная перегородка между комнатами в японском доме.

288

Отсылка к стихотворению из «Исэ моногатари» (X в.).

289

Праздник зажжения костров (охитаки) проводился в одиннадцатом месяце по лунному календарю во всех храмах Инари – синтоистского божества пищи, земледелия и изобилия. В эпоху Эдо ему поклонялись и как богу – покровителю кузнецов. Считалось, что пламя костров, зажигаемых на территории храмов в этот день, прогоняет злых духов и очищает присутствующих от всякой скверны.

290

Рин – десятая часть бу, медный грош.

291

«Косин» – «День обезьяны». Обезьяна – один из циклических знаков, применявшихся для обозначения времени по старому китайскому календарю. В «День обезьяны», повторявшийся шесть раз в году, было принято посещать храмы, в которых чтили синтоистского бога Сарутахико или буддийское божество Сёмэнконго, являвшихся в облике обезьяны.

292

Сё – мера емкости, приблизительно равная 1,8 л.

293

Большая статуя Будды. – Гигантская статуя Будды Вайрочаны высотой в 16 метров, отлитая из бронзы в 752 г., помещалась в Великом Восточном храме (Тодайдзи) в Наре. В 1567 г. храм сгорел дотла. В 1685 г. по всей стране проводился сбор пожертвований для его восстановления; строительные работы по возведению нового храма были завершены в 1709 г.

294

Хэйтаро – мирское имя монаха Симбуцу (1209–1258), ученика Синрана (см. примеч. на стр. 207). Прославился многими чудотворными деяниями.

295

«Вязать черта в темноте» – образное выражение, обозначающее высшую степень сумятицы и неразберихи.

296

…будет занесен в Золотую книгу… – Согласно буддийским верованиям, властитель загробного мира Эмма в Золотой книге записывает добрые дела людей, а в Железной – их проступки и прегрешения.

297

Намасу – блюдо из мелко нарезанной сырой рыбы и овощей, приправленных уксусом.

298

Хоккэ – изначальное название школы Нитирэн-сю, основанной в XIII в. монахом Нитирэном (см. примеч. на стр. 65). Происходит от сокращенного японского названия «Лотосовой сутры» – «Хоккэ-кё».

299

Сэкида (или сэтта) – зимние сандалии на кожаной подошве.

300

Улица Торитё… – Здесь и далее – названия торговых улиц и кварталов в городе Эдо.

301

Гиттё – детская игра: с помощью деревянной клюшки, по форме напоминающей молоток, мяч направляется партнеру, который должен его поймать.

302

Мусаси – равнина, на которой расположен город Эдо.

303

Покрытая кленовыми лесами гора Тацута в провинции Ямато (ныне – префектура Нара) издавна славится своей красотой.

304

Таби – японские носки из плотной ткани с отделением для большого пальца.

305

Эбоси («воронья шапка») – высокий колпак из черного накрахмаленного шелка.

306

Кагура – ритуальные синтоистские пляски, исполняемые под аккомпанемент барабанов, флейт и других музыкальных инструментов.

307

Тэнгу – фантастическое существо с красным лицом и длинным носом, по поверью, живущее в горах. Согласно легендам, на горе Атаго, расположенной в северо-западной части Киото, обитал тэнгу Таробо, младший брат Содзёбо, грозного и могущественного повелителя всех тэнгу.

308

Суэцумухана – дочь принца Хитати, одна из возлюбленных главного героя романа Мурасаки Сикибу «Повесть о Гэндзи», где о ее носе сказано: «Он сразу же приковывает к себе внимание, заставляя вспомнить о небезызвестном существе, на котором восседает обычно бодхисаттва Фугэн. Нос на диво крупный, длинный, с загнутым книзу кончиком». (Перевод Т. Л. Соколовой-Делюсиной.) Бодхисаттва Фугэн (воплощение всеобъемлющей мудрости) изображается сидящим на слоне.

309

Секта Сэндзю – одно из ответвлений буддийской секты Дзёдо-синсю. Сторонники этого направления видели путь к спасению в беспрестанном возглашении молитв.

310

Перефразированная цитата из книги Кэнко-хоси «Записки от скуки»: «Неисчислимо то, что, пристав к чему-либо, вредит ему. Для тела – это вши; для дома – крысы; для страны – разбойники; для ничтожного человека – богатство; для добродетельного – сострадание; для священника – законоучение». (Перевод В. Н. Горегляда.)

311

Дьявольским считалось северо-восточное направление, именовавшееся «вратами демонов».

312

Кондзин (букв.: «Дух металла») – согласно представлениям, воспринятым из Китая, грозное божество, меняющее свое местопребывание в зависимости от времени года, фазы луны и пр. Направление, совпадающее с местопребыванием Кондзина, считалось несчастливым.

313

Праздник девятого месяца – Праздник хризантем, один из пяти главных сезонных праздников; отмечался девятого числа девятого месяца по лунному календарю. В этот день было принято пить вино с лепестками хризантемы и есть каштаны, сваренные с рисом.

314

Речь идет о церемонии *мунэагэ* (букв. «подъем конька крыши»), по традиции проводящейся в благодарность местным божествам за успешное окончание работ по возведению нового дома.

315

Каригину (букв.: «охотничье платье») – длинный кафтан свободного покроя с широкими рукавами и разрезами по бокам. Изначально надевался для охоты, впоследствии стал частью повседневного костюма аристократов, а также официального облачения синтоистских жрецов. Мог использоваться и простолюдинами при отправлении церемоний, подобных описываемой.

316

«Мандзайраку» («Десять тысяч лет радости») – торжественный танец китайского происхождения.

317

…на улицу летят рисовые лепешки… – Во время церемонии мунэагэ было принято разбрасывать рисовые лепешки и мелкие монеты.

318

Мэ – то же, что моммэ.

319

В знаменитом даосском каноне «Чжуан-цзы» сказано: «В мире нет воды большей, чем Океан. Все потоки земли днем и ночью вливаются в него, а он не переполняется. С незапамятных времен через проход Вэйлюй из него выливается вода, а он не мелеет. Ни весной, ни осенью не меняется в нем уровень вод, не ведает он ни потопа, ни засухи». (Перевод В. В. Малявина.)

320

Сёдзи – раздвижные рамы, оклеенные пропускающей свет бумагой; заменяли окна в японском доме.

321

В LIII главке «Записок от скуки» читаем: «…Монах опьянел и так разошелся, что схватил стоявший рядом котел-треножник и по самое донышко надвинул его себе на голову – расплющил нос, сдавил лицо, а когда в таком виде пустился в пляс, удовольствию присутствующих не было границ. Вскоре после того как музыка прекратилась, монах захотел снять котел, но тот никак не снимался. Пьющая братия вмиг отрезвела и стала гадать: как тут быть?» (Перевод В. Н. Горегляда.)

322

Праздник Камо. – Дважды в год, в четвертую и одиннадцатую луну, отмечался праздник двух синтоистских святилищ Камо (Верхнего и Нижнего), в которых почитали богов – хранителей столицы. В дни праздника помещение храма, одежды служителей, священный ковчег и пр. украшались листьями китайской мальвы (аой) – растения, которому приписывалась чудодейственная сила, защищающая от природных бедствий.

323

«Сутра бодхисаттвы Каннон». – XXV глава «Сутры Лотоса», посвященная бодхисаттве Каннон. См. примеч. на стр. 88.

324

Храм Китано в Киото посвящен поэту и придворному IX в. Сугавара-но Митидзанэ (см. примеч. на стр. 242). В конце первого месяца по лунному календарю там проходил праздник цветения сливы, любимого дерева Митидзанэ.

325

Нисидзин – квартал города Киото, славившийся производством изысканных шелковых тканей.

326

«*Зеркальные» моти* (кагами моти) – пара круглых, напоминающих старинные зеркала рисовых лепешек, которые служили для приношений богам во время новогоднего праздника.

327

Шапка-каммури (букв.: «венец») – прилегающая к темени шапочка с приподнятой на затылке и спадающей на спину жесткой лентой из прозрачного шелка; принадлежность парадного костюма придворного.

328

Камисимо (букв. «верх и низ») – церемониальный костюм, состоящий из широких шаровар *хакама* и накидки *катагину*, надеваемых поверх кимоно.

329

Цитата из стихотворения, помещенного в разделе «Весна» поэтической антологии «Кокинсю» (X в.). Перевод А. А. Долина.

330

Авасэ – кимоно на подкладке, предназначенное для холодного времени года.

331

Мерка в пять го имеет вид деревянного ящичка длиной и шириной в 14 см, а высотой – в 7,5 см. Вмещает ок. 750 г риса.

332

Косидзи – старинное название области Хокурокудо, объединявшей семь провинций в северной части Японии.

333

Эра Гэнва – соответствует 1615–1624 гг.

334

Бумага «хосё» – плотная белая бумага высокого качества, которую использовали для официальных документов.

335

Сагано (Сага) – один из пригородов Киото.

336

…ни белых цветов сакуры на горе Арасияма… – Здесь и далее упоминаются районы Киото и его окрестности, славящиеся своей красотой.

337

Бу – золотая монета прямоугольной формы достоинством в четверть рё.

338

Принц Сэмимару (X в.) – легендарный слепой поэт и музыкант; о нем повествуется в ряде пьес, исполнявшихся на сцене театров Но и Дзёрури.

339

Дзато – слепой музыкант, мастер песенного сказа.

340

Приобретение за деньги званий в гильдии слепых было распространенной практикой.

341

Где уж тут любоваться сверканьем выпавшего на землю белого снега… – отсылка к стихотворению поэта Саканоэ-но Корэнори (X в.), где сверкание снега уподоблено внезапно озарившему небо лунному свету.

342

…все в нашем мире изменчиво, как воды реки Асука… – намек на стихотворение из поэтической антологии «Кокинсю», начинающееся словами: «Что же в мире земном неизменным пребудет вовеки?» (Перевод А.А. Долина.)

343

Праздник Хиган – неделя весеннего или осеннего равноденствия. В это время было принято посещать могилы и совершать поминальные буддийские богослужения.

344

…резаться в карты. – Речь идет о распространенной во времена Сайкаку азартной карточной игре под названием *«унсун карута»,* возникшей под влиянием европейских карт, завезенных в Японию португальцами в середине XVI века. Колода состояла из четырех мастей по 12 карт в каждой: девяти с символами масти и трех с различными изображениями (дракона, всадника, воина и пр.).

345

Мука из кудзу – крахмалистая мука из растения кудзу (род травянистой лианы), используется для приготовления сладостей.